Новый Журнал

82

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать пятый год издания

Кн. № 82 НЬЮ ИОРК 1966

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, March 1966
Quarterly, No. 82
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Н. Ульянов — Первого призыва 5
Н. Моршен — Стихи 22
Г. Газданов — Пробуждение 27
В. Вейдле — Стихи 52
И. Чиннов — Стихи 53
Ю. Марголин — Книга о жизни 56
Ю. Иваск — Стихи 97
А. Лурье — О музыкальной форме 100
Г. Глинка — Стихи 110
Из Р. Фроста — Перев. В. Дукельского 112
Л. Ржевский — Об одном образе в романе «Война и мир» . 113
И. Бунин — Записи 119
А. Величковский — Стихи 123
Г. Газданов — Памяти А. Гингера 126
Э. Боброва — Стихи 133

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Л. Лунц и «Серапионовы братья» (публикация Гари Керна) 136
И. Ильин — На службе у японцев 193
А. Н. — Леонид Красин 212

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Д. Чижевский — Новое в истории русской культуры . . . 219
С. Левицкий — Против духоморов и духоморства 229
А. Штаммлер — Ф. А. Степун 247
А. Иванов — О возможностях аграрного нэпа 257
Д. Анин — Советы и международное положение 274

БИБЛИОГРАФИЯ:

Прот. А. Шмеман — Кн. Е. Трубецкой. Умозрение в красках. *Прот. А. Шмеман* — Прот. С. Булгаков. Православие. *Ю. Иваск* — О. Мандельштам. Собр. сочинений. Т. I. *В. Завалишин* — А. Ахматова. Сочинения. Т. I. *Л. Закутин* — С. Франк. Из истории русск. философск. мысли конца 19 и начала 20 века. *И. Одоевцева* — Ю. Терапиано. Паруса. *Ф. Р. Рив* — The Poetry of E. Yevtushenko. *В. Завалишин* — Н. Заболоцкий. Стихотворения. *В. В-ий* — J. Roy. Le Voyage en Chine. 286

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА 303

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

ПЕРВОГО ПРИЗЫВА

В последней жестокости есть бездонность нежности.
З. Гиппиус.

Идя по улице, я услышал над головой жалобное мяуканье. Маленький котенок забрался на дерево и не знал, как слезть с него. Заметив, что я участливо смотрю, он замяукал еще громче.

— Ах ты глупый! — сказал я по-русски.

— Глупый и есть, — произнес у меня за спиной тоже русский голос.

Седоватый человек, вместе со мной, следил за кошачьей трагедией.

— Как же теперь его снять?

Незнакомец сделал рукой жест, означавший «эврика» и побежал на крыльцо ближайшего дома. Через минуту вернулся с кухонной лесенкой. Будучи моложе, я предложил свои услуги, но он отказался.

— Нет, уж не лишайте меня удовольствия. Я сам...

Когда он снял котенка, лицо его светилось, точно он прижимал к груди родного сына. Бормоча что-то ласковое, пошел с ним на крыльцо к стоявшей там хозяйке, а я отправился своей дорогой. Зайдя в знакомый лончонет, я сел к стойке на вертящийся стул, заказал сандвич и в ожидании пока его приготовят, углубился в газету.

— Да, котенок для меня почти священное животное, — услышал я над самым ухом.

Это был тот же незнакомец. Он уселся рядом и тоже заказал себе еду. Я не любил этой манеры, не представившись и не выполнив полагающихся форм вежливости, заводить разговор с первым встречным, как с приятелем, но он, не замечая моего недовольства, продолжал как ни в чем не бывало:

— Мне было тогда не больше шести лет. Дело было в деревне. Я целыми днями носился с игрушечной саблей, рубил крапиву, колол направо и налево и с каждого прохожего готов был содрать скальп. И вот, какая-то баба приносит котенка: — не утопишь ли? Я ответил, что индейцы никого не топят, только убивают. — Ну, убей. — Убедившись, что мне, в самом деле предстоит совершить убийство, я испытал такую же дрожь и нетерпение, как четырнадцатилетний подросток на первом тайном свидании с женщиной. Отправившись в поле и неся в одной руке котенка, а в другой палку, я был от счастья, как в тумане. Но выбрав место казни и опустив жертву на землю, я вдруг почувствовал себя в положении кучера, у которого лошадь не двигается с места, сколько ее не бей. Как начать? Котеночек, пошатываясь на крошечных лапках, был, повидимому, бесконечно рад траве, жучкам, Божьим коровкам. Потом поднял мордочку и посмотрел на меня синими, как искорки, глазами. Тут я выронил палку и бросился бежать.

— И что же дальше? — вырвалось вдруг у меня.

— А дальше, стыд и сознание своего ничтожества заставили остановиться, не добежав еще до деревни. Как так? Не пристукнуть жалкого котенка?.. Набравшись опять воинственного пыла, я поворотил назад. Котенок охотился за бабочками и не умея еще ходить, пытался прыгать по тигриному. Хотя я снова взял палку, но окончательно понял, что ударить не в силах. Я был в отчаянии. Сам не знаю, как мне пришла мысль закрыть глаза и бросить палку наугад. Так и сделал. Взглянувши увидел, как котенок с чуть слышным стоном катался по земле клубком. Кровь из носа... Это был мой первый ужас в жизни. Прибежав без памяти домой и боясь попасться кому-нибудь на глаза, я забился сначала в хлев, потом на сеновал. И вот мне, как всякому убийце, захотелось посмотреть на свою жертву. Украдкой пробрался к месту преступления и не нашел ничего, кроме палки. Где же котенок? Иду опять в деревню и вижу возле гумна: — плетется бедный, а кровь на носике запеклась и почернела. Жив! Жив! Тут я почувствовал такое спадение вериг, какого ни один святой угодник не испытывал...

Я взглянул на рассказчика и подивился жесткости его лица, так мало подходящей к тому о чем он говорил.

Подали сандвичи. Поевши и выпивши кофе, он совсем другим тоном спросил:

— Вы, кажется, знакомы с Еленой Густавовной Ольховской и живете неподалеку от нее?

Я раскрыл рот:

— Откуда вы знаете?..

— Знаю, — усмехнулся он. — Так вот, если будете, передайте поклон от Прутова. Скажите, что приезжал не надолго, зайти не мог, но когда-нибудь навещу непременно.

Он повернулся на своем стуле и вышел не попрощавшись.

* * *

На другой день я был у Ольховских и видел Елену Густавовну. Я всё еще продолжал считать вчерашнего рассказчика болтуном и приставалой, но страшно хотелось знать, каким образом он знаком с нашей величественной Еленой Густавовной. Пока я разговаривал с ее сыном, она патриархально сидела в кресле и вязала.

— Вам, Елена Густавовна, Прутов кланялся.

Она не выронила работы из рук и не вздрогнула, но я видел, как ее точно обухом хватили по голове. Пальцы стали делать бессмысленные движения, ничего общего с вязанием не имевшие. Прошла длинная минута, прежде чем она смогла вымолвить.

— Да? Где вы его встретили?

— Здесь, в Квинсе. Он жалел, что не мог быть у вас, потому что приехал на один только день.

Она ничего больше не спросила, но щеки ее провалились и видно было, как челюсть ходуном ходит под плотно сжатыми губами.

— Ты нездорова, мама? — спросил сын.

— Да. Отведи-ка меня на диван.

* * *

С тех пор, не проходило дня, чтобы я не думал о незнакомце.

Через месяц услышал его голос снова, совсем рядом, когда сидел в кафэ.

— Ну, вот, довелось еще раз свидеться!

— Ах это вы? Послушайте! — обратился я к нему без всяких предисловий. — Что у вас такое с Еленой Густавовной? Ваше имя бросает ее в дрожь.

— Вот как?.. И тяжело это у нее?..

— Первый раз, три дня ходила сама не своя. Потом, когда недели через две я снова заговорил про вас, закричала не своим голосом: — Что он подсылает вас ко мне, что ли?.. Чего вам от меня надо?..

Он достал платок, вытер лоб и растерянно уставился на букет искусственных цветов, украшавших стол.

— Бедная!

— Ей, должно быть, есть чем помянуть вас, — попробовал я усмехнуться.

— К сожалению, да. И, конечно, не добром, хотя добра я ей сделал не меньше, чем зла.

— А зло было?

— Да еще какое!

Он отхлебнул кофе, помолчал и вдруг повернулся ко мне.

— Ведь я ее бил.

— Елену Густавовну?

— Да. Никогда не забуду, как привели ее ко мне на первый допрос. Брезгливые губы, надменный подбородок... Увидела меня — усмехнулась. Так вот здесь кто?! А я ей хлясь по физиономии, да в другой раз. Сначала она просто онемела и стояла ничего не соображая. Ее, урожденную баронессу Визиген, жену полковника Ольховского, трижды георгиевского кавалера, бьют!.. Да не как-нибудь, а наотмашь, погано, как пьяную бабу.

Я ошалело уставился на собеседника.

— Как она не умерла и не сошла с ума в ту минуту — не знаю. Только ясно было, что гордость ее не сломлена и оттого я еще в большую ярость пришел — топал ногами, обзывал, как только мог. Отпустил, когда увидел, что ничего боль-

ше не соображает. Велел отправить в одиночку и следить, чтобы не повесилась.

— Позвольте, позвольте!.. Это так ошеломляюще!.. Когда же это могло быть?

— Вы еще пешком под стол ходили... В восемнадцатом году. Осенью. В Петрограде.

У меня немного отлегло. Я таких видел. С полдюжины жен Тухачевского, десяток собутыльников Есенина; встретился даже приятель Канегиссера, у которого тот заряжал револьвер на квартире, перед тем, как идти убивать Урицкого.

— Вы, верно, были очень важным лицом?

Он дал понять, что видит мою насмешку.

— Важным — не важным, а кое-каким был. По крайней мере, настолько важным, чтобы свести с небес такую богиню, как Елена Густавовна. Впрочем, тогда это было совсем не трудно. Да и богиней она была не по чину. Всего только полковница, а нос задирала по-генеральски. Есть такие люди. Ненавидел я ее!.. Спал и во сне ненавидел. Знакомы мы еще до революции. На Гулярной улице жили. Мы с матерью внизу, а она над нами, чуть не весь этаж занимала. Квартира в коврах, в пальмах, канарейки летали по комнатам. Из всех жильцов дома, одного только профессора Редьковского, да генеральшу Звягину удостаивала вниманием, остальным едва кивала головой, а с матерью моей и со мной не здоровалась, даже после февральского переворота, когда у таких господ спеси поубавилось. Помню, как-то раз, летом семнадцатого года, пришел я к ней по домовому делу, так она меня, как кухаркиного сына, минут десять заставила простоять в прихожей. Вышла в розовом капоте: — Что вам?.. А мне тогда уже девятнадцать лет было и я реальное училище окончил. Припомнил я ей этот прием! Иногда кажется, что и в чекисты то пошел из-за нее. Во всяком случае, арестовал ее чуть не на другой же день после своего поступления туда.

Волнение снова начало меня одолевать. Я вспомнил поведение Елены Густавовны.

— И часто вы ее били?

— Бил. На второй допрос вошла неузнаваемая. Но взгляд

всё еще полковничий и всё еще крупными буквами в нем: «Хам!» Ладно, думаю, покажу я тебе хама. Как, говорю, любезная дамочка, нравится вам у нас? А она мне — хам! Ах так! Раз я ей пощечину, а она опять — хам! Я ей снова пощечину, она снова — хам! И так мы изъяснялись раз до десяти, примерно. Смотрю, она еле языком ворочает, а всё хам, да хам! Пришлось на этом кончить. На третьем допросе я ее за волосы таскал, носом в стол тыкал и чего только не делал. Молчала, как пустыня. Только, когда ласково поднес кулак к зубам и мало, не весь, в рот ей втиснул — оттолкнула и голосом, который до сих пор помню, проговорила: — Изверг, да ведь я женщина! Ага, думаю, пронял я вас, мадамочка!..

— Позвольте, — перебил я, — что-то не слышно было, чтобы в восемнадцатом году били и истязали. Расстреливали — да, но разве пыткам подвергали?

Он насмешливо посмотрел.

— А вы, я вижу, зря попали в эмиграцию. Если в советах ничего кроме «Правды» и «Известий» не читали — это понятно и извинительно, но здесь, за границей, не потрудиться узнать что такое ЧЕКА — это прямо против чести мундира. В том-то и дело что били, да как били! А не слышно было оттого, что никто из битых не вышел от нас. Да и били, конечно, не всех. Секретно и по особо важным делам.

— Какое же особо важное дело могло быть у этой женщины?

— Да совсем никакого. Тем и блаженно то время, что даже мне, сморчку, можно было создавать «особо важные дела». Я был клад для них. Ведь потомственные разувай пролетарии бежали с этой работы, как с каторги, влетали в истерике к Бокию, падали на диван и голосили: — Отпусти, Глеб Иваныч! Не могу!.. Дольше двух недель мало кто выдерживал. Уходили на фронт, в продовольственные отряды, куда попало, но в Чека не оставались. Кадры подбирались медленно. Только году к двадцать первому появились настоящие люди. А в восемнадцатом такие беспощадники, как я, насчитывались единицами. Меня ценили еще потому, что считали садистом, хотя без всякого основания. Все дела, требовавшие вытягивания по

одной жилочке, направлялись ко мне. Потому-то и не было баловства, которого бы не позволили нам, любимым сыночкам.

— Неужели для таких случаев не существовало уголовных преступников?

— Были, но их дальше самой черной работы не пускали. Народ не серьезный. Да и культуры никакой, а я как-никак реальное училище окончил.

— Но, всё-таки, арестовывая Елену Густавовну, вы хоть какую-нибудь вину могли ей предъявить?

— В протоколе что угодно можно написать, а виновата она была единственно передо мной. То был классовый суд. Только в определении классов я сильно расходился с Марксом. Никаких производительных сил и производственных отношений... Учителем моим был Лермонтов.

— Лермонтов?

— Сразу видно, что вы его плохо читали. А у него замечательные мысли! «Честолюбие — не что иное, как жажда власти». Как вам это?.. Против жажды власти я и восстал. Честолюбцы составляли класс моих заклятых врагов. В каждом добивавшемся почестей, я видел гадину, которую надо раздавить. Всё это были посягатели на мою свободу. Питал я лютую ненависть к классу счастливых. К нему принадлежала Елена Густавовна. У того же Лермонтова сказано, что счастье — это насыщенная гордость. А кто способен сносить гордость ближнего? Даже счастье любви — дерзость. Сколько раз приходилось видеть лица, горящие «нездешним огнем» после первого поцелуя. Ах ты, стерва, — думал я, — как ты смеешь возноситься передо мной в своем погаденьком счастьице!.. Не потерплю!.. Вызываю!.. И сколько их, счастливцев, загнал я на тот свет!

Хлебнув кофе, он посмотрел на меня и снова усмехнулся.

— Вижу, ни одному моему слову не верите, думаете, просто, старый дурак пристал.

— Признаюсь, хоть ваш рассказ сильно волнует, многое в нем непонятно. Вот, хоть бы, зависть к чужому счастью. Разве не проще было самому стремиться к счастью. В молодости это так естественно.

— Такая философия не для меня. Есть потливые люди и никакая медицина не в силах их избавить; вечно у них кожа влажная. У других из носа течет или пахнет изо рта. Одного этого достаточно, чтобы не быть счастливым. А я создан сплошь из отбросов. С детства слабосилен, любой из сверстников одерживал надо мной верх в драке. На работе не мог угнаться за другими. Дыхательные пути неправильно устроены, какие-то неполадки в пищевом тракте. А вдобавок, лицом невзрачен — прыщеват, угреват. Так где уж там... счастливым.

— Неужели из-за этого?

Он посмотрел так злобно, что я разом поверил в его чекистское прошлое.

— А вам этого мало? Из-за этого и революция произошла. Вы, вот, рисуете меня сейчас на манер старинных романов: «мстил, мол, обществу», а я не мстил и не до мести было. Я просто боролся. Все любят повторять, что наша жизнь — борьба; но для вас это оперная ария, а для меня — Евангелие, откровение. Я замирал от ужаса при мысли, что тогдашние правила борьбы обрекали меня. Во французской борьбе, вы знаете, класть противника на лопатки можно только суплесом, нельсоном, тур де бра или чем-нибудь в этом роде, но не разрешается ни пальцем в глаз ткнуть, ни под ложечку садануть. И вот, мимо меня, звеня шпорами, сверкая золотыми пуговицами, околышами фуражек, шли и проносились в каретах победители. Приходилось сторониться, жаться к стенке. Ни на победу, ни на самозащиту не было шансов. И вдруг всё переменилось. Появилась возможность бить носком под низ живота, кусаться и выдирать глаза. За это и буду чтить до смерти великую социалистическую. Я ее первый оценил и чуть молебна не отслужил за Ленина и Троцкого. Но это уж поэзия... Важно, что я сразу пошел в Чека.

Он выпрямился на стуле, застегнул пиджак на все пуговицы и отрапортовал:

— Да-с! Перед вами редчайший экземпляр чекиста первого призыва.

— И вы так откровенно об этом говорите? Вы не боитесь?

— Чего?

— Ну, того... что я, например, мог бы сообщить куда следует.

Он сначала застыл от изумления, потом расхохотался так, что обратил на нас внимание всего кафэ.

— Это бесподобно!.. Вот уж подлинно, каким был дитём малым, таким и остался. Сообщить куда следует!.. Да вы не знаете куда и сообщать-то. Из вас простого стукача не выйдет, а вы туда же — доносить на чекиста... Ох, Господи! — вздохнул он со смехом. — И неужели вы, пройдя советские и немецкие лагеря, ощупанные до последнего ребрышка коллаборантами, репатриантами, унровцами, не понимаете до сих пор, что как при Берии, как при Гиммлере, так и здесь, ходите под нами, чекистами? Мы же ваши вечные спутники. Вы вот гордитесь, что в вас оценили первоклассного инженера, что вы — самый ходкий товар в Америке. Ошибаетесь. Никто не ценится выше нас. У старых эмигрантов — никакой школы; кроме вульгарных доносчиков и предателей из них ничего не выходит. А от нас еще немцы пришли в восторг. Такой выучки нигде нет. Да, дражайший Василий Сергеевич, мы здесь в неменьшем почете, чем там, и управляем вашей судьбой, как управляли в Германии и в советах. Мы ваши пастыри, вы — наше стадо.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Да я не одно только имя знаю.

Он стал пугать меня всерьез. Проснулся былой советский ужас перед всеведущим НКВД и сознание своей микробности. Кто находился когда-нибудь под лупой тот знает что это такое. Как бы поняв мое волнение, он снова повернул разговор на Елену Густавовну.

— Вы, конечно, хотите знать, чем у нас кончилось. А кончилось тем, что я не только выпустил ее на свободу, но и довез на собственной машине до Новой Деревни, где ей пришлось поселиться. Квартира-то с канарейками на Гулярной улице была уже отобрана и заселена рабочими фабрики Кирхнер. Муж ее, полковник, сидел в это время в Петропавловской крепости и ждал расстрела за участие в офицерском заговоре. Каких трудов мне стоило вызволить его оттуда, сначала в Кресты, а потом на волю! Елена Густавовна в обморок упала, когда

он явился к ней. Не ждала. Я их и спрашиваю: можете бежать куда-нибудь, лучше всего за границу? Да куда же, говорят, у нас ни денег, ни знакомых, да и маскироваться не умеем, сразу опознают и арестуют, как только выйдем за ворота. Что делать? Пришлось устраивать им побег — стряпать документы и всё такое. Не легко это было. Хоть виделся я с ними не часто, но раза два-три пришлось удостоить личным посещением. Полковник смотрел на меня, как на чудо и громко благодарил Бога, что не дал ему извериться в русском человеке. Кто бы мог подумать, твердил он, что простой случай соседства пробудил в человеке такие благородные чувства! Но Елена Густавовна при моих посещениях бледнела и слова не могла вымолвить. Сделал я им, наконец, всё для побега в Финляндию, простился, просил не поминать лихом и, вдруг, накануне отъезда узнаю — сын их, гимназист, арестован. Это тот самый Вадим Андреич, которого вы знаете. В то время ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Тут и у меня руки опустились. Приезжаю: сидят, как убитые. Не сегодня-завтра, говорю, вас посадят, вам надо убираться. Поезжайте одни, а сына я постараюсь освободить и переслать к вам; это будет легче, чем вас самих выпроводить. Плачут, благодарят за всё мое доброе, только ехать без сына отказываются. Пусть, говорят, погибнем все вместе. И вот, поверите ли, этого мальчишку выцарапать стоило неимоверных усилий. Но все, наконец, улажено, документы заново переписаны, пограничная стража в Белоострове обработана. Проводил их до Сестрорецка. Полковник плакал прощаясь. Когда же подошел я к Елене Густавовне, чтобы поцеловать ручку в последний раз, лицо у нее свело судорогой, она закричала и упала на вагонную скамейку.

* * *

Теперь я не сомневался в истинности слов страшного собеседника и начал вглядываться в его лицо. Так всегда бывает: пока человека считаешь ничтожеством, не замечаешь какой у него нос, но чуть окажется, что он знаменитость или миллионер — все бородавки рассмотришь. Лицо без линий, без ясных очертаний, как измятая глина скульптур Паоло Тру-

бецкого. Постоянная игра света и тени делала его неуловимым. Ни возраста, ни характера, ни национального типа нельзя было прочесть.

Поборов волнение, я проговорил: — Если уж вы так много рассказали мне о Елене Густавовне, то не договорите ли до конца, не скажете ли, что за причина такой вашей перемены к ней?

— Причина? На последнем допросе я разрыдался, упал к ее ногам и сделалась она мне дороже матери родной. Не подумайте, что влюбился или раскаяние какое-нибудь. Многих подводил под расстрел, но угрызений не испытывал и не испытываю. Тому же, что тогда произошло не нахожу названия. Мучил я ее зверски. Не только избивал, но сказал, что муж в Гатчине схвачен и даже намекнул, что с сыном будет то же. Я видел как она мертвела от ужаса, но молчала. А мне было мало. Я, знаете, максималист.... Плеснул я ей из недопитого стакана чаем в лицо. Помню, как сейчас, черные чаинки прилипшие к щеке и к подбородку. И тут она, что называется, проснулась. Закрыла лицо руками и в голос заплакала. Но как!.. Я слышал профессиональных плакальщиц, они могли заставить рыдать толпу, идущую за гробом. Плач этой женщины переворачивал нутро. Есть вопли и стоны от которых нет спасения. Они слаще музыки. До самых костей должно дойти чужое горе... Вот, когда это случилось, меня как ветром качнуло. Тут-то я и бросился целовать ее одежду.

Кофе наше остыло, ни он, ни я не притрагивались к нему больше. Я первый очнулся.

— Это прямо из Достоевского. Такой исповеди...

— Исповеди?! — Прутов, вдруг, побагровел. — Книжный вы человек. Привыкли к здешней литературщине. «Исповедь»!.. «Обнажение души»!.. Вам факты рассказывают, а вы всякие там «бездны»... Никогда не исповедывался и ни в чем не раскаивался.

— Чем же объяснить это целование одежды?

— Чем хотите. Жалостью... Только не жалость это.

— И вы не бросили с тех пор свою... профессию?

— Напротив, предался ей с особым жаром. Мучить до

крика, до последней боли, стало высшим наслаждением. Может быть это означало желание полюбить... Только не все оказывались достойными. Был один; прошел через всё не охнув, не вскрикнув, как на картинах, где изображают святого Себастьяна: грудь, шея, живот, бедра проколоты насквозь стрелами, а он хоть бы что, глазом не моргнет. Я таких не любил. Беспощаден я был и к тем, которые хоть и много принимали мучений, но страдали банально... Души в них не было. Мне нужен был не простой крик боли, а что-то другое... Тоску расставания с жизнью! Арию Каварадосси!..

— И падали вы еще перед кем-нибудь на колени?

— Бывало... Капитан первого ранга Скворцов. Вот был моряк!.. Я им долго любовался. Острая седая бородка клином, как кинжал. Взгляд!.. Всё в нем было орлиное. Для его избиения пришлось вызвать бригаду из трех человек. И даже эти, не то что оробели, а как-то замялись вначале. Когда хлынула кровь изо рта и он увидел, что скоро конец, он, как ни в чем не бывало, обратился ко мне: — Могу я просить об одолжении?.. Среди отобранных у меня при аресте вещей, был мой орден Святого Георгия. Не позволите ли взглянуть хоть раз? — Я не был «демократом» и дурацкого преследования чинов и наград не понимал. Согласился показать ему на следующем допросе «Георгия». Он уже не мог ходить. Привели под руки. Когда я дал знак своим молодцам уйти, он поднял вопрошающе глаза. Я молча открыл ящик стола, достал коробочку с георгиевским крестом и торжественно вынул его, держа пальцами за черно-желтую ленточку. Как вам передать его лицо? Я думаю, оно было таким, когда он произносил слова присяги перед Андреевским флагом или, когда на судне бывал царский смотр. Он встал и вытянулся, как на параде. Потом ноги подкосились, он упал и мне стоило не мало усилий посадить его на стул. Хотел я уже крикнуть людей, чтобы унесли, как вдруг он открыл глаза и протянул мне руку: Прощайте! Прощайте!.. Тут во мне дрогнуло, как при плаче Елены Густавовны. Я бросился целовать эту руку, лепетал что-то, весь в слезах, и совсем не заметил, как капитан похолодел в моих

объятиях. По сей день люблю Александра Васильевича Скворцова, доблестного моряка Балтийского флота.

Посидев немного и тряхнув головой, он усмехнулся.

— Вы, я вижу, ни живы ни мертвы. Всё еще не можете поверить, что с вами сидит в кафэ злодей — чекист и рассказывает такие вещи.

— А вы кому-нибудь другому рассказывали?

— Нет, вам первому.

Взглянув на меня, он совсем громко рассмеялся.

— Сразил! Окончательно сразил! Теперь ночей не будете спать, всё думать, почему именно вас избрал своим слушателем?

* * *

В тот день я снова был у Ольховских и не успев еще поздороваться заметил, что мать и сын взволнованы.

— Не говорите пожалуйста маме ничего об этом... Прутове, — шепнул мне сын.

— Он приходил к вам?

— Да. И представьте — на колени становился... Это сумасшедший! Мама в полном расстройстве.

Елена Густавовна, в самом деле, едва поздоровавшись, ушла в другую комнату. От Вадима Андреевича я узнал, что сам он о Прутове знает мало, видел несколько раз в Германии, когда тот бывал у них. Там он снова оказал им большую услугу, спас всё семейство. Советы, как только пришли, начали охотиться за Ольховскими и они бы неминуемо погибли, если бы не Прутов.

— Ведь отец мой служил в Остминистериуме и занимал видный пост, а я... вы тоже знаете.

Я поразился энергии и самоотверженности человека, который сам подлежал выдаче, как я мог заключить из его болтовни.

— Как же! подтвердил Вадим, — его ловили старательнее чем нас. Только не на того напали. Он всё предвидел, а связей и знакомств среди немцев у него оказалось — побольше нашего.

Он не только сумел вывезти Ольховских из Берлина, но и потом, разлучившись с ними не оставлял своей помощью во время блужданий по советской зоне оккупации — то записочку пришлет, то через каких-нибудь людей важное указание сделает. Когда подошли к границе американской зоны, от него получена была пачка документов, сфабрикованных так искусно, что советские патрули пропустили, а американцы приняли всех троих без особых расспросов.

— Это гениальный человек! — воскликнул Вадим.

— А в России вы его знали?

— Смутно помню кого то в полушубке, устраивавшего наш побег из Петрограда. В Германии я его, конечно, не узнал, но мама и отец хорошо помнили. Отец благоговел перед ним и говорил: — Вот русская душа! Ты подумай только, кто мы ему? Только и было, что в одном доме жили на Гулярной улице. Да ведь мы его и взглядом не удостаивали. А на поверку?.. Просто чудо! Нигде кроме России такие не встречаются.

— Ну а Елена Густавовна?

— Мама тоже считала его необыкновенным человеком, отзывалась с благодарностью, но сухо и, после каждого разговора выходила из строя дня на два. Почти больной становилась. Петроградский арест так на нее подействовал, что мы взяли за правило не говорить о нем. Отец перед смертью завещал мне каждый год в день святых мучеников Бориса и Глеба ставить свечку в церкви. Прутова, ведь, Борисом Алексеевичем зовут.

— Ну и ставите?

— Ставить то ставлю, но судите меня, как хотите — никакого чувства... Это погано, конечно, с моей стороны. Человек величайшее благодеяние оказал, по гроб благодарным надо быть, а нет у меня этой благодарности, хоть убей.

* * *

Прутов верно сказал: вопрос, почему я оказался предметом его внимания и поверенным его тайн — занимал меня не-

отвязно. Как то раз, подвечер раздался звонок. В полумраке на площадке стояла мужская фигура.

— Не ждали? Ну, принимайте.

Вид чекиста, стоящего у входа в дом, даже за границей страшен, даже когда сей чекист эмигрант. Он понял и ухмыльнулся.

— На этот раз, вы не будете арестованы.

К счастью, никого из моих не было дома. Когда он молча вошел в квартиру и без приглашения расселся на диване, я поспешил зажечь лампу.

— Зачем это? В темноте лучше. — И сам погасил свет.

Меня передернуло. Уж не прав ли Ольховский и не с сумасшедшим ли я сижу? Не зная как начать разговор, я перебирал в уме все подходящие фразы, а он молчал.

— Василий Сергеевич, я пришел с вами проститься.

— Вот как, вы уезжаете?

— Да, и далеко.

— Не объясните ли, всё-таки, откуда вы меня знаете? И кто я вам, что вот, даже проститься пришли?

— Пришел потому, что своих не забываю.

— Как так?

— Я разумею тех, которые мне дороги.

— Ничего не понимаю.

— Ну, не понимаете, так не понимаете. А вы мне дороги, иначе не стал бы опекать вас целых двадцать лет.

Этот человек успел приучить меня к самым неожиданным щипкам и натягиваниям нервов, но такого оркестрового их звучания, как в тот миг, еще не было. Я почти задохся от его слов.

— Неужели и я, как Елена Густавовна?..

— Да и вы были у меня в лапах. Двадцать два года срок большой, можно и забыть. У меня тогда никакой еще седины не было и лицо моложе...

— Да где же это было?

— Помните Ярцево?

Ярцево буду помнить до самой смерти. Оставалось всего десять верст до села, где жила моя мать. Я шел к ней из не-

мецкого плена. И тут меня схватили. Ни на Колыме, ни в Дахау не переживал я того, что в Ярцеве. Кругом кишели партизаны, и немцы беспощадны были ко всем, ходившим по дорогам без пропусков. Когда привели в ортс-комендатуру и допросили, мне ясно стало, что завтра же буду отведен в ближайший овраг, где приканчивали партизан.

— Ведь это я вас тогда арестовал. Моя карьера у немцев началась со службы в ярцевской комендатуре и я, конечно, не упускал случая отличиться. Немцам бы и невдомек, что вы не мужик из соседней деревни, а я то сразу распознал в вас переодетого беглеца и мигнул унтер-офицеру, чтобы аусвейс потребовал.

— Но я вас не помню.

— Наружность у меня серенькая, никто не запоминает. Да и действие то длилось полтора дня. Вам бы тогда не сдобровать, если бы мать не спасла. Помните, как она в тот же день приплелась, услышав, что вас забрали и держат в комендатуре? Думаете я слезами ее тронулся? Нет, не таковский. Скорей зверь оберлейтенант подался бы на это, чем я — заслуженный чекист. Тронулся не этим. Меня, конечно, зря считали садистом, мною руководило любопытство... Мне захотелось посмотреть на ваше лицо, когда вы увидите свою мать. Помните, как я вас, точно невзначай, завел в ту комнату из окна которой вы могли видеть старушку, стоявшую на улице? В этот миг вы и были спасены. Вы не заплакали. Терпеть не могу мужского плача... Но вы посмотрели на мать глазами... Понимаете, что я хочу сказать? Никогда мне не доводилось видеть таких глаз, такого прощального навеки взгляда. Дал себе клятву умереть, но спасти вас. А ведь оберлейтенант считал потерянным каждый день в который не расстреливал русского. Ну да что об этом!.. Важно, что у меня одним любимым стало больше. Я ведь и сюда в Америку помог вам выехать и на работу устроил и сына вашего в колледж определил. Я своих не забываю... Вот и есть мне теперь с кем проститься по-человечески.

Тут он встал и зажег лампу.

— Простите и позвольте обнять. Дуньте на умирающего, как говорил Базаров.

— Что вы задумали?

— А вот, когда простимся, скажу.

Чуть живой, я протянул ему руку, мы обнялись крест-накрест и он трижды поцеловал меня в обе щеки. Потом, приподняв борт пиджака, показал рубашку и сказал, что белье под ней такое же чистое. Признался, что даже баню русскую отыскал в Нью Йорке и вымылся. Когда он уже стоял на пороге, я опять спросил, куда же он едет и что собирается делать?

— Еду в свое прежнее ведомство. «Туда»...

— Да ведь это безумие! Вам нельзя!

— Теперь я хочу полюбить самого себя...

Н. Ульянов

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*

Шагаю путаной дорогой —
Подстать догадкам.
И рядом с тенью длинноногой
Кажусь придатком.

Она переставляет ноги —
Мне тоже надо.
Она присядет у дороги —
И я присяду.

Она быстрее зашагает —
И я быстрее.
Она, споткнувшись, захромает —
И я за нею.

А солнце к западу катилось
И — закатилось.
Где ж тень моя, скажи на милость,
Что с ней случилось?

Свисают звезды понемногу
Всё ниже, ниже.
Гляжу на Млечную дорогу
И снова вижу,

Что заполняет мирозданья
Все измеренья
Мое сознанье-подсознанье
Своею тенью.

Тень улыбается иль плачет —
И я за нею.
Она страшится неудачи —
И я робею.

Она к высотам горним прянет —
Я тоже пряну.
Она стремиться перестанет —
Я перестану.

...Нужны мне спутники — причины
Для всех событий!
За сценой скрытые пружины,
Колеса, нити!

Пусть нить, пусть тень, пусть отраженье,
Но чтобы — двое!
Я не хочу, чтобы движенье —
Само собою!

Я не желаю в одиночку
Ни днем, ни ночью!
Я смерть трактую не как точку —
Как двоеточье:

*

Такие в мире есть пути,
Что их кривее не найти:
Коварно коршун вьет круги,
В обход пускаются враги,
Извилистей, чем след змеи,
Поползновения твои.

Но мчат по небу облака,
Но к хлебу тянется рука,
Но верный пес бежит домой
Одной дорогою — прямой.

А благодарная снегам,
Река — гигантскими шагами
Весною прямо по лугам,
Пренебрегая берегами...

Такие в мире есть пути,
Что их прямее не найти.

БЫЛИНКА

Не имея в распоряжении,
Кроме нежности, ничего,
Как приводит она в движение
Белокнижное колдовство?

Упираясь вершинкой тоненькой
В землю влажную, как ногой,
Под стотонной плитой бетонною
Выгибает себя дугой.

И оковы ее, которые
Не стащить и пяти волам,
Как в классической аллегории,
Разрываются пополам.

Есть примеры тому в истории,
А недавно и Мандельштам...

ОДА ЯБЛОКУ

О яблоко, хвала тебе, хвала!
Ты человечеству мерило и шкала.
Людей ты делишь на четыре рода,
И по тебе равняется природа.

Хозяин вечный, пахарь-одиночка
Уверен: яблоко есть яблоко и точка.
Любуясь яблонь розоватым цветом,
Навоз усердно возит он при этом.

Ему природа матерью бывает,
Поит и кормит, греет, одевает.

Второй владеет глиной, краской, речью
И воспевает яблочную встречу
С роскошных персей яблоневой пеной,
С богинями, раздором и Еленой.

Ему природа машет и смеется,
Пускает по миру, томит и отдается.

Плод яблони, пускай он свеж и сочен,
Для третьего источник червоточин:
Под яблоней сходились змий и Ева,
И яблоня не дерево, а древо.

Он издавна с природой не в ладу,
Зане гореть не хочется в аду.

След яблока упавшего, который
Четвертый видел в форме траекторий
Божественно-абстрактного движенья,
Стал тропкою к закону притяженья.

Четвертая — невтонова порода,
Пред ней склоняет голову природа.

*

Море, холодный перпетуум мобиле,
В пену взбивающий просинь и прозелень,
Оземь швыряет волну за волной
Вниз головой.

Здесь поколение за поколением
Сплошь наказание без преступления,
И деловито в дали голубой
Стадо барашков (козлов отпущения?)
Гонит прибой на убой.

ОТКРЫТИЕ СТИХА

Приглядись к стиху — увидишь:
Открывается всегда,
Как шампанское, как Китеж,
Как сверхновая звезда.
И как ларчик, и как рана,
И как древняя страна,
Как объятье — без обмана,
Как родник весной — до дна.

Кто в стихи глядит, как в воду,
Открывает, окрылен,
В них случайность и закон,
Подчиненье и свободу,
Тяжкий труд и легкий звон,
Смерти смех и жизни стон,
Словом, открывает он
(Словом открывает он!)
В них явление природы.

Николай Моршен

ПРОБУЖДЕНИЕ*

Кроме того ощущения, что она выздоровела после очень долгой и тяжелой болезни, Анна впервые чувствовала теперь насколько жизнь может быть спокойной и счастливой — она не находила других слов. Когда Пьера не было, она выходила на улицу и гуляла целыми часами в этом районе Парижа, которого раньше совершенно не знала. Потом она возвращалась, садилась за стол и начинала писать. Незаметно для нее самой страницы шли за страницами и перед ней возникали сначала зрительные ее воспоминания — красная земля Прованса, неподвижные пальмы, тугая листва кустарников, железный узор ворот ее дома, каменные арки его фасада и его особенный желтовато-красный цвет, темневший после захода солнца, высокое безоблачное небо, кипарисы в саду, дрожание листьев, когда дул мистраль, далекие звезды вечером. Потом комната, где она писала, наполнялась звуками — покашливание ее отца, прерывающаяся мелодия рояля, на котором играла мать этюды и ее собственные импровизации, вдруг вливавшиеся в исполнение ноктюрна или «сада под дождем» — с преобладанием минорных нот, последовательность которых напоминала пронзительную рояльную жалобу неизвестно на что — и после этого импровизация прекращалась и снова начиналось долгое гармоническое повествование, звуковая проекция какой-то блистательной и до конца рассказанной жизни, в которую Анна вкладывала свой собственный смысл, где были стихи, воспоминания, предчувствия, надежды, далекое лирическое движение, уход, возвращение, отражения пейзажей, отказ, согласие, ответ на все вопросы — Анна сидела на скамейке, в саду, в том его месте, куда выходило окно комнаты, где стоял рояль — и слушала то, что ей казалось музыкальным рассказом о ней

---

* См. 78, 79, 80, 81 кн. «Н. Ж.».

самой. Было слышно стрекотание цикад, хлопанье крыльев голубя, взлетевшего в воздух, крик ночной птицы, далекий звон колокола из деревни, находившейся в двух километрах от их дома, слышался иногда легкий треск туго пригнанных половиц паркета, когда в вечерней тишине кто-нибудь проходил через комнаты, хруст гравия в саду, звуковой след, по которому можно было знать, в каком направлении шел ее отец, совершавший одинокие прогулки в поздний час, когда Анна лежала в постели и в ее комнате было отворено окно и когда она не могла заснуть от смутного и непонятного волнения о том, что она слышала в звуках рояля, в стихах, в далеких замирающих переливах колокольного звона.

Потом возвращался Пьер. — Как вам пишется, Мари? — Я скоро кончу первую часть. Они ужинали, после ужина Пьер убирал со стола. Анна садилась в кресло, и когда он, вымыв посуду, входил в комнату, она говорила ему:

— Расскажите мне о вашей матери, Пьер. Вы мне уже говорили о ней, но я как-то не составила себе точного представления обо всем этом. Вы говорили, что главная ее особенность была в примиренности со своей участью?

— Вы знаете, Мари, мне иногда кажется, что почти в каждой человеческой жизни есть какая-то неизбежная ошибка. Ну, не в каждой, конечно, но во многих. У такого-то человека, скажем, жизнь должна была бы быть такой, а выходит, что она другая. У меня есть призвание быть врачем. Но обстоятельства сложились так, что я архитектор. Или наоборот. Теперь, когда я думаю о моей матери и ее жизни, мне кажется, что в ней всегда было что-то теплое и уютное, что только она могла дать своей семье. У нее был неисчерпаемый запас мягкости, вы понимаете? Она была простая женщина и я думаю, никогда ни одна отвлеченная мысль не приходила ей в голову. Она не рассуждала и не думала, но у нее была — как бы это сказать? — неутомимая душа. Она была очень достойная женщина и всё, в конце концов, в ее жизни было незаслуженно жестоко и несправедливо, эта бедность, безвыходность, отношение к ней моего отца, который не был плохим человеком, но не был способен дать ей то, на что она имела право. Потом его смерть,

потом эта глупейшая война и, наконец, ее болезнь, с которой она могла бы жить еще долгие годы.

Пьер много рассказывал Анне о своей жизни, об истории своей семьи и через некоторое время она знала о нем столько, сколько узнала бы, если бы прожила рядом с ним много лет. Та жизнь, которую вела раньше она, вели ее родители и их знакомые, не имела ничего общего с той, о которой ей говорил Пьер. Она представляла себе, что сказал бы об этом ее отец — «статистика». До ее матери это вообще не дошло бы: в узком кругу тех нелепых понятий, которые определяли ее существование, просто не было места для того, о чем рассказывал Пьер. Вспоминая всё, что он говорил, она думала, что в этом никакой роли не играло то, что в другой жизни, в той, какую она знала раньше, имело важное значение: соображения денежного характера, вопрос о положении — общественном, служебном — дела, которых здесь вообще не было, наконец, брак, приданое, пристрастие к крупной игре, разорительные увлечения — сколько раз она слышала эти слова — и подумать, что из-за нее он едва не погубил всю свою карьеру... и подумать, что она, забыв обо всем, позволила себе... Не было так же и другого — семейных традиций, кастовых предрассудков, своеобразной социальной философии, таких понятий, как «ущемление тех законных прав, которые дает происхождение» — слова матери Анны — «невежественная буржуазия» — определение ее отца или «недопустимые требования рабочих, которым нечего было бы есть, если бы я, владелец предприятия, не дал бы им возможность такого существования, о каком их родители не могли и мечтать» — как это говорил ее отцу один из его знакомых и отец ему ответил — в конце концов, вашим положением вы обязаны случайности, но даже если бы это было результатом ваших собственных усилий, то вы неправы вдвойне: во-первых, с точки зрения социальной справедливости, потому что каждый из ваших рабочих имеет моральное право жить так же, как вы — и с другой точки зрения, с которой вы не можете не согласиться, так как вы лишены этой возможности, независимо от ваших взглядов и намерений, точки зрения соотношения сил в современном обществе: в столкновении рабочих профсоюзов

с собственниками предприятий, рабочие профсоюзы сильнее вас и вы вынуждены делать не то, что вы хотите, а то, что хотят они. Я говорю это не как представитель того или иного класса, а как человек, который имеет известное понятие о структуре современного общества, той, которой совершенно не предвидел, например, Маркс.

Пьер принадлежал к другому миру, о котором Анна до сих пор не имела представления и только знала, что он существует. Но то, что ее больше всего удивляло в Пьере, это его превратное, как ей казалось, мнение о самом себе: он был твердо убежден, что он решительно ничем не отличался от других людей и что кто угодно в его положении действовал бы именно так, как он и не мог бы действовать иначе.

Анна никогда не знала того состояния полного душевного покоя, в котором она жила теперь. Ей иногда начинало казаться, что именно в этом и была цель ее существования — в том, чтобы после всех испытаний, которые выпали на ее долю, она очутилась бы в этой скромной квартире, далеко от того района города, где она жила с Жаком и чтобы она проводила спокойные, медленные и счастливые дни в ожидании возвращения со службы Пьера Форэ, старшего бухгалтера какого-то незначительного предприятия. И что, кроме того, явно фальшивое ее положение здесь, так как она не была ни женой, ни любовницей, ни даже отдаленной родственницей этого человека, ее совершенно не тяготило, как оно не тяготило и Пьера.

— Ты думаешь, что это может продолжаться бесконечно? — спросил его как-то Франсуа.

— Я был бы счастлив, если бы это было так, — сказал Пьер. — Но это слишком замечательно и вряд ли это может быть длительным.

— Не знаю, — сказал Франсуа. — До последнего времени я в чудеса не верил. Но после того, что произошло с Мари...

И эта жизнь продолжалась, жизнь, которая каждому, как это думал Пьер и как это думала Анна, показалась бы странной и даже просто неправдоподобной, но которая была лишена какой бы то ни было искусственности и в которой не только

не было ничего тягостного или неловкого ни для него, ни для нее, но от которой ни он, ни она никогда не отказались бы. Утром Пьер вставал рано, убирал квартиру, брился, принимал ванну, одевался и когда он шел на кухню, чтобы приготовить кофе, он слышал, как отворялась дверь комнаты Анны, слышал ее шаги, потом шум воды в ванной. И когда он входил в столовую, Анна уже ждала его там, со своей всегдашней теплой улыбкой, к которой он не мог привыкнуть и от которой он каждый раз испытывал волнение. Потом он уходил на службу и она оставалась одна. Она выходила на улицу, — с недавнего времени она стала покупать провизию, — затем возвращалась домой и садилась писать. Она писала медленно, часто останавливаясь и глядя прямо перед собой в белую стену, которая вдруг смещалась и там, где она только что была, возникали железные ворота, за которыми открывалась аллея, ведущая к подъезду дома. В треске гравия и ярком солнечном свете из далекого пространства начинал медленно приближаться тот мир, в котором прошли детство и первые годы ее молодости. Она старалась удержать эти видения, они исчезали и появлялись опять, то расплываясь, то снова возникая с необыкновенной отчетливостью и скрываясь потом в густой листве сада или темнея в наступающих сумерках. И там, где только что дрожали на ветру бесчисленные листья, не было больше ничего, кроме отдельных переливов колокольного звона или звуков рояля, почти безмолвных, как зрительное воспоминание и Анна повторяла их вслух, чтобы вернуть им жизнь и только тогда рояльная мелодия вдруг расцветала перед ней, неувядаемая и непогрешимая в своей последовательности раз навсегда.

Наконец, однажды вечером, после ужина, Анна сказала:

— Пьер, я кончила сегодня днем первую часть того, что я хотела написать. Я старалась постепенно вспомнить всё, что было когда-то началом моей жизни. И она протянула ему большую тетрадь, которую он ей купил после того, как она сказала ему, что хотела бы записать свои воспоминания.

— Вы много раз спрашивали меня, кто я такая, — сказала она изменившимся голосом. — Я не могла тогда вам ответить, но не потому, что я не хотела, я не могла, действи-

тельно не могла. Теперь я написала об этом, я знаю, что так я не сумела бы вам рассказать. Может быть, это плохо написано, но это всё равно, Пьер. Во всяком случае, я писала это для вас.

— Мари...

— Меня звали Анной, Пьер, — сказала она. — Но теперь мне иногда кажется, что мое настоящее имя, это то, которое вы произносите.

Она поднялась с своего кресла. Пьер спросил:

— Вы уходите к себе?

— Сегодня, первый раз за всё время, — сказала она, — я хочу быть одна.

Он с тревогой смотрел в ее лицо. Оно было неподвижно и ее широко раскрытые глаза пристально глядели на него. Он опустил голову. Но через несколько секунд она сказала:

— Я буду одна, Пьер. Но я буду знать, что вы недалеко от меня.

* * *

«Я не знаю, кто я. Я знаю свое имя и свою фамилию, я знаю, сколько мне лет и где я родилась, но я знаю не менее твердо, что это ничего не определяет. Я знаю, что я такая, какой я себя вижу и ощущаю, я живу и существую только с недавнего времени и об этом у меня почти нет воспоминаний. То, что предшествует во времени моей теперешней жизни, мне кажется бесконечно далеким. У меня такое впечатление, что я вспоминаю чью-то чужую жизнь, которая кончилась несколько лет тому назад. И эта чужая жизнь, медленно возникающая в моей памяти, начинается, — как это представляется мне сквозь неизмеримую даль, которую мне никогда больше не суждено пересечь, — начинается с того, что я вижу перед собой, в свете яркого солнечного дня сложное сплетение железных прутьев на воротах, вделанных в каменную стену, окружавшую сад, в глубине которого стоит дом, где я родилась, в Провансе, на юге Франции».

Так начиналась первая страница тетради, которую Анна дала Пьеру и которую он читал до трех часов утра.

То, что поразило его больше всего, это свежесть повествования, какая-то особенная непосредственность восприятия Анной всего, что она описывала — и сквозь этот медленный словесный ритм до него доходило ясное видение далекого мира, который появлялся перед ним из этой тетради в коричневом переплете. Такое впечатление было у него, когда он читал это первый раз, читал так, как если бы это была книга, написанная автором, которого он не знал. Но как только он кончил читать, он опять начал всё сначала — и тогда постепенно, перед ним появилась Анна, сперва девочкой, потом подростком. Он видел перед собой отца Анны, ее учителей, аббата, вспомнил, что он тоже читал когда-то, очень давно, стихи Луизы Лабэ. Он никогда не был в Провансе, где стоял дом родителей Анны, но ему казалось, что он видит всё это с необыкновенной ясностью, эти кипарисы и пальмы сада, этот красновато-желтый цвет стен, это сверкание южного солнца, эту красную землю, эту прозрачность горячего воздуха, этот полет ласточек, эти сумерки, эти ночи, эти дни. Ему представлялось, что из этой далекой картины идет к нему и всё не может дойти девушка, которой он никогда не знал. Она принадлежала к совершенно чуждой ему среде, но это казалось ему неважным. Он прочел всё до конца второй раз, разделся и лег в постель, но знал, что не заснет до утра. Он думал о том, что образ Анны такой, каким он возникал из ее воспоминаний, — он представлялся ему очень отчетливым — наивная лирика, ожидание того, что вдруг, в один блистательный день ее жизни, этот романтический мир откроется перед ней во всем своем великолепии, — тогда, когда в силу невозможного и невероятного совпадения чья-то воля сольется с ее волей, чье-то чувство будет таким же, как ее чувство, словом, когда осуществится этот идиллический и детский бред ее воображения. Он вдруг вспомнил свое собственное впечатление от Лувра и сожаление о том, что этих красок, этого мира пророков, героев и красавиц больше не существовало, как не существовало того, о чем мечтала Анна.

Ее воспоминания обрывались на том месте, когда она уехала из Прованса в Париж. Он лежал с открытыми глазами. Так

вот кем было то бедное больное животное, которое он увидел в лесу, недалеко от дома Франсуа, это несчастное существо в грязном балахоне, — босые ноги, облепленные мокрой глиной, спутанные волосы, пустые светлые глаза! Вот кому принадлежало это тело, которое он так хорошо знал и которое он в течение долгого времени мыл и одевал, — в котором было всегда, до последнего месяца, нечто пугающее и нечеловеческое, потому что это было соединение тканей и мускулов, не одушевленное ни одним проблеском сознания. Теперь это тело, вероятно, стало другим. Но Пьер тотчас же забыл об этом и продолжал думать об Анне так, как будто она была почти отвлеченным видением. Кто мог подумать, — тогда, в лесу, у Франсуа, — что эти грубые и грязные руки когда-то перелистывали страницы книг или нот, что эти пустые глаза видели раньше что-то иное, чем то зияющее небытие, в которое они, казалось, были так неподвижно устремлены? — Но мы победили это! — вдруг сказал он вслух с необыкновенной силой.

В комнату давно проникал дневной свет. Пьер встал, надел халат и пошел в ванную. Он делал всё привычными движениями, но совершенно механически, думая о другом. Когда он вошел в столовую, он увидел Анну, сидящую в своем кресле.

— Мари, — сказал он. — Простите, Анна... Я хотел бы вам сказать очень много, но я сейчас не нахожу слов. Я прочел то, что вы написали. Я хотел бы... Я не спал эту ночь, вы знаете...

Она подняла на него глаза и Пьер встретил ее взгляд.

— Я тоже не спала, — сказала она. — Пьер, вы самый замечательный человек, которого я встретила в своей жизни.

С недавнего времени Пьер перестал думать о том, как сложатся его отношения с Анной и как будет идти их жизнь. Он знал, что это зависело не от него, а от решения Анны. То беспокойство, которое было у него раньше, когда он спрашивал себя, что будет дальше, теперь прошло. Он думал об Анне всё время, но другие вопросы занимали его внимание. Он думал,

что Анна никогда не найдет, не встретит человека, который мог бы не обмануть ее ожиданий, тех, о которых она писала в своих воспоминаниях. Для того, чтобы это произошло, он повторял это себе много раз, — нужно столько удивительных совпадений, на что нельзя рассчитывать. Правда, под влиянием чувства, которое она могла бы испытать к какому-то человеку, эти требования Анны могли измениться, но это было бы, с ее стороны, — в какой-то мере, — отказ от самой себя, искажение своего собственного образа и оправдал ли себя этот отказ?

Анна сказала ему, что ей надо подумать несколько дней и что после этого она начнет писать вторую часть своих воспоминаний. Пьер чувствовал, — он не мог определить с какого именно момента это началось, — что в жизни Анны наступает самый важный, как ему казалось, период. Но при этой мысли он не испытывал ни тревоги, ни волнения, которые были раньше.

Франсуа позвонил ему на службу и Пьер условился встретиться с ним в кафе, как всегда. Он рассказал ему, что произошло за последнее время и долго говорил о воспоминаниях Анны.

— Это написано, — так мне кажется, ты понимаешь, я плохой критик, я не берусь судить, — с удивительной свежестью и читая это, ты ясно представляешь себе всё. Когда я это прочел, я подумал, — вот с кем мы имели дело, Франсуа, вот кого ты поднял с дороги. Разве это можно было тогда представить?

— Ну, представить можно было всё, что угодно, — сказал Франсуа. — Можно было ставить себе самые разные вопросы, зная заранее, что ни на один из них не будет ответа. Но что с ней было потом, со времени ее приезда в Париж и до июня сорокового года?

— Она мне сказала, что начнет писать об этом через несколько дней.

— Собственно, почему ей просто не рассказать тебе об этом?

— Мне кажется, я это понимаю, — сказал Пьер. — Я убежден, у меня в этом нет ни малейшего сомнения, что она

напишет правду обо всем. Но насколько я себе представляю, когда она пишет, ей самой всё становится яснее и вместо беспорядочных воспоминаний в смешанной и спутанной последовательности, перед ней возникает отчетливо то, что было. Я думаю, кстати говоря, что у нее есть несомненные литературные способности.

— Теперь о другом, — сказал Франсуа. — Ты не обращался больше к психиатру?

— Откровенно говоря, мне кажется, что в этом нет надобности.

— Практической надобности — может быть. Но тебе не хотелось бы понять, как всё это произошло и как это могло произойти?

— Конечно, хотелось бы. Но я сомневаюсь, что кто бы то ни было, будь это даже специалист, мог бы это объяснить. Почему ты об этом заговорил?

— Я недавно встретил именно такого специалиста, это мой товарищ по университету. Очень дельный человек, между прочим, хотя несколько увлекающийся. Мы с ним ужинаем завтра и я хотел бы ему всё это рассказать, мне интересно знать, что он скажет. Ты ничего не имеешь против?

— Нет, — сказал Пьер, — мне тоже интересно было бы узнать его мнение.

— Послезавтра я тебе позвоню, — сказал Франсуа.

Он ужинал со своим университетским товарищем на следующий вечер, в ресторане, огромные окна которого выходили на набережную Сены. Когда подали кофе, Франсуа сказал:

— А теперь я тебе расскажу одну историю, это непосредственно по твоей части, и буду тебе благодарен, если ты мне скажешь, что ты об этом думаешь. Так вот. Началось это давно...

Его собеседник, еще молодой человек с очень спокойными и очень внимательными глазами, — по его взгляду было видно, что он привык направлять мысль других людей и что он привык к их добровольному подчинению, — слушал Франсуа, не выражая ни недоверия, ни удивления. Франсуа кончил рас-

сказ и вопросительно посмотрел на своего товарища. Тот сказал:

— То, что ты мне рассказал, это изложение ряда неправдоподобных фактов. Так, как ты это рассказываешь, это происходить не могло.

— Парадоксальным образом это не мешает тому, что всё происходило именно так.

— Я, может быть, неудачно выразился. Я хотел сказать, что это мне кажется клинически невозможным. Было что-то другое, самое важное, чего ты не знаешь.

— И чего не знает никто?

— Это стоило бы выяснить. Тогда всему этому можно было бы найти объяснение.

— Ты думаешь, вообще говоря, что всё может быть объяснено? Ты не думаешь, что существуют вещи, явления, по отношению к которым слово «объяснение» теряет смысл?

— Если ты станешь на этот путь, ты отказываешься от анализа и от того, что называется научным исследованием.

— Ни в какой степени, — сказал Франсуа. — Я только думаю, что количество явлений в жизни значительно превосходит количество тех понятий, которыми мы располагаем для того, чтобы эти явления определить. Мы можем идти от простого к сложному или от сложного к простому. Но если того, что мы хотим понять, нет ни среди простых, ни среди сложных явлений, которые вы знали? Почему ты говоришь, что это клинически невозможно?

— Я говорю, что это не могло происходить так, как ты это рассказываешь, тут чего-то нехватает. Как и почему она впала в то состояние, в котором она прожила несколько лет, какой шок мог вызвать это? То, что она пришла в себя после менингита... Она не упала ни разу во время болезни или до болезни?

— Не знаю, — сказал Франсуа, — надо спросить Пьера.

— Вот что касается Пьера, —сказал его собеседник, — тут всё гораздо яснее.

— Что? — удивленно сказал Франсуа. — Яснее? Почему?

— Что он собой, по-твоему, представляет? Это твой старый товарищ, ты знаешь его давно и ты мне рассказал приблизительно его жизнь. Что ты о нем думаешь?

— Это я тебе скажу, — ответил Франсуа. — Но мне интересно знать, что ты думаешь и почему тебе всё так ясно?

— Это человек, у которого нет, как это говорится, резко выраженной индивидуальности.

Франсуа вспомнил статью о среднем французе.

— У твоего Пьера нет честолюбия, у него нет личной цели в жизни. В нем нет, если хочешь, какого-то творческого начала. Если его оставить одного, он не будет знать что с собой делать. Но у него, как у всех людей, есть душевная энергия, которую ему не на что направить. Он не может себя найти — поэтому он неизбежно идет к раздвоению личности. Он должен жить не для себя, а для кого-то другого — и в этом он находит удовлетворение. Ты понимаешь, говоря образно, он смотрит в эту чужую жизнь и только там он видит отражение самого себя, — искаженное, неправильное, частичное, — но всё-таки отражение. Полноты образа тут нет и его личные возможности наполовину парализованы. Но всё это, конечно, не мешает ему быть отличным человеком с несомненными достоинствами.

Франсуа покачал головой.

— Ты со мной несогласен?

— То, что я с тобой несогласен, это не так важно, — сказал Франсуа. — В конце концов, может быть, ты его обрисовал правильно с точки зрения твоей собственной терминологии. Но эта терминология мне не кажется убедительной. Что такое раздвоение личности? И где граница между ее клиническим значением и творческой силой воображения, той самой которая заставила Флобера сказать эти слова — ты их не можешь не помнить: «Мадам Бовари, это я!» Что это, как не раздвоение личности, которое доходило до того, что у него была рвота, когда он описывал ее отравление? Но оставим искусство потому, что никакой анализ никогда не объяснит возможности появления таких людей, как Микель Анджело, Дюрер, Шекспир, Толстой. Я тебе скажу, что я думаю о Пьере. Он не

фанатик, не святой, он не из тех, кто готов посвятить свою жизнь уходу за прокаженными, он не склонен ни к какой экзальтации. Но он способен сделать то, чего мы с тобой сделать не можем и именно потому, что в нем есть творческая сила, которую ты у него отрицаешь. Он способен создать и построить мир, ты понимаешь? Какую волю надо было иметь, чтобы сделать то, что он сделал? Какой огромный запас душевной силы! Если хочешь, он действительно живет не для себя. Но что значит жить для себя? И для кого, в конце концов, он строит тот или иной мир? Ты понимаешь, что это такое — победа над небытием?

— Без ее болезни и чего-то другого, чего мы не знаем, этой победы не было бы.

— Я в этом не уверен, — сказал Франсуа. — Я знаю только, что без него она до конца вела бы, вероятно, то жалкое животное существование, которого я был свидетелем.

— Мы все склонны совершать одну ошибку, — ответил приятель Франсуа. — Эта ошибка, о которой ты косвенно упомянул, — оставаться в пределах тех понятий, которыми мы оперируем, так, как будто бы не жизнь создает понятия, а понятия создают жизнь. Я лично всегда стремился этой ошибки избегать. Может быть, ты прав в своем суждении о Пьере, но я должен тебе сказать, что оно не очень противоречит тому, что я о нем думаю, — разница тут главным образом, как ты говоришь, терминологическая. Я говорю «раздвоение личности», а ты говоришь «построение мира», — но одно другого не исключает. То, что я думаю на основании моего опыта и очень долгих размышлений, повлекших за собой известные выводы, — я думаю, что в результате этой победы над небытием, как ты поэтически выражаешься, что меня удивляет, кстати, потому что ты журналист...

— Журнализм приучил меня к вульгаризации и упрощению, это верно, — сказал Франсуа, — но вне этого профессионального обязательства я оставляю за собой право на некоторую свободу выражений, которая в газетной статье на политическую тему была бы неуместна. Ты говоришь, что ты думаешь...

— Я думаю, что теперь, после того, что он сделал, Пьер может быть, наконец, найдет себя.

На следующий день Франсуа подробно рассказал Пьеру об этом разговоре. — Да, она упала с кровати, я может быть, тебе об этом не говорил? — сказал Пьер. — Я как-то ночью, сидя в кресле, в ее комнате, заснул и проснулся от шума падающего тела. Она металась в бреду и упала на пол. Когда я ее поднял, она была без сознания. Но она и до этого была без сознания. Никаких повреждений, однако, на ее теле я не заметил и думаю, что их не было. В конце концов, может быть, это падение и вызвало повторный шок, кто знает?

Несколько изменив выражения, Франсуа повторил Пьеру то, что ему говорил его товарищ. Пьер пожал плечами.

— Мне всё это кажется какой-то фантазией, — сказал он. — При чем тут раздвоение личности? Всё это гораздо проще. Ты видишь рядом с собой несчастное существо, которое заслуживает лучшей участи. У тебя есть возможность это положение как-то изменить. Ты это делаешь — и больше ничего. Что тут особенного?

— Всё зависит от того, как мы к этому подходим. То же самое положение можно представить себе иначе. Чья-то жизнь сложилась определенным образом. Если ты фаталист, ты скажешь, что так было суждено. Но ты с этим примириться не можешь и ты хочешь заставить события идти не так, как они идут, а так, как они, по-твоему, должны идти. Ты действуешь таким образом против судьбы, ты начинаешь борьбу с ней.

— Ты меня извини, Франсуа, но у тебя всё это приобретает, может быть, помимо твоего желания, какую-ту литературно-торжественную форму. Какая тут борьба против судьбы? Ты просто, в меру твоих возможностей, кому то помогаешь и больше ничего. В одном я с тобой согласен: судьба часто бывает несправедлива, — если можно как-то связать эти понятия, судьба и справедливость. И вот, если тут ты можешь что-то сделать, то это, конечно, дает тебе известное удовлетворение.

— Видишь, ты сам себе противоречишь. Потому, что ты всё-таки хочешь изменить естественный ход событий.

— Восстановить, — сказал Пьер, — не изменить, Франсуа, а восстановить. И я могу тебе сказать без колебаний, что это, по-моему, стоит сделать.

Франсуа внимательно посмотрел на Пьера. Потом он сказал очень медленно:

— А если она теперь уйдет и ты ее потеряешь?

— Для меня это было бы катастрофой, — сказал Пьер.

— Мы с тобой уже об этом говорили. Но это ни в какой степени не будет значить, что я действовал неправильно. Кроме того, и ты и я, мы склонны к преувеличению. Наша роль, моя в частности, значительно скромнее, чем может показаться на первый взгляд. Ты ее поднял с дороги, я по отношению к ней выполнял в течение некоторого времени, скажем, долг фельдшера и всё это, конечно, не дает нам на нее никаких прав.

— Прав не дает, это верно. Но я думаю, что если ты ее спросишь, какую роль ты играл в ее жизни, то я сильно сомневаюсь, что она назовет ее скромной.

— Ей сейчас тоже трудно судить об этом объективно, — сказал Пьер.

Когда Пьера не было дома Анна много раз подходила к телефону, хотела снять трубку и позвонить, но не могла на это решиться. Она знала, однако, что нужно было как-то действовать, нужно было, наконец, узнать очень важные вещи. Что произошло за эти годы? Где теперь Жак? Что теперь в Провансе? Обо всем этом она не имела представления. Она нашла в телефонной книге номер своей прежней парижской квартиры, но против него была теперь другая фамилия, значит Жака там не было. Зато телефонный номер ее двоюродного брата, Бернара, и его адрес были те же, что до войны и именно к нему нужно было, конечно, обратиться. Ей казалось, хотя она понимала насколько это нелепо, что если она позвонит Бернару и узнает от него всё, что произошло за это время, то это

как-то может изменить то, что было теперь и от чего она не хотела и не могла отказаться.

Она думала обо всем этом, особенно вечером, когда ложилась в постель. В последнее время она стала плохо спать. Но это ее не раздражало, как раньше. Она знала это состояние, оно было таким же, как в начале ее жизни, когда ей было шестнадцать лет. Это было смутное ожидание, значения которого она тогда не понимала. Но теперь оно не вызывало у нее ни волнения, ни усталости. Несколько раз она видела один и тот же сон: ей снилось, что она поднимается по узкой горной тропинке, что она поднялась очень высоко и почему-то не может вернуться тем же путем назад. И когда она, наконец, добирается до вершины горы и боится посмотреть в ту пропасть, которая должна открыться перед ее глазами, она вдруг видит, что она в долине, что нет ни пропасти, ни гор, что всё ровно и спокойно, что спускаются медленные сумерки и она знает, что ей недалеко до того места, куда она идет. Потом ей снились путешествия, поезда, пароходы, зыбь моря и в этих снах не было чаще всего ни смысла, ни содержания, это были ощущения — ветер, врывающийся в окно вагона, вздрагивание колес на стыках рельс, размах волны, которую пересекал пароход.

Каждый вечер после ужина она подолгу говорила с Пьером. Но ни она, ни он не говорили о том, что было самым важным.

— Пьер, вы никогда не думали о том, что бы вы сделали, если бы были богаты?

— Нет, — сказал он, улыбаясь. — У меня очень убогое воображение и я об этом никогда не думал. Но вы знаете, так как нет решительно никаких оснований полагать, что я когда-нибудь разбогатею, то в конце концов, не так важно, что я не буду знать, как я использую то богатство, которого у меня не будет.

— Ну, а всё-таки, что бы вы сделали, если бы оно у вас было?

— Не знаю, — сказал Пьер, продолжая улыбаться. — Вероятно, растерял бы и чувствовал бы себя несчастным.

— И вы никогда не мечтали о возможности разбогатеть?

— Нет, — сказал он, — кажется, нет, не помню. Знаете, Мари, — он долго не знал, как ее называть и говорил то Мари, то Анна, но потом стал опять называть ее Мари, — это, по-моему, не очень интересно. Когда я был мальчиком, я мечтал о далеких путешествиях. Но я никогда не думал в то время, что для этого нужны деньги.

— А потом вы всё-таки путешествовали? Вы были заграницей?

— Нет, — сказал он. — Я плохо знаю даже Францию. У меня никогда не было возможности поехать заграницу.

Ложась в постель она тушила свет и тотчас же мысли и образы возникали перед ней так, точно они рождались только во тьме, точно свет мешал их появлению. Днем она нередко думала о том же, о чем она думала в начале ночи, но эти же мысли были несколько иными, недостаточно полными, не доведенными до конца. В темноте они приобретали другой характер, более углубленный и более ясный.

Еще некоторое время тому назад она думала, что если бы она встретила Пьера на улице, она никогда не запомнила бы его лица. Теперь ей казалось, что она никогда не забыла бы его небольшие, широко расставленные глаза, линию его мягких губ, его улыбку, неуверенную и доброжелательную одновременно. У него были узкие плечи, маленькие руки и ноги, но она видела однажды, как он переносил без всякого усилия тяжелую швейную машину из одной комнаты в другую и все его движения отличались безошибочной точностью. Что еще удивляло Анну, это его необычайная память, он помнил все даты, все телефонные номера, помнил когда именно происходили те или иные события. Когда она как-то сказала ему об этом, он ответил:

— Да, это какая-то механическая вещь, но ценности она, по-моему, не имеет. Можно всё запомнить и ничего не понять. Тогда уж лучше меньше помнить и больше понимать.

Анна продолжала писать вторую часть своих воспомина-ний. Но за несколько дней до того, как она ее кончила, она решила, что нельзя больше откладывать необходимых и неиз-бежных решений. Она написала и отправила своему двоюрод-

ному брату, Бернару, письмо, в котором сообщала, что она жива и здорова, что хотела бы с ним о многом поговорить, и что в конце недели она позвонит ему по телефону. Все эти дни она была неспокойна и не могла скрыть своего волнения, — настолько, что Пьер это заметил и сказал ей:

— Мари, мне кажется, что вы чем-то очень озабочены. Может быть, я мог бы вам чем-нибудь помочь?

— Нет, Пьер, спасибо, — сказала она. — Я знаю, что могу на вас расчитывать.

— Во всем и всегда, — сказал он с непривычной для него твердостью.

Вторую часть своих воспоминаний Анне было гораздо труднее писать, чем первую. Она хотела сначала рассказать обо всем сравнительно коротко, изложив только факты и умолчав о том, о чем, в сущности, можно было и не говорить. Но потом решила, что не может так поступить по отношению к Пьеру. Она решила, что он должен знать о ней всё, чтобы не осталось ничего недосказанного. Она подробно описала всё, что касалось ее замужества, свою жизнь с Жаком, свои преждевременные роды, свою глубокую душевную подавленность, свои жалкие, — как она их называла, — попытки найти счастье или видимость любви на стороне, то, как в течение последнего года ее брака она почти не выходила из своей комнаты.

Она писала, что именно тогда она поняла, как ей казалось, что ее длительное ожидание той полноты жизни, о которой она мечтала столько лет и её надежда на это были основаны на чудовищной ошибке: она думала, что всё это существует не только в ее воображении, но и в действительности. Но потом она убедилась, что этого не было, и что этого нельзя найти. Ей было, как она писала, трудно жить, трудно говорить с людьми, она не могла привыкнуть к той атмосфере неизменного и безвыходного непонимания, которая была характерна для ее отношений с Жаком, самые простые вещи утомляли ее — и, в конце концов, это состояние было не лучше того, в каком нашел ее Пьер. И в том ощущении конца света, которое она испы-

тывала тогда, попав под бомбардировку, было нечто одновременно трагическое и утешительное, и у нее было впечатление, что гибнет мир, о котором, может быть, не стоит жалеть.

Опять, как прошлый раз, она дала свою тетрадь Пьеру вечером, после ужина. Она сказала:

— Я написала всё, Пьер, — то, о чем обычно не говорят и не пишут. Я не знаю, что вы подумаете об этом.

И опять, как в прошлый раз, Пьер не спал эту ночь. В его памяти возникали все подробности воспоминаний Анны о второй части ее жизни. Он старался понять каждое ее душевное движение и чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что в сущности, противоречие между первой и второй частью жизни Анны носило искусственный характер. Она не изменилась, — думал он, — изменились только внешние условия и изменились так, что это грозило ей гибелью. — Она просила хлеба и ей дали камень, — шептал он, лежа в кровати с открытыми глазами. — Как ей это объяснить?

Когда он увидел ее утром, он сказал:

— Во второй части ваших воспоминаний есть очень печальные вещи, которых нет в первой. Но в них, мне кажется, нет ничего, в чем вы могли бы себя упрекнуть. Мы поговорим об этом, хорошо?

В этот день, первый раз за всё время, она пошла провожать его до двери. И когда он был на пороге, она вдруг схватила его руку и крепко сжала ее. Ему показалось, что он теряет сознание. Он обернулся и посмотрел на нее.

— Идите, Пьер, — сказала она шепотом, — мы поговорим вечером.

Когда Пьер ушел , она вспомнила, что была пятница, конец недели, и что если Бернар получил ее письмо, он должен ждать ее звонка. Она подошла к телефону и набрала его номер.

— Алло! — сказал далекий, как ей показалось, голос Бернара.

— Здравствуй, Бернар, — сказала она, — это я, Анна.

— Анна! — закричал он. — Анна! Это действительно ты?

Но это невероятно! Что с тобой было? Мы все считали тебя погибшей. Где ты? Что с тобой?

— Я тебе это расскажу, — сказала она спокойным голосом, которому сама удивилась. — Но для этого мы должны встретиться. Я не хочу приходить к тебе, я предпочитаю кафэ.

— Где угодно, когда угодно, — сказал он.

— Сегодня, в четыре часа, в том единственном кафэ, которое рядом с твоим домом, если оно еще существует.

— Да, да, — поспешно сказал он. — Я буду тебя ждать. Я просто не верю своим ушам.

Бернар был инженер, так же, как и Жак. Он изменился за эти годы, пополнел, стал как-то важнее чем был раньше, и потерял тот юношеский облик, который помнила Анна. Войдя в кафэ, она сразу увидела его и подошла к его столику. Он быстро поднялся и крепко обнял ее.

— Это чудо, Анна, — сказал он. — Постой, дай на тебя посмотреть. Что-то в тебе изменилось. Глаза, Анна, у тебя другие глаза. В остальном ты как будто такая же.

— Мне надо задать тебе несколько вопросов, — сказала она.

— Прости меня, пожалуйста, — сказал он, — ты не думаешь, что прежде чем задавать мне вопросы, ты могла бы сказать, что с тобой случилось и где ты была всё это время?

— Это я тебе скажу. Но я хотела бы прежде всего узнать, жив ли Жак и где он, если он жив.

— Жив, был в плену, — сказал Бернар. — Потом его всё-таки выпустили и он вернулся в Париж. Его завод делал поставки для окупационной армии. Жак тут был совершенно не причем, но потом, ты понимаешь, для него создалось довольно неприятное положение и он уехал из Франции. Он теперь представитель своего предприятия в Южной Америке и большую часть времени живет в Аргентине. Он очень изменился, особенно за время плена, у него теперь взгляды совершенно другие, — ты помнишь, каким он был ревностным католиком? Ничего от этого не осталось. Он там, в Аргентине, живет с какой-то женщиной, от которой у него ребенок, сын. Твой дом в Провансе, — это, по-моему, важнее, чем Жак, —

в том же виде, как раньше, только у сторожа другая собака. Все твои дела ведет наш нотариус, старик Видаль, — ты помнишь его? Он же содержит дом, он всё очень неплохо устроил, так что ты в общем обеспечена. Мы все считали тебя погибшей. Но когда я говорил об этом с Видалем, он мне заявил, что пока нет неопровержимых доказательств того, что ты нас «покинула окончательно», как он выразился, он будет действовать так, как если бы ты была жива, но находилась во временном отсутствии.

Бернар был любимым племянником отца Анны. В ранней своей молодости он не отличался примерным поведением, крупно играл в карты, водился с сомнительными людьми, пил, проводил ночи в кабаках и всё никак не мог угомониться — до того, как после очень крупного скандала он дал отцу Анны слово вести себя иначе и с этого дня изменился: стал усердно учиться, сдал все экзамены и поступил на службу, где прекрасно себя зарекомендовал. — Вот, говорят, что метаморфоз больше не бывает, — сказал после этого отец Анны. — Очень даже бывают. То, что случилось с Бернаром, в своем роде не менее удивительно, чем то, о чем рассказывается в греческой мифологии.

Анна помнила Бернара, — он был старше ее на пять лет, — сначала мальчиком, потом юношей, он часто проводил лето у ее родителей; он учил ее играть в тенис и плавать и она сохранила о нем самое лучшее воспоминание. В последние годы, после своего замужества, она встречала его очень редко, — когда он как-то был у нее и Жака в их парижской квартире и Жак весь вечер развивал свои теории, Бернар потом сказал Анне:

— Он страшный ханжа, твой муж, как ты могла выбрать такого человека? Это какой-то ходячий молитвенник, а не мужчина.

— Теперь ты мне скажи, что было с тобой и куда ты исчезла? — сказал Бернар. — Всё, что я знаю, это что когда к Парижу подходили немцы, ты села в автомобиль и уехала. После этого никто никогда не видел ни тебя, ни автомобиля.

— Ты знаешь, Бернар, это такая страшная вещь, —

страшная и неправдоподобная, — что когда я думаю об этом, я просто теряюсь. Как это тебе рассказать? Я даже не могу сказать, что я погибла. Меня больше не было. Та самая Анна, которую ты знал столько лет, с которой ты играл в детстве, перестала существовать, умерла если хочешь. И эта смерть продолжалась все эти годы, до самого последнего времени.

— Смерть не может продолжаться, Анна. Смерть наступает один раз.

— Это так и было бы со мной, если бы...

— Если бы что?

— Нет, — сказала Анна, — я начну сначала. Ты помнишь аббата Симона?

— Ну, как же, — сказал Бернар. — «Дитя мое, вы должны понять...» Но при чем тут аббат Симон?

— Я вспомнила о нем потому, что он объяснял мне смысл Апокалипсиса. И вот, последнее, что я видела, до той минуты, после которой я перестала существовать, я хочу сказать, я, как Анна Дюмон, — это было похоже на апокалиптический конец света. И вот...

Она подробно рассказала Бернару о том, что с ней произошло. Ни она, ни он не замечали, как шло время. Когда Анна кончила говорить, был уже десятый час вечера.

— Это нельзя назвать иначе, как чудом, — сказал Бернар. — Значит, все эти годы, когда мы ломали себе головы над совершенно бесплодными догадками о том, как и где ты могла погибнуть, ты жила там, в этом домике, в лесу, не зная, кто ты такая и не понимая даже, что ты продолжаешь существовать. Но чудо в том, что нашелся человек, который вернул тебя к жизни. Он что — врач? Он богат? Кто он такой?

— Он бухгалтер по профессии, никакого состояния у него быть не может. Ты думаешь, что это имеет какое-нибудь значение?

— Нет. Я думаю, что это не имеет ни малейшего значения, — сказал Бернар.

И только тогда Анна взглянула на стенные часы и увидела, что они показывали половину десятого.

— Я должна идти, — сказала она. — Я тебе позвоню на-

днях и мы продолжим наш разговор. — Она быстро вышла из кафэ и поехала домой.

Пьер плохо понимал то, что ему говорили в этот день. Внешне это никак не отражалось на нем и этого не заметил ни один из его сослуживцев. Но всё, что он слышал и воспринимал, доходило до него заглушенным и едва понятным, теряясь в том воспоминании необыкновенной силы, которое не покидало его — рука Анны, сжимающая его руку. Он всё время продолжал чувствовать этот горячий зажим ее сухих и сильных пальцев и в этом ощущении глохли голоса и звуки вокруг него. Он ушел со службы раньше, чем обычно.

Он вошел в квартиру и сразу почувствовал, зная, что не может ошибиться, что Анны нет. Было пять часов дня. В это время она всегда была дома. Не понимая, что он делает, не понимая зачем он это делает, он закричал:

— Мари! Где вы? Мари!

Он быстро прошел в ее комнату. Всё было в таком виде, как будто она только что была тут. Может быть...

Он сел за стол и охватил голову руками. Она сказала — мы поговорим вечером, — значит, она не собиралась уходить. Но может быть, это было нечто вроде прощания, так же, как то, что она сжала его руку, может быть, это были ее последние слова и последнее движение?

У него болело сердце. Может быть, с ней случилось несчастье? Она могла упасть на улице, попасть под автомобиль? Нет, это всё-таки было маловероятно. С другой стороны, если бы она не решила уйти, ее не могло бы не быть дома в этот час. Но почему она даже не оставила ему записку, — несколько слов, — разве он не заслужил этого? Боль в сердце мешала ему думать. Он встал, сделал несколько шагов по комнате и сел в то кресло, в котором обычно сидела она. В конце концов, на что он мог расчитывать? Какое он имел право на что-либо расчитывать? И что могло быть, в конце концов, естественнее, чем ее возвращение в тот мир, где она раньше жила? Пьер, однако, знал рассудком и чувствовал всей душой, что этого не могло

быть. Кроме того, Анна не могла принять такого решения и даже не сказать ему об этом, — Анна, которая с такой искренностью и таким бесконечным доверием к нему рассказала ему в своих воспоминаниях всю свою жизнь, Анна, — ее изменившийся после болезни голос, теплый взгляд ее глаз, ее медленное и неудержимое приближение к нему, о котором он старался не думать, но которого он не мог не чувствовать, — нет, Анна не могла уйти. Но что же в таком случае могло произойти? Что можно было сделать? Где ее можно искать? Единственное, что оставалось, это ждать. Но ему казалось, что на это ему не хватит сил.

Потом наступило состояние, похожее на душевное оцепенение. Некоторое время он не думал больше ни о чем, ему было больно и он даже не мог бы сказать, где именно он чувствовал эту боль, — она была всюду. Затем он опять встал, сделал несколько шагов и снова сел в кресло. Он вдруг увидел перед собой Анну, такой, какой она была теперь, ее лицо с тяжеловатыми чертами, — ему вдруг вспомнились эти слова ее отца, — с теплым взглядом ее глубоких глаз, — ее улыбку и услышал опять ее незабываемый шепот, — мы поговорим об этом вечером, Пьер. Она имела право действовать так, как она хотела... Анна Дюмон, которая просто никогда не знала бы о его существовании, если бы не эта ее многолетняя душевная смерть и необыкновенное количество удивительных совпадений. Если бы не это... В конце концов, он, Пьер Форэ, на что он мог претендовать? Он думал об этом и в то же время чувствовал, что все эти соображения были совершенно вздорными, что всё было не так. Позвонить в комиссариат полиции? Он знал, что ему оттуда ответят: «подождите несколько дней, какие у вас основания думать, что с ней что-то случилось?»

Он знал, что Анна и все чувства, ощущения и мысли, которые были с ней связаны, это был мир, вне которого для него ничего не существовало. Если бы этого мира не стало, его жизнь не имела бы никакого смысла ни для других, ни для него самого. Он сделал то, что он должен был сделать и на этом его роль была кончена. Теперь он был больше не нужен. У него была бедная жизнь, потом перед ним возник необыкновенный

и блистательный мираж, который ему было суждено увидеть, почувствовать и понять, — Анна и ее возвращение из небытия, — но в котором ему не было места. Всё было ясно, всё было естественно и даже если в этом было то, что лишало его собственную жизнь всякого смысла, это ничего не меняло и это возвращение Анны было несравненно важнее, несравненно значительнее, чем его существование или прекращение его существования.

В комнате давно было темно, он не подумал о том, чтобы зажечь свет. На смутно белеющем циферблате стенных часов стрелки показывали без четверти десять. Теперь было ясно, что Анна не вернется. Но может быть, она завтра позвонит ему? Может быть, она напишет ему? Может быть, она объяснит ему... и он скажет ей... Может быть...

С необыкновенной отчетливостью он услышал, как поворачивается в двери ключ. Он повернул голову. С порога голос Анны сказал:

— Пьер, вы здесь?

Вместо ответа она услышала глубокий, хриплый звук, похожий, как ей показалось, на сорвавшийся стон.

— Пьер, что с вами? — закричала она. Она зажгла свет. Пьер сидел за столом, опустив голову, плечи его вздрагивали. Она подошла к нему, теплая ее рука обняла его. Она сказала:

— Теперь всё кончено, Пьер. Я вас больше никогда не оставлю.

Он чувствовал ее руку на шее и прикосновение ее тела. Он не мог сказать ни одного слова. Он поднялся со стула и увидел так близко, как никогда, ее глубокие глаза.

— Да, Пьер, — сказала она, — да. И если бы было нужно опять всё начинать сначала, зная, что вы придете за мной, я бы не колебалась ни минуты.

— Я бы тоже не колебался ни минуты, — сказал Пьер. Это были первые слова, которые он произнес после того, как она вошла в квартиру.

Гайто Газданов

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

К ***

Напрасно тень свою ты в зеркале искала;
Она была тобой, ты больше не она.
С нездешней легкостью легла на одеяло
Жемчужных рук твоих сквозная белизна.

Жежчужных рук. Твоих... Ты плачешь, Каллинира?
Каллианасса плачь! Нам утешенья нет.
К блаженным берегам исчезнувшего мира
Нам возвращенья нет. И нам прощенья нет.

Но там, над временем, в кольце возобновлений,
Над зеленью лугов и синевой морей,
В нетленной юности, где тень навстречу тени
Летит, как некогда моя вослед твоей,

Сквозь все отравы, все колючие обиды
Летела мучаясь, любуясь и любя, —
Там, на гребне волны, где пляшут Нереиды,
Нет ни одной, поверь, жемчужнее тебя.

*

Зачем, рассудок беспокоя,
Гадать, что́ ближе, свет иль тьма,
Когда от запаха левкоя
Мне так легко сойти с ума?

Для несказанного ответа
Предвечной Мудростью рожден,
Темнее тьмы, светлее света
И тишины беззвучней он.

Скорее сладостен, чем сладок,
Свежее свежести самой,
Он, по ту сторону загадок,
Во мне сливается со мной.

Блаженное благоуханье
Сполна единый раз вдохну
И задохнусь в моем вдыханье,
В его дыханье утону, —

Как будто машут, веют, тают,
Там, где душа моя была,
Как будто в небо прорастают
Ее незримые крыла.

В. Вейдле, 1965

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Одним забавы, другим заботы. Затем забвенье.
Да, жисть жестянка, да, жисть копейка, судьба индейка.
Да, холод-голод. Не радость старость. (И ночь, и осень).

И пыльный свиток, печальный список шуршит так сухо,
И совесть-повесть стучится глухо ночным дождем.
Ночные тени лежат в больницах, окопах, тюрьмах.

Над горем мира, над миром горя лишь ветер ночи.

2

Страшные где-то галактики,
Страшные звезды вселенной...
В парке бродяги горланили,
Пели (грустней, веселее...)

Был полон печалью осени
Весь парк (березы и клены).
Над ним разлетались в космосе
Фонтаны фотонов, волны.

Что ж, космос, накручивай эллипсы,
Вдаль улетай по спирали...
Полны надышенной прелести
Наши земные печали,
Точно уютные мелочи
В доме, где мы вырастали.

3

Будет отравлен
солнечный воздух
и даже будут
отравлены звуки
музыки милой.

Или же просто,
когда, я не знаю
(Боже мой, как же?)
не достучится
милое сердце
даже до мая.

Но как легко
голубой дорожкой
тает
дым папиросы,
как нежно-нежно
пепел сереет!

И ясно сияет
в тонком стакане
светлая льдинка
хрустально, алмазно.

4

Снегом, солнцем и сном.
Далеким именем счастья.
Той оснеженной сосной.

Лунным лесом во сне.
Далекой свежестью ветра.
Сладостным именем: лань.

Смутным сумраком сна.
Холодной мглой ледохода.
Мартовским именем: ночь.

Тусклым утром во сне.
Летучим именем чайки.
Розовым знаком зари.

5

Слушая розовый сумрак смуглых ладоней,
Теплую музыку раковин нежно пахучих,
Маленьким розовым ухом прильнув поудобней,
Всё повторяя, как волны — «голубчик, голубчик...»

Слыша почти, что снежинки, светлая стая,
Снова слетаются, ночь Рождеством наполняют.
Глядя на розовый шорох в широком камине,
Видя ночное молчанье улицы зимней...

Слушая грудь, где бормочут счастье и жалость,
Слыша жасминовый запах снежинки холодной,
Точно в мелодию летней реки, погружаясь
В тихий и розовый сумрак смуглых ладоней...

Игорь Чиннов

КНИГА О ЖИЗНИ*

5. ПРОСВЕТЫ

Я мог бы сказать, что раскрываю книгу раннего детства, как ветхий полузабытый том, где многих страниц уже не хватает, а на других стерлись буквы и едва можно разобрать иллюстрации. Но такое сравнение и банально и неверно: ведь книгу держишь перед собой, вне себя, тогда как детство это ты сам, обращенный внутренним взглядом в себя. Не лучше ли сравнить детство с глубоким колодцем, на деревянном срубе которого сидишь, заглядывая в воду, и далеко внизу видишь свое отражение, тени, игру света. Ты спускаешь ведро в глубину, — но сколько бы ни захватило малое твое ведро, всегда останется в колодце больше, чем ты сам видишь. Этот колодец — ты сам. И кстати, уже нет колодцев в твоем настоящем, это всё старина... как и твое незапамятное и всё-таки живое, вспоминаемое прошлое, о котором ты можешь сказать, что оно часть детства всех детей и жизни всех людей.

За Пинском, за Столином — очередь Варклян. Так они выговаривались — на «а», хоть, вероятно, местечко (или поселок) называлось Воркляны, через «о».

Мы жили в Варклянах в просторном доме с садом, принадлежавшем князю Друцкому-Любецкому. В саду под оградой росли кусты смородины и крыжовника, которыми пользоваться мы не имели права, но всё равно безбожно обрывали их без спросу, и я и моя сестренка. Когда пришло время окончательно уезжать из Варклян и уже выносили чемоданы к поджидавшему извозчику, второпях и напоследок мы, дети, забрались в сад и набрали в кувшин красной как кровь смородины и еще незрелого зеленого крыжовника.

---

* См. кн. 81 «Н. Ж.».

Мне было года четыре. Не помню ни комнат, ни дома, ни самых Варклян. Но как мелодия, повисающая в воздухе, стоит в ушах шум воды, падающей с мельничного колеса где-то на речке. И три острых просвета остались от Варклян, каждый незабвенный и по своему значительный.

Во-первых: был яблоневый сад, необозримый, он ослепил меня, когда я вошел, нет, вбежал стремительно в ворота и увидел богатство ветвей, увешанных большими спелыми яблоками. Так много яблок я еще никогда не видел в жизни! И я помчался в восхищении, протягивая к ним руки. Но вдруг выскочил из-за деревьев сторож и закричал на меня: я стал, оробев. Смеясь, подошел мой взрослый спутник. Он объяснил сторожу, что я сын доктора, а мне — что этих яблок нельзя трогать. Дали мне одно яблоко, но забрали у меня весь чудесный яблоневый сад. В Варклянах я узнал впервые, что бывают большие сады, как в сказке или раю, но всё в них чужое и недоступное. И яблоко из милости в моей руке вдруг показалось мне таким бедным...

Варкляны, где мы оставались недолго, были напоены горячим летним солнцем и сладким привольем. Я бегал там босиком, без надзора, в какие-то дебри. В одном месте был овраг с перекинутым бревном. Без страха я бегал по этому бревну взад и вперед... а через несколько лет, уже большим десятилетним мальчиком, лежа в постели в темной комнате, в другом городе, я вдруг вспомнил это бревно над пропастью и вспотел от ужаса. Как я мог бегать по такому узкому бревну!

И третий просвет: улица. По улице ведут к нашему дому человека на веревке. Как животное на убой. Он связан по рукам, бос и всклокочен, и несколько человек тянут его за собой, в пыли дороги. Эту пыль я вижу — и то, как он упирается, но должен идти. Это сумасшедший. Его привели издалека к доктору, и отсюда тем же порядком — на веревке — поведут дальше «в город». Это страшно. Отец ничем помочь не может. Его дело — дать свидетельство, бумажку конвоирам. Он сказал дома: привели сумасшедшего, я отправляю дальше. И мне не жаль его, а страшно, я боюсь подойти ближе, как боялся бы подойти к быку на веревке или собаке на привязи. В эту

минуту я не знал, что никогда уже не забуду этого зрелища. Это еще один просвет в жизнь, тревожный сигнал, как яблоки, к которым нельзя прикоснуться или ненадежное бревно над глубиной.

Что было дальше? Костополь, местечко на Волыни, недалеко от Ровно. Здесь впервые, в возрасте пяти лет, является сознание «я». До того — безотчетное наличие в мире, подобно рыбе в воде или котенку на солнце. Но от Костополя моя жизнь из стадии обрывков, случайно или неслучайно сохраненных памятью, принимает форму биографической непрерывности. Именно с костопольского времени я нашел себя в окружающем и осознал мое отдельное существование, как Юлика, в отличие от других детей, и моей семьи, в отличие от других семей.

Но это пробуждение личности еще довольно узко и односторонне. Я не могу рассказать, например, какой была наша квартира. И само местечко отсутствует в памяти. Мы жили на окраине. Дом выходил на открытое пространство, на поляну, своими двумя квартирами.

В конце этого открытого пространства, на краю горизонта пробегала линия железной дороги и в определенные часы шел поезд, напоминая, что за Костополем есть еще много интересного в мире. И самый луг был дружественным, милым, своим. В сторону от него уходила тропинка в поле. Этой тропинкой — межой в колосящемся поле — я часто бежал в другой дом на холме. В том доме жили соседи-друзья, и меня любили, но их лиц я не помню, и только свежесть торопливого бега на вольном воздухе отчетливо сохранилась.

В соседнем с нашей квартирой помещении — дверь в дверь — было нечто странное: там был земляной пол. Этот земляной пол очень удивлял и интересовал меня — больше, чем люди, жившие в этой норе. Они были интересны только тем, что в их жилье был удивительный земляной пол, единственный, который довелось мне видеть за всю мою жизнь. С людьми, которые там жили, дружила наша кухарка Шипа.

Это первое лицо и первая дружба в моем детстве. Характерно для костопольских нравов и быта, что у нас была ев-

рейская прислуга — позже служанками в дом брали деревенских девок или профессиональных служанок — они никогда не были еврейками. Кухарка Ципа была толстая, объемистая женщина. При какой-то оказии мне пришлось спать с ней в одной постели. Было очень тепло, но не произвело на меня никакого впечатления. Зато связан с ней другой эпизод, — первое трагическое потрясение моей жизни.

За лугом, за линией железной дороги начинался лес. Этот лес потом вспоминался мне при виде репродукций Шишкина: могучие стволы, тень и солнце в густой листве, а на первом плане быстрая лесная речка. Туда приводила меня Ципа, там развешивался гамак и там я купался в неглубокой речушке, журчавшей по камням. Был ясный солнечный день, всё зеленело и на опушке леса сидела Ципа на пригорке, а я в пяти шагах от нее залез в воду. Ципа была занята разговором с приятельницей, а я тем временем всё дальше и дальше входил в воду — и вдруг оступился. Дно ушло из-под ног, и я начал тонуть. — Ципа! — я захлебнулся, отчаянно забарахтался и закричал. Женщины продолжали мирно разговаривать, не обращая никакого внимания на меня. Это было ужасно и непонятно. Я тонул, солнце попрежнему светило, лес шумел, а Ципа с приятельницей и не думали меня спасать! Я мог кричать сколько угодно, я был предоставлен самому себе, я мог утонуть на их глазах! Отчаянным усилием, броском, я вырвался вперед и почувствовал дно под ногой. Я выбрался на берег, полный злобы: Ципа! Я мог утонуть сейчас! — А Ципа только отмахнулась. Я заплакал от обиды.

Я был испуган и глубоко оскорблен. Что-то во мне тронулось... Я стал вплотную перед правдой жизни. Контраст моей гибели и их равнодушия ошеломил меня. Среди бела дня могла случиться со мной беда, они всё видели, всё слышали — и не двинулись с места?! Я потерял доверие к ним, и эта сцена наполнила меня недетским предчувствием. Много лет спустя она повторилась при других обстоятельствах, и еще раз повторилась: ты гибнешь, а каменные лица друзей безучастно смотрят на твое несчастие. Такова жизнь, и мы выучили ее урок.

Но каждый раз, когда эта сцена в новом варианте повторялась в моей взрослой жизни, возвращалось сонное видение:

— Лесная речка. Толстая Ципа сидит на берегу. Солнце светит и лес шумит. И тот же детский столбняк находит на меня, как в тот летний полдень в волынской глуши.

Снова меняется пейзаж. Костополя нет, я на год старше. Мы побывали в Пинске, прождали положенный срок, и вот мы снова в пути, — на этот раз в глушь, какой еще не было: отец заведует земской больницей в Костюковичах, Климовичского уезда, Могилевской губернии. Это звучит, как рефрен стихотворения, и губы сами выпевают: «Костюковичи — Климовичского уезда — Могилевской губернии!» — всё имеет свое место, как в игрушке, где одна Матрешка вкладывается в другую, а другая в третью. От станции железной дороги до отцовской больницы ехать было сто верст.

Мы с матерью и трехлетней сестренкой тащились в бричке двое суток по проселочным дорогам, по тракту с разъезженными колеями, только без блоковских «спиц расписных». И не как в поезде, где мигает в окне Россия, развертываясь акварельно и баюкая ритмом вагонных колес, а в кузове, где ноги затекают и шея завязана, а пред тобой маячит извозчичья спина и лошади плетутся, помахивая хвостами, и валятся на тебя: небо и облака, соломенные крыши деревень, леса, которые издали представляются синими тучами, и тучи, которые на горизонте встают горными цепями. Кажется, что ты стоишь на месте и никогда не выйдешь из этого круга. Засыпаешь, а когда откроешь глаза через полчаса или час: все то же самое, небо, и облака, и тракт, и лес на горизонте, и широкая извозчичья спина на козлах.

Под вечер мы приехали в городок Сураж и заночевали в доме горчично-желтого цвета: только и успели заметить, как постелили нам, накрыли периной, а на утро, ранним-рано, возобновилось путешествие.

Этот второй день был солнечный, дождик прошел в полдень, бричка прогрохотала по мосту на головокружительной, казалось, высоте. Я видел, высунувшись, в прорезах деревянного настила, как блестела и пенилась река. Потом мы застряли

в грязи посреди села, среди изб. Сбежались любопытные ребятишки, пришли пособлять мужики. Долго возились, и с немалым облегчением, наконец, мы выбрались из предательской трясины в самой середине сельской улицы. И уж совсем затемно прибыли на место, где ждали нас отец и множество людей.

Земская больница — за деревней, там стояло полдюжины зданий вокруг большого двора. Это была отдельная усадьба, где единственный врач, мой отец, царил над штабом фельдшеров, фельдшериц, сиделок и сторожей. Вид был безотрадный — ни зелени, ни пруда или речки, всё голо, глинистая почва в рытвинах. Это было непривлекательное место. В стороне был павильон для заразных, куда вход мне был запрещен, как, впрочем, и в другие палаты. В деревню тоже меня не пускали. Жизнь сосредоточилась в комнатах нашего дома и на территории больницы — между зданиями. К нашим услугам был просторный дом, как бывает, со служебными квартирами: полупустые комнаты, меблированные несложно самым необходимым. Я помню потрясающую грозу в Костюковичах, с громами и молниями, когда тряслись окна в нашей столовой, и я стоял у большого окна, весь захваченный этим потопом, и блеском, и бушеванием, испытывая какое-то счастливое ощущение радости жизни. Там были у меня не одна, а две комнаты: в небольшой классной я готовил уроки, а в другой, большой, стояли две кровати у противоположных стен, — на одной спал я, а на другой — Роза Марковна, молоденькая моя учительница и воспитательница, выписанная из Вильны. Ей было, вероятно, лет девятнадцать-двадцать, и это был ее первый дебют, не очень удачный, в роли гувернантки. Она скоро уехала, не без того, чтобы поплакать во время уроков, когда я раздражал ее своей недисциплинированностью. Я плохо слушал: мои мысли были заняты чем угодно, кроме рассказа, который я читал вслух на уроке и потом должен был пересказать. А у нее были свои заботы: она часто плакала. Выписали ее потому, что в земской больнице, за сто верст от железной дороги, стоявшей на порядочном расстоянии от деревни, жить было одиноко и жутко. Отец часто выезжал в окрестность, мать оставалась одна. Кухарку звали Акулина. Ее болезненный большеголовый ре-

бенок был единственным товарищем моих игр, — сестренка Аденька была еще слишком мала. Акулина пришла один раз с жалобой, что я побил ее сына, после чего и кончились наши игры.

К Розе Марковне я был довольно равнодушен, но скоро научился ценить ее защиту. Защищать меня надо было от отца, который требовал, чтобы она ставила мне отметки, и за обедом проверял их; когда однажды она поставила мне двойку, разразилась над моей головой буря, и оробевшая Роза Марковна закаялась ставить мне плохие отметки. У нее образовался общий фронт с матерью, чтобы не подводить меня под гнев отца; во время одной из сцен она схватила меня за руку и увела к себе в комнату, запершись там. Когда уехала, вся в слезах, хорошенькая, бледненькая виленская барышня, — мать долго грустила.

Отец был грозен. Все его боялись. Раз поднялся на крыльцо нашего дома мужик без шапки, долго о чем-то просил, и выйдя на крыльцо, отец прогнал его громовой матерной бранью. Не по нраву пришелся мужикам этот земский врач. Шел год 1906-й, год неспокойный, когда бурлила крестьянская Россия и небезопасно было жить в деревне нелюбимому доктору. В один вечер привезли его из объезда по району с перевязанной головой: где-то бросили в него камнем. От меня это скрыли, но в доме стало тревожно: стали заботливее запирать на ночь окна и ставни, и из Пинска выписали вместо Розы Марковны молодого человека. Мой новый воспитатель назывался Маневич: худой высокий еврейский юноша, типичный «экстерн» начала века.

Таким образом, на шестом году жизни сцена вокруг меня оживилась и населилась образами; являются люди с определенными чертами лица, именами и отношением ко мне; и начинается дошкольный, но уже деятельный период ученья. Открылись мне тайны четырех действий арифметики. Маневич был моим первым учителем по задачнику, и я сравнительно быстро одолел таблицу умножения. Отец проэкзаменовал меня и вручил награду: новенький серебряный полтинник. Делать с ним было нечего, я повесил его в сумочке на стене, как трофей.

Веселый сторож Фома, мой приятель, зашел в комнату, я похвастался полтинником и он тут же украл его. Это не очень меня огорчило. Деньги не были мне нужны и никаких соблазнов не было в костюковичской глуши.

Запах смолы, дёгтя и вид крестьянина, далеко на поляне коптящего над костром тушу кабанчика, — тоже связаны с Костюковичами. Маневич взял меня с собой куда-то в окрестность, где мы ночевали. Я смутно помню — тесные комнатки, незнакомых людей, заботливо ухаживавших за мной, приходивших взглянуть на меня. Лабиринт дворов и переходов, в котором я потерялся, но меня сразу нашли и Маневич посадил меня к себе на плечи — «на баранчика». И другое пронзительное воспоминание. — Прямо против нашего дома на территории больницы был погреб, круглой насыпью возвышавшийся над землей. Этот погреб был мертвецкой больницы. Там, в одно утро, заглянув, я увидел, как торчали из-под простыни на досках две босые желтые ступни. Мой кругозор расширился — от таблицы умножения до этих врозь торчавших мертвых ступней. Но задумываться не было времени: отец рассорился с персоналом, жить стало небезопасно, и мы снова разъехались: отец на поиски новой службы, а мы — как всегда — в Пинск, на Плевскую улицу.

Снова сто верст по России, и на станции Клинцы, куда мы прибыли, я впервые увидел трехэтажное здание. Таких в Пинске не было, и я был под большим его впечатлением.

А в Пинске снова посадили меня за науку — с тем же Маневичем. То ли он был нетерпелив, то ли я непонятлив, — но помню ясно, как он выбежал на заросший травой двор, хватаясь с отчаянием за голову, — а мать его успокаивала: «Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Юлинька всё поймет, только еще раз объясните!» И он объяснял, я в конце концов, понимал, — но Маневич не долго меня учил. Он уехал в Америку, в ту страну, куда шла в ту пору великая волна эмиграции, и о которой рассказывала по вечерам мать, сравнивая свои впечатления с тем, что писал Маневич, описывая свой приезд в длинных взволнованных письмах на идиш. Письма переходили из рук в руки, обсуждались в кругу гостей и знакомых, и мать, вспоминая свое

недавнее пребывание за океаном, их дополняла и комментировала.

Весной 1907 года, в отсутствие отца, мы отпраздновали первый памятный мне пасхальный «сейдер». Вел его «дедушка» Мойше Колодный, наш сосед в домике на Плевской улице, где мы жили с бабушкой. Он приходился Маневичу не то дедом, не то дядей, и скоро тоже уехал в Америку по его следам. Там след их заглох, но мне памятен величественный седобородый Мойше Колодный. Я старался как можно чаще попадаться ему на улице, потому что при каждой такой встрече он брал меня за руку, заводил в ближайшую бакалейную лавку и покупал мне шоколад за пять копеек. А оба сейдера в его маленькой столовой, под висячей лампой с матовым белым абажуром, были единственными **настоящими,** т. е. со всей религиозностью проведенными сейдерами. Дедушка Колодный был глубоко и традиционно верующим евреем, и когда он садился в белом «кителе» на свое кресло во главе пасхального стола, он действительно «царствовал», и это чувство передавалось всем присутствующим. Вино искрилось в граненых графинах, золоченые узорные бокалы стояли перед каждым, четыре заветных мацы были прикрыты салфеткой. Дедушка Колодный выглядел не менее величественно, чем Моисей Микель Анджело, но гораздо добрее. С противоположного конца стола я задал ему четыре вопроса, с которых начинается обряд сейдера, а под конец украл у него «афикомон» и спрятал его под плюшевым диваном в углу комнаты.

6. МЕРЕЧЬ

...И средь печалей возникая
Цветет родимая страна —
Леса от края и до края,
Где льется Немана волна,
И колокольный звон тяжелый
Плывет над тихим городком,
И башни старые костела
Обсели ласточки кругом —

Шоссе неровное уводит
На берег тот, где я бродил,
И мнится, там никто не бродит
С тех пор, как я ребенком был.
На те песчаные откосы,
На те заглохшие поля
Не упадут живые росы —
Живи во мне, моя земля.

Тихий городок, над которым плывет колокольный звон, — Меречь над Неманом. Стихи же были написаны над Днепром, где я кончил реальное училище в 1919 году. Они потеряны, как большинство моих поэтических упражнений тех лет, манускриптов и книг позднейшего периода, оставленных в лодзинской квартире в сентябре 1939 года и уничтоженных гитлеровцами. Эти строки — всё, что я могу вспомнить из стихотворения, посвященного детству.

Колокольный звон плыл над Меречью. Он плыл в форме диалога. Православная зеленоглавая церковь начинала первой с веселого перезвона скороговоркой. — «Пече блинце, пече блинце!» передразнивали ее меречане, а католический важный костел отвечал басом: «Дайте наммм! дайте наммм!» — Мы жили в домике на костельной площади. Дверь из прихожей налево вела в наши комнаты, а направо — в покои хозяйки, древней старушки, «пани Евы», с ее молодой, но уже дебелой и полногрудой племянницей Зосей. Мы, дети, уважали старушку, но шалили и запросто обращались с племянницей, которую фамильярно называли Зосей, — пока она не обиделась и потребовала, чтобы ее называли «панной Зосей». Направо в малых, тесно заставленных, жарко натопленых комнатках была Польша. Пахло шалфеем, смотрела со стены Матерь Божья с Младенцем, на подоконниках стояли цветы, и белый польский орел был вышит на красном фоне «килима». Дверь влево отворялась в залу, заставленную старинной мебелью — резными столиками черного дерева, такими же эбеновыми стульями и креслами затейливого вида. А на кухне была Литва: там было царство прислуги Марцыси, и время от времени появлялся со-

лидный и спокойный сторож, садовник и мастер всех поправок и починок, по имени Винцук. Польский, литовский и еврейский языки обтекали мои уши, не проникая внутрь: я говорил, читал и писал исключительно по-русски, как учили меня родители.

Мне шел седьмой год. С Меречи ведется моя душевная и духовная жизнь, — до нее лишь рассеянные брызги, доисторический период. История начинается с Меречи. История жизни всякого человека начинается по-настоящему, когда она получает форму, становится инициативной, чтоб не сказать «творческой», когда выясняется в своей индивидуальности, приобретая тем некую направленность. Отныне я живу в своем мире и все внешние впечатления воспринимаются, чтобы стать моим личным достоянием. Как бы ни был я беспомощен, не умея справиться с ними, как пловец, захлестываемый волнами, но я уже плыву, — а не только «несет меня» течением времени. Семь лет — возраст достаточный, чтобы начать испытывать жизнь, как большое приключение.

В Меречь я приехал с отцом, и мы, двое мужчин, остановились в еврейском трактире, который трудно было бы назвать гостиницей, тем более «отелем», но там сдавали проезжающим комнаты, — и там вся первая неделя, пока отец устраивал свои дела и снимал квартиру, прошла под знаком Фенимора Купера. Я наткнулся на экземпляр «Последнего из Могикан» и прочел его с упоением. «Последний из Могикан» был первым в торжественной процессии призраков моего воображения. Началось с индейцев, Ункаса, столба пыток, скальпов, мокассинов, томагавков и мустангов. Соколиный Глаз и Чингачхук, делавары и гуроны, — и в особенности трагический финал со смертью красавицы Коры и благородного Ункаса — навеки незабвенны. Прекрасна, стало быть, жизнь, несмотря на свирепые лица притаившихся врагов! Едва усвоив дивное искусство чтения, ускользнув от опеки фребеличек и детских садов, без кинематографа, которому еще не пришло время, и прочих городских соблазнов и развлечений, я, как голодный волченок, набрасывался на каждый печатный текст. Не было в глухой Меречи ни газетных киосков, ни стэндов с иллюстрированными журналами, ни книжных магазинов, ни каруселей с музыкой.

Зато я разбирал уже древне-еврейский текст «Агады» путаясь в непонятных словах, и сам отец посадил меня за немецкий первоначальный учебник. Немало трудов стоил мне нудный Оллендорф с его готическим и латинским шрифтами вперемежку. Постепенно и неуклонно я становился ученым мальчиком, рыженьким, любопытным, заглядывающим в каждую книжку... «Последний из Могикан» завладел моим воображением, но других книг не оказалось на нашем постоялом дворе. Случилась там со мной неприятность. Я как-то залез на чердак вслед за каким-то черномазым и угрюмым типом, который заинтересовал меня своим странным поведением: он таскал, ухватив щипцами, что-то ярко-светящееся по всему чердаку, размахивал им в воздухе, и ни за что не хотел дать мне посмотреть, что это такое. Я спрятался на чердаке и как только он ушел, подобрался к интересному предмету и схватил его. На отчаянный мой крик сбежались люди. Предмет укусил меня с яростью — это был кусок раскаленного докрасна железа. Обожженную ладонь отец присыпал содой, бинтовал и долго качал надо мной головой. Так состоялось мое первое знакомство с коварностью вещей. Я каждый день учился чему-нибудь новому, но не было конца испытаниям. И посейчас не видно им конца.

Маленькая Меречь лежала над большой литовской рекой. Неман обтекал ее, величественный, спокойный и плавный, весь в осенних туманах. Другой берег реки казался далеким-далеким, — туда шел паром, там где-то была Вильна и местности с нерусскими именами — Олита, Марцинканцы. Студеное дыхание реки овеяло меня, — именно осенней и затуманенной она сохраняется в моей памяти. Я бегал туда и часами смотрел на пустынную гладь, по которой изредка тянулись плоты или шел далеко, ближе к другому берегу, пароход, бороздя лопастями колес воду. Мне было и грустно и жутко.

Я был один. У меня не было товарищей-сверстников. Река подавляла меня своим спокойным, безучастным течением. Однажды я уронил в воду мяч. Откуда ни возьмись появился мужик, засучил штаны, влез в воду и стал доставать мяч длинной палкой. Я смотрел с благодарностью на его усилия, и когда

он, наконец, выудил мяч, протянул за ним руку. Но мужик спрятал мяч за пазуху и пошел своей дорогой. Я было побежал за ним, но скоро отстал.

У меня не было товарищей. Теперь, задним числом, я уясняю себе эту особенность моего детства; но тогда одиночество и предоставленность самому себе казались мне естественным состоянием. Мы с сестренкой росли на некотором расстоянии от других детей, точно отделяла нас невидимая стена. Почему? Потому ли, что мы были «докторские дети», посторонние, говорившие по-русски в этнографически чуждой среде? или недавно приезжие, еще не освоившиеся? Было ли это случайно что в знакомых семьях отца не было детей? Свидетелем моих игр, к которому я бегал на свидание, был Неман, всегда тянуло меня к разливу его вод, уходивших за горизонт, — но это был глухонемой свидетель: я учился у него молчанию и замкнутости.

Молчание прерывалось вспышками. Во мне что-то бродило. Был день, когда я попытался отнять Христа и апостолов у нашей прислуги Марцыси, доказывая ей с азартом, что все они были евреи. Я сам недавно узнал об этом и считал необходимым просветить ее. Марцыся мыла пол и вряд ли поняла что-нибудь в моей проповеди, но если моей целью было удивить ее, я достиг своей цели... она оставила ведро и тряпку и стала с открытым ртом... но в это время родители вызвали меня спешно в другую комнату и по их строгим лицам я понял, что я говорил что-то неполагающееся.

Однако, я вовсе не хотел нарушить душевный покой Марцыси. Скорее я хотел поделиться с ней своим открытием, которое нас, евреев, сближало с ними, христианами. Я часто бегал за каменную ограду костела на площади, прятался среди могильных плит и крестов. В одно утро вдруг выскочил откуда-то паренек, по виду гимназист-старшеклассник, и строго обратился ко мне по-русски:

— Вы что здесь делаете? Не знаете разве, что это костел **кафедральный?**

Я ужасно смутился, точно поймали меня на месте преступления.

— Я не знал, что кафедральный... — пролепетал я дрожащим голосом. Непонятное слово «кафедральный» сразу убедило меня, что мне здесь не место.

Зато вполне на месте и уверенно я чувствовал себя в «плебании» — резиденции ксендза-декана Кокореко.

Ксендз-декан Кокореко был другом нашей семьи. Он часто приходил к нам, высокий и дородный, в сутане, с добродушным, открытым, бритым лицом. Это лицо памятно мне благодаря фотографии с подписью, которую он подарил нам и которая нашла свое место в нашем семейном альбоме — знак действительной дружбы. Ничего удивительного: отец был единственным врачом в Меречи, и его практика медицинского целителя сближала его с духовным пастырем. Ксендз Кокореко был не обыкновенным «пробощем», приходским священником, а «деканом», что соответствует благочинному. Он жил по барски, «плебания» находилась в обширном саду-парке, простиравшемся на гектары. Я убегал туда на долгие часы, знал там каждый уголок. В глубине парка протекал стремительный ручей, росли грушевые деревья. Маленькие продолговатые желтокрасные груши назывались «сапежанки»: лучших я не ел за всю мою жизнь и нигде больше не пришлось их видеть. Секрет их аромата навсегда остался связан с воспоминанием этой польской, католической, старозаветно-церемонной и в то же время такой домашней и доступной резиденции ксендза-декана.

Здесь именно впервые полоснуло меня по сердцу странное и новое ощущение. Я был не единственный сорванец, объедавший незрелые сливы в саду плебании. Среди кухарок и служанок вертелась худенькая и проворная, как бесенок, девочка Андзя, лет двенадцати. С этой дворовой девчонкой я не обменялся ни одним словом, но раз случилось, что я стоял под грушевым деревом, на которое Андзя влезла. Под платьем на ней ничего не было, — и стоя внизу, я вдруг увидел ее всю, во всей ослепительной, неожиданной и бесстыдной наготе девичьего тела. «Ослепительной» — не будет преувеличением. Она блеснула мне в глаза — молниеносно. Одна секунда — и я отвел глаза, но на сердце стало прохладно и странно.

До 13-летнего возраста не было у меня никаких любвей

и влюблений, о которых иногда рассказывают, не без хвастовства и самоиронии, автобиографы. В 13 лет я влюбился в Асту Нильсен — на экране пинского кинематографа. Мое воображение не было отравлено, а другие могут сказать, — не было подготовлено, как в наше время, зрелищем выставляемой напоказ соблазнительной наготы на обложках журналов и в фильмах не обязательно запрещенных для детей. Вплоть до моего поступления в Пинское реальное училище я оставался совершенно нетронут, — потом лишь началось любопытство и томление плоти. Но я запомнил Андзю — и вид этого гибкого удивительного белого тела, как нечто запретное. Я спрятал это воспоминание, как мой личный секрет, как откладывают найденный редкий камешек, с которым не знают что делать.

Еще годом позже бессознательный детский эротизм выразился в волнении, охватившем меня, когда я услышал о бедной девочке-сиротке, оставшейся в нашем местечке после смерти ее родителей. И я стал мечтать, — это было начало очень упорной мечты на долгие годы, — что мы, наша семья, возьмем ее к себе, и я буду о ней заботиться и опекать ее со всей нежностью старшего брата и покровителя. Она будет беззащитна — и я буду ее спасителем и защитником, единственным. По отношению к моей сестре Аде у меня никакого такого чувства рыцарского покровительства не было. Ей было года четыре с лишним, но она явно не нуждалась в моем покровительстве и не была сиротой.

Наши соседи, Свирские, казались мне очень богатыми. Их квартира была больше и гораздо лучше обставлена, чем наша. Случилось так, что родители ушли к ним вечером в гости, а я пришел позже. Это было мое первое посещение. Вышел конфуз, ибо став на пороге залы, где за пышно накрытым столом сидело много гостей, среди свечей и цветов, я так был поражен великолепием открывшегося зрелища, что окаменел, онемел и не мог двинуться с места. Меня ободрили, обласкали и впервые в жизни угостили чем-то, что называлось «халвой». За столом сидела эффектная красавица-гостья, ее звали госпожа Рабинович, — смуглая брюнетка. Весь вечер я рассматривал ее и потихоньку обожал... а когда мы вернулись домой, отец очень

потешно передразнил мой столбняк на пороге залы Свирских. При этой оказии он назвал меня «идиотинька», — и это поносно-ласковое прозвище с тех пор приклеилось ко мне года на три. Относилось оно не к моим умственным способностям, которые были вполне нормальны, и не к успехам в науках, а к внутренней связанности, несмелости и робости, которая обозначилась в моем поведении на людях.

Плебания ксендза Кокореко стала моим убежищем. Много лет позже полотна французских импрессионистов пробудили во мне воспоминания парка, лужаек и укромных уголков во владениях ксендза-декана. Всё там было красочно, необычно и особенно живописно на фоне одноцветно-серого нашего быта. Я помню сцену под деревьями в плебании, когда вертели мороженицу в стороне, и из чудесной кадушки со льдом и крупной солью, в которой торчал блестящий металлический цилиндр, экономка подавала дамам, рассевшимся на траве и на низких табуретах, блюдца со щедрыми порциями сливочного мороженого.

Очарование шло от уютных низких комнат плебании, где никто не мешал мне уединиться в углу и потонуть в рассматривании книжек с иллюстрациями, изображавшими сцены рыцарских времен, польских королей и копьеносцев в латах на конях, битвы, знамена... латинские буквы складывались в непонятные слова, я не умел читать по-польски, но тем волшебнее было то, что они должны были значить. Я знал уже, что мир вокруг Меречи полон непредставляемых чудес, которые, конечно, ждут меня, и я чувствовал себя отважным испытателем неизвестных стран, с которым всё может случиться. Нетерпение охватывало меня.

В одно утро я проснулся с плачем: ехать! на железную дорогу! Меня едва успокоили. Это был форменный припадок, когда вдруг мучительно стало всё, что окружало меня и вместо тоски по дому — тоска из дому, потребность немедленной перемены обуяла меня. — «Поедем, просил я мать, я хочу в поезд!» Но время еще не пришло.

Я пережил в Меречи первую сознательную зиму, это чудо, когда проснувшись рано, видишь что всё за окном бело. Выпал

первый снег, и всё кругом иное. Площадь пред костелом покрыта ровной, блестящей на солнце, пеленой, такой цельной и нетронутой человеческим следом, такой безупречной, что жалко протоптать ее... И вместо поезда, отец берет меня с собой в имение, куда вызвали его к больному, прислав сани с кучером.

И вот — поздний вечер где-то в чужом доме, и обо мне забыли, а я прикурнул на диване в кабинете, нашел там русскую книгу и забыл обо всем на свете.

Как во сне, вспоминается долгий вечер и повесть неслыханно увлекательная, хотя и неясная, как тени в комнате, где я сидел, дожидаясь отца. Там была речь о красном фонаре, о женщинах, о погоне, — и время остановилось, но вдруг мне велели ехать домой. А я не успел дочитать и не успел понять, осталось острое чувство тоски по недочитанному, — часть души осталась в этой недочитанной книге, я пережил острое чувство разлуки. Много лет после того я искал эту книгу, там горел красный фонарь и девушку звали Эльзой, непонятное что-то творилось вокруг, и теперь я не узнал бы этой книги, если бы она мне попалась. Ушло то жуткое очарование, которое знают только читатели в 7 или 8 лет... Мир изведан и испытан. И уже не поражает трагическая судьба зайчика, о котором мы узнали в свое время:

Раз, два, три, четыре, пять —
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет —
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.

И не ждешь котика, того, что приходит в самый поздний сонный час:

Приди, котик, ночевать,
Юлика нашего качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу!

Тут мама делала паузу и соблазняла котика:

Дам тебе я молока
И кусок пирога!

Или иначе:

Дам тебе я пирога
И кувшин молока.

Не понимая, что мы с сестрой Аденькой уже большие, она стращала нас:

Гаю-гаю-гаю-гай —
Иди бука под сарай,
Сена ко́ням подавай!
Под сараем-то коза —
Оловянные глаза!
Под сараем кирпичи —
Буке некуда легчи...

Это было не страшно, а скорее забавно, ибо я понимал, что бука существует только в этой маминой песне для малых детей. А в жизни был учитель Янушкевич. Я был серьезный мальчик, и у меня был серьезный молодой учитель Янушкевич, к которому я ходил на уроки в Меречи недолгое время в его комнату, полную книг: одну из них он мне показал, это была «Жизнь животных» Брэма или нечто подобное, с картинками. К сожалению, Янушкевич скоро исчез из местечка, уроки прервались, и тут случилось событие, которое имело для меня далеко идущие последствия.

Ксендз-декан Кокореко съездил в Вильну и привез оттуда подарок, делавший честь его уму и вкусу, а также пониманию стадии развития, в какой я находился: он привез мне большой географический атлас картографического заведения Ильина, ценой в рубль пятьдесят, альбомного формата, в коричневой шероховатой с пупырышками обложке. Открыв этот альбом, я открыл целый мир.

С того времени начинается первое в моей жизни и по сей день неизжитое географическое наваждение. В Меречи был мне

подарен целый мир. Начиналось с карты звездного неба, карты лунной поверхности и двух полушарий... Рядом помещались на одном листе: справа Великобритания, слева Бельгия с Голландией. Африка и обе Америки пленили меня своими очертаниями, там каждая страна была другого цвета. Как бесконечно разнообразен, сложен и пестр был земной шар! Какая музыка названий городов, морей и рек! А самой большой картой, которая раскладывалась вчетверо, была карта Центральной Европы, охватывавшая Германию и Австро-Венгрию, часть Франции, Данию наверху и северную Италию внизу. Я изучил эту карту до мельчайших подробностей, спускался по Дунаю в Черное море, Ломбардия и Ютландия были под рукой, и я дал себе обещание побывать в Милане и Кельне. Это обещание я выполнил лет двадцать спустя, — только Бенарес еще ждет моего паломничества. Я не мог решить, в каком городе буду жить, когда вырасту. Выбор был слишком велик, и казалось просто нелепо и несоизмеримо с моим предназначением — ограничить себя одним определенным городом и одной страной, хотя бы и прекраснейшей в мире. Географический атлас Ильина дал мне возможность сразу чувствовать себя везде; я парил над планетой, оглядывая мои владения.

С тех пор и повелась моя слабость к географическим картам и планам городов, неизменно повергающим меня в транс, как если бы это были персидские ковры, картины великих художников или ключи рая. План Нью-Йорка, Лондона или Парижа, раскрытый во всю ширину с тысячами улиц, вызывает во мне легкое головокружение, как если бы я с высоты самолета озирал панораму этих гигантских городов, возникающую в воздушной пропасти. В начале века говорили «с птичьего полета». Теперь ясно: географический атлас Ильина был для меня оживлением абстракции — первым посвящением в науку или искусство умозрения, упражнением мысли, направленной на действительность и пытающейся обнять ее, как целое, — и в Меречи я уже впитал то, что потом назвал «потайным ядом мечты». На первой странице атласа я написал дату, когда получил его: 7 июля 1907 года. Потом каждый год 7 июля я ставил новую дату: 7 июля 1908, 7 июля 1909, 1910 — и так в течение шести

или семи лет, пока атлас окончательно не растрепался, не выпал из поля зрения и не разделил судьбу прочих реликвий моего беспокойного детства.

7. СОКОЛЫ

Наш дом стоит на выезде из местечка, где расходятся два шоссе. Мы в пограничной полосе с Восточной Пруссией. Близостью границы объясняется прекрасное состояние шоссейных дорог, на скрещении которых лежит наше местечко. Солнечное утро. Мне лет восемь. Я заряжен бодростью, энергия просто распирает меня. Пулей выскакиваю из остекленных сеней, где за столом посадил меня отец за неправильные немецкие глаголы: бакен — бук — гебакен. Бакен! Бук! Гебакен! — я мчусь по шоссе из местечка. Последние домишки остались позади. Из дверей с изумлением глядят дети и кричат мне вслед: шалёный, шалёный! — сумасшедший! И вихрем несясь мимо, я удивляюсь: почему они зовут меня «соленый»? О нет, я не соленый, я ничуть не соленый! Я бегу в упоении, прижав локти к груди, всем телом ощущая радость жизни, гибкость, ловкость, — вот, кажется, оттолкнусь от земли и взлечу выше дерева, — всё вперед, вперед, пока не займется дух, и задохнувшись на бегу, я блаженно сваливаюсь под откос, в траву, где полно лютиков, кашки и еще каких-то лиловых цветов.

А за откосом — луг, полный незабудок, я собираю их целыми охапками, и уже знаю, когда часовой бывает цветком. В стороне от дороги — хатка, там живет старая крестьянка пани Ханка, у ней корова, и когда мы с мамой к ней заходим, нас поят парным молоком, которого я не люблю потому, что оно пахнет коровой и навозом. Кроме того, я не ем помидоров — они напоминают сырое мясо — не выношу цветной капусты, яичного желтка. Зато нет лучше, как забраться в поле гороха и с треском открывать мягкие зеленые стручки, с бледно-зелеными горошинками, да и самые стручки тоже съедобны, если умеючи отделить их от внутренней пленки. Это поле гороха при самой дороге казалось мне Божьим даром, как цветы на лугу, — пока не налетели на меня с криком неизвестно откуда взяв-

шиеся крестьянские девки, стыдя за то, что я ворую их горох. На счастье, мама была близко, — она с видом оскорбленного достоинства вынула из портмонета рубль, мы отступили в полном порядке и больше гороха не трогали.

В Соколах продолжались изумительные открытия и новости. Например, там впервые купили мне длинные кальсоны, которые внизу завязывались полосками из того же полотна и назывались «гатками». И вместо коротких детских штанишек, которые отстегивались сзади, на пуговках, — длинные бюрки. Я также получил трехколесный велосипед и великолепную гусарскую форму с кивером и ружьем, но и то и другое быстро испортилось, износилось и было заброшено. Никаких других игрушек и любимых вещей не было у меня, но зато кругом всё было так интересно!

Вместо игрушечного — явилось настоящее войско! Меньше ста километров от нас была германская граница. Губерния наша была Ломжинская. Станция железной дороги — Крушево. В 12 километрах — узловая станция Лапы, в сорока — большой город Белосток. Летом здесь происходили большие маневры.

...Идет кавалерия в походном порядке. Полк за полком с трубачами движется по шоссе, и всё население местечка высыпает смотреть. Это зрелище захватывающей красоты: кони все на подбор, один полк весь на черных лошадях, другой на белых и чалых, офицеры впереди, — какое великолепие! И когда проходит эта стройная громада, победоносно и непобедимо, когда последние ряды уже скрылись в дали, и кажется всё кончено, — далеко на шоссе поднимаются новые клубы пыли, там идет, нарастает лавиной следующий конный полк. А над ним — о диво! — колеблется в воздухе исполинская желтая сигара и плывет над местечком: — дирижабль, Цепеллин. Первый неправдоподобный фантастический воздушный корабль увиденный в жизни, — первый самолет в жизни я увидел шестью годами позже в Киеве, — и 15 лет спустя знаменитый дирижабль Эккенера над Берлином. Но это всё предстоит еще, — а начало всех чудес здесь, — в Соколах!

На нашем дворе располагаются постоем молодцеватые кавалеристы, они дружны со мной. Одного из них зовут Монахов. Он добрый, и я охотно описал бы его рябое лицо, веселые глаза и рыжую чуприну, — но беда, что я в действительности уже не помню их, — я только воображаю, каким мог быть этот уплывший в прошлое Монахов, какая судьба ему выпала через несколько лет в Мазурских озерах.

Много ярче Монахова запечатлелся в памяти Баранов — бравый урядник, представитель власти, полицейский богатырского телосложения и едва ли не единственный русский в местечке. В Соколах всего пять или шесть улиц, это типично еврейское местечко, с примесью поляков на окраинах.

Со стороны шоссе на Крушево, за полями протканной васильками ржи открывалась панорама Сокол: белели здания, вытянутые в одну линию, блестели крыши на солнце, от края до края горизонта, и я любовался этой картиной, точно Соколы были не маленьким никому неизвестным местечком, а знаменитой столицей. Но вблизи ничего в нем живописного не было. За базарной площадью, где был магазин вин и водок с цветными флягами всех форм, включая даже стеклянный револьвер с рябиновкой или лимонной, — шла польская улица. Это было продолжение «плебании» ксендза Кокореко. Был там древний деревянный, похожий на сарай, костел, а в конце улицы — аптека пана Кулеши.

Единственный врач и единственный аптекарь местечка — неизбежные приятели. Аптека пана Кулеши незабвенна для меня, и я не сомневаюсь, — она всё еще стоит на своем месте. Низенькая дверь ведет в прохладные комнаты старого обжитого дома, за ним — большой благоустроенный сад и рядом огород, а во дворе — сарай, где стояла — никогда, впрочем, не употреблявшаяся за отсутствием лошади брыка. Брыка была нереальна, как картинка в старой книге. Всё же остальное — привлекало меня, было мне мило тем, что я сейчас назвал бы старосветской провинциальностью, имевшей свое выражение, свой стиль — то, чего не было на нашей нанятой и случайной квар-

тире. Позже, когда я стал писать стихи, я попытался закрепить память об этом доме:

Аптекарь деревенский, дородный пан Кулеша
И дом его обширный, где всё по старине,
Учтивость и пристойность, ребенку сердце теша,
Проходят через годы и снова близки мне.
Да, я вас ясно помню: уютная веранда
И заросли малины в расчищенном саду.
Быть может, там гуляла когда-то панна Ванда,
Сияя белым платьем — в каком это году?
Уютных низких комнат веселые обои,
В гостиной пианино и бархат под чехлом.
И чинные беседы, и ужин с ветчиною
При ставнях затворенных, за дедовским столом.
Затейливая лампа (варшавская покупка)
Светила нам в те годы спокойной чистоты.
И хочется воскликнуть: как наше счастье хрупко —
Уж и тогда я ведал мой тайный яд мечты.

Мне эти строки говорят больше, чем читателю, их надо пояснить. Дородный пан Кулеша был высоким седоусым шляхтичем, с очень добрым и мягким лицом. Жена его, Анна, энергичная, маленького роста брюнетка, отличная хозяйка и набожная католичка, твердой рукой держала бразды правления в доме. Она во всем верховодила, и когда навестил Соколы епископ, во главе дамского комитета организовала торжественную встречу у костела. Толпы верных стеклись тогда из окружных деревень, триумфальная арка при въезде в местечко была увита цветами и зеленью. С нами, старозаконными, пани Анна была очень мила и внимательна, мы всей семьей часто ужинали и проводили вечера в ее доме. Колбасы и «вендлины» домашнего производства нигде так не пахли, как за ее столом, и затейливая лампа с граненым, как графин, резервуаром и расписным в форме лилии абажуром на столике у пианино — не выдумана ради рифмы, как панна Ванда. Что касается этой последней, то если она и гуляла в саду, эта прозрачная и сколь-

зящая белой тенью панна Ванда, я ее тогда не заметил, это могло быть только позже.

Зато настоящее смятение я испытал, когда в послеобеденной тиши сада, явившись в неурочный час под окно комнаты моего младшего товарища — Вацьюша, маленького Вацлава — я услышал его отчаянные вопли: «Мамусю, не бэндэ венцэй!» — и я понял, что его секут. Конечно, не добродушный аптекарь, а его с черными усиками жена, пиковая дама, расправлялась с бедным Вацьюшей. Это был вялый, смирный мальчик, лет шести, слишком малый, чтобы быть товарищем моих игр. И дважды я устыдился: когда подслушал под окном позорный секрет этого материнского наказания (меня никто не наказывал) — и в другой раз, в день именин Вацьюша, когда ему подарили мои родители мой поломанный трехколесный велосипед. — «Вы почините его, и он будет совсем хороший», объясняла моя мать, и я сгорел со стыда: мне показалось, что я вижу ироническую искорку в глазах всегда отменно-вежливой пани Анны. Как можно дарить поломанную и самому ненужную старую вещь? Помню, как драматически пережил я неприличие этого поступка.

В этом доме я прижился до того, что мог приходить и уходить, как у себя дома. И однажды я сделал открытие: в чулане за аптекой, где пахло лекарственно и сладко валерьянкой и лавровишневыми каплями, в старом ящике я нашел запретный клад: груду пятикопеечных выпусков приключений Ната Пинкертона и Ника Картера — на русском языке. Откуда они взялись? На каникулы приезжал погостить к дяде и тете из Белостока гимназист 2 класса Женя — это было, очевидно, его наследство. Женя очень мне импонировал мундирчиком с светлыми пуговицами. Он обращался со мной покровительственно, и, между прочим, учинил мне пакость: научил меня произносить по-польски на прощанье вместо «довидзенья» — нечто неприличное.

Нат Пинкертон и Ник Картер были мне запрещены. Тайком от отца я бегал в сад аптекаря Кулеши, — калитка в конце сада вела на луг и оттуда окольной дорогой в противоположный конец местечка, — я забирался на веранду, выходившую

в сад, — и там, никем не тревожимый, забывал время и всё на свете, погружаясь в мир детективных приключений, где всё было так непохоже на мирную жизнь в Соколах. Нет сомнения, что это и был тот **настоящий** мир, который еще предстоял мне. Эти брошюрки, на ярких обложках которых изображались то подземелья, то небоскребы, то невиданные красавицы в неволе бандитов, то сыщики с квадратными подбородками и холодными как лед глазами, были окном в тот мир, куда мне еще не разрешалось заглядывать. Но я уже нашел другие окна и другую дорогу к познанию мира.

Прямая дорога вела в почтовое отделение местечка Соколы, а там из окошка ежедневно в послеобеденные часы выдавали мне газету. Мы были абонированы на петербургские «Биржевые Ведомости», газету не блиставшую идейностью, но занимательную, где упор был на хронику. Меня посылали за газетой, вернее, я сам за ней бежал, раз в неделю было иллюстрированное приложение, а раз в месяц — литературное, в голубоватой обложке, формата и объема теперешних советских журналов. Я не мог дождаться, сгорал от нетерпения перед заветным окошком, и по дороге домой успевал проглотить заголовки и прочесть самое заманчивое. Тут было не до рассуждений — одни **события** привлекали и распаляли воображение. В тот день, когда приходило иллюстрированное приложение, я с утра уже готовился и, получив в руки пухлую газету, первым делом отворачивал верхний лист, чтобы удостовериться, есть ли внутри мое сокровище.

Трудно представить себе теперь, как бы подействовало, как бы ошеломило меня какое-нибудь действительно художественное издание, или хотя бы «Нива», «Природа и Люди», «Вокруг Света», — как назывались довоенные предтечи современных еженедельников, горящих ярче всех цветов радуги. Мое недельное приложение, на тонкой скверной бумаге, с кой-какими о чем попало фотографиями, заряжало меня на целую неделю. Например, на первой странице изображался смотр английскому флоту на рейде Портсмута: мощные тела броненосцев, орудийные башни, вымпела — слово «дредноут»

вошло в мой обиход, и я принялся рисовать дредноуты, один грознее другого. Целую неделю я был занят поединком мировых чемпионов бокса — негра Джефферсона и белого Джонсона в Америке; кто из них победил, не помню. На последней странице одного приложения была картинка с кроватью довольно обыкновенного вида. Внизу было подписано: «**направо** — кровать Наполеона на острове Св. Елены». Кровать оказала мне услугу: потом, когда приходилось быстро ориентироваться, где правая сторона, я припоминал эту страницу: направо — это где кровать Наполеона.

Тогда же познал я и ужас жизни — то, без чего не обходится детская душа, необходимый и существенный элемент ее развития навстречу взрослому бытию. Я не боялся ни привидений, ни темной комнаты, ни даже злых людей. Злые собаки, конечно, были опасны, но не более, чем густая крапива под забором, в которую не надо было лазить. Настоящий, пробирающий дрожью страх внушило мне землетрясение в Мессине. На первой странице иллюстрированного приложения изображена была гигантская волна, встающая из моря, идущая приступом на побережье, — и на набережной, на фоне рушащихся домов, — объятая паникой толпа, спасающихся полураздетых мужчин, женщин, матерей с детьми, которых волна должна была настичь, накрыть... это не была фотография, а явно — плод воображения рисовальщика, но она потрясла меня. И много лет спустя, выйдя в Мессине на берег, я еще искал глазами ту набережную и линию домов. Еще страшнее был «пожар кинематографа в Бологом». На этот раз это была фотография — тоже на первой странице — сгоревших людей. Там сгорели десятки людей, и вид этих бесформенных останков нагнал на меня ночной страх. Это был действительный шок — я боялся заснуть один в моей комнате, чтобы пожар не захватил меня врасплох, я соображал — в какое окно бежать, если огонь отрежет выход в дверь. Загадка смерти встала предо мной. Бандит Савицкий и его сообщники были изображены застреленными — но так, будто они были живыми. Я всматривался в их черты, как завороженный. А как погибают люди на виселице? Я за-

держивал дыхание и считал до десяти... до пятнадцати... я замирал при мысли о муках повешенных, о которых писали газеты или мельком говорили взрослые.

Отец относился неодобрительно к моему «преждевременному» чтению. Но я читал без разбора всё, что попадалось, заглядывал в учебник акушерства, лежавший в его кабинете, и не раз выдавал себя неосторожным вопросом. — «Папа, что такое мотоциклет?» — «А, ты опять читал тот журнал?» — Один рассказик в еженедельнике назывался интересно: «Ты бывала в Порто-Рико, танцовала контреданс...» А другой был о потонувшем городе Ис, где колокола звонят под водой. Круг чтения расширялся. От доски до доски я прочитывал ежемесячник, прилагавшийся к «Биржевым Ведомостям». Невообразимая, но страшно занимательная каша образовалась в голове от повести Зудермана «Лили», и «Арахнеи» Ганс-Гейнц Эверса и еще какой-то в конец уж непонятной балканской повести. Я прочел «Белую рабыню» какого-то скандинавского автора, но так и не понял, где и почему она умерла, и что именно с ней сделали злые люди. Ее обманули, она им доверилась, а когда принимала ванну, кто-то рассматривал ее через дырочку в стене, а потом кто-то вошел к ней, когда она была в постели, и она стала царапаться и выгнала его. Тогда вошел к ней страшный человек и забрал ее в погреб, сорвал с нее одеяло и стал хлестать ее бичом, она кричала «мама!», и больше уже не царапалась... Всё остальное было как-то неясно, но я дрожал от негодования и представлял себе, как я бы спас ее и как бы она была мне благодарна... ее звали Альма.

Толстый яркий ковер, красный и желтый, лежал под столом в нашей столовой, на нем был изображен украинский дед-лирник и пригорюнившиеся молодицы. Когда солнце светило на ковер, я ложился под стол, расставлял по ковру вырезных картонных тигров, слонов и читал дивную книгу «Фрегат Паллада» Гончарова. С ней я объехал полсвета, побывал и в Японии, и на островах Лиу-Киу и в Южной Африке. Со страниц ее шло сладкое очарование, то самое, о котором писал позже Гумилев:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран, —
И мир опять предстанет странным,
Окутанным в цветной туман.

И еще страннее — были стихи, которые цитировались в рецензиях ежемесячника «Биржевых Ведомостей»: была в них нездешняя сладость и музыка. Какой-то Сологуб:

Елизавета, Елизавета,
Приди ко мне!
Я умираю, Елизавета,
Я весь в огне! —

и почему-то: — «Звезда Маир сияет надо мною!», и первые строки Блока:

«Я сегодня не помню, что было вчера,
По утрам забываю свои вечера...»

Таких стихов не было в хрестоматии Мартыновского. Они озадачивали и трогали сердце совсем иначе, чем похождения Ната Пинкертона. И вот я впервые начал сам складывать слова в рифмованные строки. Не очень складно получалось, но трудности стихотворства меня не отпугивали.

«Не знаю лучше что лесов!» —

начиналось мое первое стихотворение, написанное в Соколах. Я чувствовал, что это нехорошо, но переставить вместо «лучше что» — «что лучше» нельзя. Как я бился над этой несчастной строкой, и только через год меня осенило, что можно сказать: — Что может лучше быть лесов!

Моего вдохновения хватало на три строки, но начитавшись сказок Толстого в народных изданиях «Посредника», я мог в три строки вложить целую философскую проблему:

Для чего мы живем?
Мы живем для добра!
Но ведь мы же умрем!

Нехватало ни четвертой строки, ни разрешения этой мудреной проблемы.

И вот заходит солнце над дорогой, где мы гуляем всей семьей за местечком — сбоку какие-то рытвины, глубокий овраг светит красной глиной, — мать со старшими и маленькой сестрой впереди, а я отстал и упорно долблю в уме эти строки, на мотив «Ах, зачем эта ночь». —

Для чего мы живем, —

а четвертая строка могла бы быть «как настанет пора», но я чувствую, что это никуда не годится, жалкий выход, увертка. И вообще, хотя мы, конечно, живем для добра, и это само собой разумеется, но это скучно и совершенно неинтересно, а до смерти еще очень далеко. А пока на свете масса, масса интересного, и завтра наверное не будет похоже на сегодня, только бы не было пожара ночью и землетрясения, и чтоб отец не кричал на мать...

В конце двора было отхожее место; там, закрывшись деревянной дверцой на крючок, я просиживал на круглой дыре, вероятно, слишком долго, погруженный в чтение старых листов из литературных приложений к «Биржевым Ведомостям». Но, очевидно, я слишком долго сидел, потому что иначе трудно понять замечание нашей хозяйки Пелты. В доме было две квартиры, и во второй жила наша домохозяйка Пелта — вдова, маленькая, всегда захлопоченная женщина с двумя дочерьми, серьезной Ханой и хромой Рейзалкой. Им было по 15-17 лет, и я охотно бы с ними подружился, но они не знали русского языка, а я не говорил на идиш.

Красивая Хана не обращала на меня внимания, а хромая Рейзалка смотрела на меня насмешливо, — и только один товарищ был у меня — моя сестра Адя, кругленькая и живая, с кудрявой головой. С ней мы занимались разными играми. Например, пускали мыльные пузыри во дворе, и если пузырь удавался на славу, принимал исполинские размеры и, отрываясь от соломинки, парил несколько секунд на солнце, отливая золотом и синью, — она кричала в восторге: «Золото-свияжа!» Непонятное слово «свияжа» так и осталось для обозначения

мыльного пузыря первого сорта. Мы бегали с ней в садик за двором, где росло старое грушевое дерево, и влезали на самый верх. Крупные груши так и не дозревали, но скоро мы открыли секрет, что можно их печь, и тогда они становятся, если и не совсем съедобны, то всё-таки очень вкусны. Мы также за столом в стеклянных сенях производили кулинарные эксперименты: сыпали сахар в чай и поражались тому, как он становится невидим. Пять ложечек — семь — десять — сахар всё невидим, и чай приходилось выливать, чтобы мама не заметила.

Но самой занимательной игрой была «железная дорога». Мы спускались в пустой, прохладный погреб на дворе, по ступенькам в полумрак, где пахло сыростью и стояли старые поломанные стулья. Стулья мы ставили в ряд — это был поезд. Адя была пассажиром, а я изображал локомотив и кондуктора. В руках у меня было расписание поездов министерства путей сообщения — толстая растрепанная книга. Я выбирал железнодорожную линию, откуда и куда ехать, с перечнем всех станций в пути. Мы пускались в дорогу. Я пыхтел, шипел, вращал локтями, как поршнями колес, а подъезжая к станции, громко выкрикивал название. Когда же прибывали на большую станцию, мы оба с сестренкой срывались со стульев и подымали адский шум. Мы бегали по погребу, изображая толпу на платформе, метались во все стороны, орали, топали ногами и доходили до полного изнеможения, пока я не давал «первый звонок» — сигнал садиться в вагоны.

И вот — мы едем ранним утром на станцию железной дороги, на этот раз всерьез — снова в Пинск, оживленные и готовые к настоящему путешествию. Медленно катится бричка, и обернувшись ко мне, Аденька звонко кричит: «В соседней деревне петух закукурекал!» Эта фраза кажется мне удивительно смешной: и своим литературным складом, и словом «закукурекал». Я хохочу. Какая она миленькая, моя сестренка! Эту одну фразу я буду помнить всю жизнь — из всего нашего пребывания в Соколах. Теперь она бабушка, у нее пятеро внуков, она живет в Мексике и говорит по-испански лучше, чем по-русски, а я всё помню этот возглас в бричке, катящейся по шоссе в сторону Крушева: «В соседней деревне петух заку-

курекал!» И как славно горит заря на краю неба и как студено, бодро и весело нам, детям!

В это время, под влиянием «Биржевых Ведомостей» и домашних разговоров я уже отчетливо знал, что мы евреи. Это очень хорошо, но у нас есть враги, злые люди, особенно два: доктор Дубровин и Крушеван. Крушеван был виновник погрома в Кишиневе. Поэтому, когда я подобрал на улице маленького черного щенка с крутым лобиком, отец решил назвать его «Крушеваном», а чтоб не дразнить друзей Крушевана щенка стали звать «Круш». И это была моя первая горячая и нежная любовь к живому маленькому беззащитному существу — и первая моя горькая утрата. Всего на одну неделю я отлучился с матерью в Белосток, — и вернувшись уже не нашел моего друга. Где «Круш»? Он исчез. И через день-два призналась мне наша прислуга, красноносая Косьцюся, чтоб положить конец поискам, что она продала его на базаре. Я помертвел и облился горькими слезами. Какая безграничная низость, жестокость! Но уже нельзя было вернуть «Круша» — и никогда, во всю жизнь, не было у меня другой собаки, которую бы я так любил, — никто не мог мне заменить «Круша».

В Белостоке мы гостили с матерью у каких-то дальних родственников. Они очень заботливо и радушно ухаживали за мной. У них была кухмистерская — к обеду накрывали несколько столов, собирались чужие люди, и меня закармливали наперебой. Белосток был первым большим городом, какой я видел в жизни — с трехэтажными домами, большими площадями, дворами — колодцами, вымощенными плитами. Тут на улице и было обнаружено, что я близорук. Это открытие было сделано случайно, когда оказалось, что я не могу прочесть вывески по другой стороне улицы. Немедленно свели меня к знаменитому уже тогда окулисту, д-ру Пинесу. Мне прописали очки для чтения, но только с 14 лет я стал носить очки постоянно. Сперва меня очень стесняло присутствие хрупкой и ломкой вещи на моем носу. Потом я свыкся и сжился со стеклами и оглобельками, они стали моей органической принадлежностью и оказали свое умеряющее влияние на мои манеры: в очках ни на голову не станешь, ни в драку так легко не полезешь.

Под конец пребывания в Белостоке мать сводила меня в биоскоп, как называли тогда кинематограф. Мы прошли фойе с портьерами красного бархата, за ним было маленькое зальце, и мы сели в задних рядах. Вдруг подошел ко мне человек и взял за руку. Мать осталась на месте, а меня провели и усадили в первом ряду. Я был польщен, но обижен за мать. Свет потух и на мигающем экране появился каток, ледяная площадка. На площадку выскочил Глупышкин, тут же столкнулся с другим конькобежцем, и началась веселая катавасия. Люди кружились на экране, налетали друг на друга, на них падали третьи, и все в зале хохотали. Потом была историческая драма из эпохи Отечественной войны, и я не очень понимал, что к чему, но сцена сражения на лесной поляне под летящим снегом между французами и русскими мне очень понравилась. Вернувшись в Соколы, я даже написал сочинение с описанием всего виденного.

Мне шел десятый год. Я перерешил все задачи в задачнике Евтушевского и знал наизусть множество стихотворений из хрестоматии Мартыновского. Там под названием каждого стихотворения указывалось деление на стопы, в чем я вовсе не нуждался. Особенно пленила меня жалостная мелодия: «Вырыта заступом яма глубокая» Никитина. Я знал тексты Жуковского «Каннитферштан» и Григоровича про «Антона-Горемыку», и «Мальчик у Христа на елке». Я был очень ученый мальчик.

Но не Мартыновский и не «Биржевые Ведомости» с приложениями положили начало моему литературному образованию.

Всё было случайно, всё могло бы быть иначе. Как бы сложилась моя жизнь, если бы я вырос среди мудрых людей и стен с полками книг под самый потолок?.. В Соколах книгой-другом, книгой, которую я знал почти наизусть до того, что она стала окрестностью моей жизни, как леса и луга вокруг местечка, — были сказки Андерсена в издании «Золотой Библиотеки». Это был подарок отца к моему шестому или седьмому дню рождения, когда я еще с трудом разбирался в них. Постепенно я вчитался в сказки Андерсена. «Соловей», «Гадкий утенок», «Девочка со спичками», «Мать», «Русалка», «Мальчик у

римского фонтана» — все стали моими друзьями. Я дошел до того, что в каждой сказке посчитал число слов и написал это число под последней строкой, как таинственный знак.

Но не Андерсен учил меня русскому языку! На мое счастье — и я до сих пор считаю это удачей — в доме, где не было книг, не покупали ни классиков, ни новинок, где в секретном ящике письменного стола я нашел аляповатую брошюрку со странными куплетами:

Откинула я этот глупый закон
И много лет уж не ношу панталон —

нашлись два разрозненных тома Гоголя с «Ревизором», с «Театральным разъездом после представления новой комедии», с «Женитьбой» и «Игроками», с «Портретом», «Римом», «Носом»... Я не просто прочел их... я сроднился с каждым словом и строкой, впитал в себя стихию этой речи до того, что она вошла в мою плоть и кровь. Тем, что русский язык стал моим родным языком, я обязан больше всех других — Николаю Васильевичу Гоголю. В те ранние годы я мог бы так же легко быть околдован Библией, Бяликом, Мицкевичем... Но их не было вокруг меня. Были Андерсен и Гоголь — оба столь бесконечно далекие всему, что меня окружало. И в образах Гоголя Россия открылась мне в польско-еврейском местечке — как открывается сцена, когда подымается театральный занавес и забываешь о себе и всамделишном мире. Для меня Сквозник-Дмухановский был не менее фантастической фигурой, чем китайский богдыхан и албанка Аннунциата: — «Попробуй взглянуть на молнию, когда раскроивши черные, как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у албанки Аннунциаты».

А где же был во всем этом еврейский мир? Польша была в саду и доме пана Кулеши, Россия в томах Гоголя, — а где была еврейскость? Она со всех сторон окружала меня, это был фон моего существования, — его «второй план» или аккомпанимент. Вот идет поезд ранним солнечным утром со станции Лапы в Крушево, — и в купэ маленькая девочка щебечет на иврите — на «древне-еврейском», как его тогда называли. Диво-дивное!

Она приехала из Палестины — там говорят на этом языке. И пассажиры-евреи смотрят на нее с нежностью и прислушиваются к этому говору, как к небесной музыке. И вот я сопровождаю отца в обход больных местечка — одного звали Петрушка — и останавливаюсь на пороге бедного жилья. Запах еврейской бедноты — спертый затхлый воздух сдавливает мне горло до того, что я не могу переступить порог. И вот сидит отец за завтраком в стеклянных сенях нашей квартиры, а пред ним старуха-еврейка с остолбенелым взглядом, в ее глазах ужас, и немудрено: отец при ее появлении поспешно спрятал блюдо с круглым куском ветчины со стола к себе на колени — во время разговора ветчина скатилась с блюда под стол и выкатилась прямо на старуху, как привидение. Мне смешно. А вот пасхальный вечер. Мы рано кончили свой сейдер и вышли с отцом на улицу погулять и послушать. И есть что слушать! Из-за закрытых ставень деревянных домиков несется радостный гул. Вся улица поет, всюду, за каждым окном идет сейдер, и мы идем от окна к окну, и слушаем: вот здесь только начали, а тут разгар пасхальной трапезы и слышно, как звенят тарелки и ложки, а в третьем месте уже кончают оглушительным хором «Хад-Гадья» — песней о козочке, которая означает еврейский народ: «Отнимет Бог у смерти меч!» И мне хорошо и мирно с отцом — ведь это всё свое, близкое, хотя и праздничное только — не для будней. Три раза в году — на Пасху, на Новый Год и в Судный день — мы отправляемся с отцом в синагогу. Синагога в Соколах похожа на пинскую «Мохэс-Шулхен»: деревянная, полутемная, в свечах, с толпой молящихся в белых талесах, накинутых на плечи, с массой детей, как и я — они толпятся у входа, входят и выходят — и я чувствую всем сердцем, что я здесь принят, здесь мое место — все ласковы ко мне, старик рядом листает молитвенник, показывает пальцем «вот здесь». И я путаюсь в непонятных словах, но стараюсь читать так же быстро, как другие, перепрыгиваю через строки, чтобы не отстать — и постепенно молитва превращается в бег — поспеть за взрослыми! Они читают непостижимо быстро, всё знают на память, и раскачиваются со скорбными и торжественными лицами. А перед аналоем «хазан», предстатель общины, гре-

мит, то разливаясь сладостно, то плача и стеня, — и я чувствую себя, как кораблик в родном порту, в промежутке между одним и другим плаванием, которое унесет меня далеко-далеко.

8. СТРАНА НИКЕЛОНИЯ

В одно ноябрьское утро 1910 года горько расплакалась моя мать, Ольга Авдеевна, за утренним завтраком. Самовар, как обычно, стоял на столе, накрытом клеенкой, под краном белая фаянсовая полоскательница. Мы, дети, пораженно смотрели на слезы матери: умер Лев Николаевич Толстой, он даже не был наш родственник. Слезы матери дали нам представление, как велик был покойный Толстой. Мы поняли, что случилось большое несчастье.

Теперь, полвека спустя, я вижу в этих так поразивших меня слезах матери трогательное, простодушное свидетельство ее сердечной невинности и доверчивости ко всему хорошему, что было в ее жизни. И я горд тем, что моя мать плакала при известии о кончине Толстого. Многие плакали с ней вместе. Мы знаем теперь, что смерть Толстого — как смерть Чехова шестью годами раньше — была концом целой эпохи. Кончался 19-ый век, уходили его лучшие выразители. Кончалось традиционное человеколюбие и прямолинейность в понимании того, что составляет моральную базу истории. Кровавая заря нового века вставала над Россией, над Европой. Но мы, дети, так же мало догадывались о том, что нас ждет, как и наши родители.

В этом первом десятилетии нового века, грознейшего из всех, какие знала до того история, — что в моем детском самоощущении было характерно, что в нем было от прошлого, от заканчивающейся эпохи? Керосиновые коптящие лампы? Граммофоны с огромными рупорами и ореховыми ящиками с колонками по углам? Извозчики, громыхающие по булыжным мостовым? Вальс «На Сопках Маньчжурии»? Или культ Льва Толстого, о котором я десяти лет отроду знал сказочку «Много ли человеку земли нужно?» — сказочку забавную, но совершенно уже и тогда для меня неубедительную?

Я думаю, самым характерным было то, что я вырос в слож-

ной русско-польско-еврейской атмосфере, не замечая этой сложности, как если бы это было нечто простое и само собой понятное. В повествовании отдельные стороны выступают в их раздельности. В том девятнадцатом веке, вернее в том его финале, который я еще застал, все они сосуществовали и складывались в одну цельность. В раннем моем сознании не было противоречий. В 20-м веке разошлись пути, выступили контрасты вплоть до враждебности. Но я еще помню ту детскую легкость, с какой я переходил от русских элементов к еврейским, и от еврейских к польским. Всё было смешано в том детском мире, еще не разошлись миры, не определились границы, и казалось, что это и есть та действительность, единственно данная, которая не может быть иной.

Но тут и началось некоторое мое самоуправство. Не «бунт» и не «возмущение» — никаких острых углов или «неприятия» ведь не бывает, и быть не может, в нормальном детском развитии. Я развивался нормально, даже несколько быстрее нормального. Тут, однако, произошло первое отклонение — первое индивидуальное фантастическое предприятие моей жизни.

Началось с игры. Беспокойное, недостаточно занятое воображение ищет себе пищи, переходит в изобретательство. Я изобрел себе страну. Действительности мне было мало.

Страна Никелония возникла в результате:

— внешних условий жизни в глухом, заброшенном, бедном местечке,

— предоставленности самому себе, отсутствия внимательного и компетентного руководства моими поисками и экспериментами,

— и врожденной моей склонности к мечтательству, склонности, предопределившей всё мое будущее развитие: максимальное использование внутренних рессурсов, как возмещение всего, в чем отказывала жизнь.

Всё началось с того географического атласа Ильина, который подарил мне 7 июля 1907 года ксендз-декан Кокореко.

Я изучил его вдоль и поперек, — кроме карты звездного неба с Альдебараном, Вегой и Сириусом, — эти звучные имена

я запомнил, но звезд этих не было видно в ночном небе над местечком. Роковой пробел воспитания! Учите, учите детей различать звезды на небе! — это важно для их будущего.

Изучив очертания всех континентов, границы всех стран, в особенности большие города и реки с такими чудесными названиями — Миссисипи, Бангвеоло! — заучив их на память, я принялся рисовать панорамы городов. Это стало моим любимым занятием. Большие города складываются на бумаге из бесчисленных четырехугольников с черточками окон, башенных зданий, крыш, церковных шпилей, дворцов на берегу залива, где на рейде стоят многотрубные пароходы.

Растет под пером большой город — столица великого царства. Каков он неизвестно, пока труд не закончен. За день не кончишь, это сложная композиция. Высунув язык, я строю мой город, забыв о вчерашнем, — каждый новый город больше и прекраснее предыдущего.

Дрожь восторга, с какой я созерцал мое произведение, была та самая дрожь, которая впоследствии повторилась и повторяется в моей взрослой жизни, всякий раз при виде Парижа с высоты Эйфелевой башни, Нью-Йорка с высоты Эмпайр Стэйт билдинг, Рима с Яникульского холма. Может быть, и город поменьше — например, Иерусалим с высоты Раввината, видимый на север и юг, запад и восток. Или Афины с высоты Акрополя. Это зрелище, в котором история и природа, земля и небо — всё дано сразу. И всё это идет с того времени — в Соколах Ломжинской губернии.

Город, однако, как бы велик ни был — на карте изображается маленьким кружком. Моя фантазия в состоянии вместить в этот кружок всё великолепие, на какое способно мое перо. Содержание атласа Ильина изучено и познано. Зачем же повторять то, что уже сделано и закреплено другими? Я заведу себе собственную страну.

В сущности — таков испытанный путь поэтического вдохновения во все века. Несколькими годами позже я прочел у Гумилева:

Я спал — и смыла пена белая
Меня с родного корабля,
И в черных водах, помертвелая,
Открылась мне моя земля.

Моя земля открылась мне иначе. На большом листе бумаги я изобразил нечто среднее между Африкой и Индийским субконтинентом.

Никелония была невелика. В ней было миллионов 15-18 населения. Находилась она — нигде. Я не назначил ей места в географическом атласе. Это был мой собственный эпос, моя страна, — вольный плод моего творчества.

Она не сразу оформилась. Не так-то просто создать целую страну. В начале был город. Город назывался Николей. Он нарочно был назван так странно и некрасиво, так как я знал, что в жизни города называются странно и по большей части некрасиво. Привыкнув к их названиям, мы уже не замечаем их странности, но действительное всегда странно: Чикаго-Жмеринка-Мандалай. Поэтому столица моей страны называлась Николей (2 миллиона населения), а на севере находилась Генцуя (название, от которого меня коробило, но что делать?) — портовый город, населения миллион. Третий город назывался еще безобразнее — Жлиндо (600 тыс.) и был центром промышленности, весь в дыму фабричных труб.

Потом, всё же, я не выдержал и в следующих картографических версиях моего острова заменил названия более благозвучными. Николей был переименован в **Никелон,** и вся страна названа Никелонией. Жлиндо превратилось в «Эллинд». Страна приобретала твердые очертания и самостоятельное бытие. Ее природа была разнообразна. К югу от Эллинда вдоль моря тянулись горы. В кольце гор лежал город Карабас (областной центр, 120.000 населения).

Я распределил: степи, плодородные равнины, пустынный район, где лишь год спустя завел кой-какую жизнь; открыл местонахождения руд. Я творил как сам Господь Бог. Едва пообедав, я бежал к моему листу с островом и наносил на него большое озеро. Надо было найти для него место и обдумать

форму, величину, потом закрасить его голубым карандашом. Подумав, я прибавлял сбоку реку — небольшую, какая только и могла течь в озеро. Своенравная захолустная речонка, которой вздумалось течь в озеро в глубине страны, когда кругом было море. В тростниках, камышах, зеленых берегах — я пожимал над ней плечами. Настоящую же, большую, центральную реку Никелонии я провел с юго-запада на север. Она начиналась в горах Карабаса и впадала в море у Генцуи. Вопрос ее притоков разрешался в течение недели.

Я жил в стране Никелонии в бредовом, безграничном, неисчерпаемом восторге творчества. Я парил над ней, как орел. Труд десятков поколений, превративший Европу дремучих лесов в родину передовых наций мира или Северную Америку команчей и бизонов в Соединенные Штаты, я наверстал в течение двух-трех недель. Я был Колумбом, потом строителем и правителем небывалой страны Никелонии. Законченная карта восхищала и удовлетворяла меня только короткое время. Уже через неделю — она казалась мне малой и я увеличивал масштаб. При этом вносились усовершенствования, менялось течение рек и расположение городов. Новая Никелония содержала всё, что было в предыдущей, но с дополнениями. Однако, я уже не мог по своей прихоти менять ее контуры, основные данные ее географии — она росла, как я сам рос, оставаясь собой. Никелония жила своей жизнью.

Теперь наступило самое главное: я разделил ее на области, числом 8 или 10. Карта стала многоцветной. Между городами протянулись линии железных дорог, во все стороны, через горы и прерии. Они стекались к Никелону и Эллинду пучками, а через слабо-населенные пространства Востока тянулись единственными магистралями. Понятно, пришлось построить на них ряд станций. Новые города росли, как грибы. Реки пришлось связать каналами и сеть водных путей соединить с железнодорожной сетью, что дало неожиданный эфект в местах, где я меньше всего ожидал этого. То что Волга впадает в Каспийское море, а Нил в Средиземное было слишком известно, чтобы быть интересным. В Никелонии всё имело прелесть новизны.

Никелония разрасталась в ширину и глубину. Когда была

готова карта с делением на области, следующий шаг состоял в том, чтобы составить карты каждой из областей отдельно.

Руки были полны дела. На отдельный лист я переносил с общей карты ту или иную область в увеличенном виде. Тут уж не только большие города и местечки, но и села и деревни пестрили карту в неограниченном количестве, и я был поражен и обрадован — какая получалась картина, как оживали пустые пространства, где ни тронь пером жизнь била ключом.

Самым интересным во всем этом были названия. За один год я филологически развился до того, что обыкновенные названия перестали мне нравиться. Никелония явно лежала вне славянско-еврейской языковой зоны. Не было там местностей вроде Пинск, Соколы или Городище. У меня развился вкус к испано-романским или англо-саксонским звучным именам, и я изобретал их сотнями. Всё, что кончалось на «аль» и на «ор», на «óна» и «эна», на «фильд» и на «стон», годилось. Какая-то приморская местность называлась Бронзорана. Впрочем, я не брезговал и жалкими именами вроде «Сорока» или «Мышь», но только если речь шла о бедных поселках, затерянных в пространствах Никелонии.

Игра эта продолжалась не год и не два и сопровождалась перерывами, когда я заканчивал очередной приступ творчества и откладывал в сторону его результаты. Вдвойне интересно было возвращаться в Никелонию после долгого отсутствия, вспоминать и узнавать, с свежей силой браться за проектирование, делать новые открытия.

Еще многое предстояло впереди. В моей Никелонии было всё — кроме живых людей. Это было чисто географическое предприятие. Были города, но не было горожан. Были железные дороги, но не было проселочных дорог и мужиков на них. Были реки, и горные цепи, и области, — но всё это великолепное зрелище я созерцал в одиночестве, не населенном живыми образами. Я просто не дорос еще до стадии, когда география переходит в историю, и карта мира в человеческую драму. Никелония была театральной сценой — без актеров.

Одна единственная ярмарка в Соколах или базарный день, когда стекались тысячи крестьян на рынок и улицы местечка,

могли бы дать мне больше, чем призрачный и безлюдный мир Никелонии, — но от всей ярмарки я видел лишь горы лошадиного навоза и лужи конской мочи, которые оставались на следующий день. На ярмарке мне нечего было делать. Единственная ярмарка, которую я знал, была ««Сорочинская ярмарка» Гоголя.

И конечно — три основные книги каждого детства к этому времени уже прочно вошли в мир моей фантазии: все три в сокращенном изложении для детей. Я страстно ненавидел рабовладельца Легри, переживал кораблекрушение Робинзона Крузо и его встречу с верным Пятницей, а приключения Гулливера среди лилипутов и великанов смешили меня, как смешат теперь американских детей «комиксы». Я не рассчитывал попасть на необитаемый остров, в Новый Орлеан или в страну Бробдиньягов. Другое дело — страна Никелония. Я жил там в ожидании выезда из Сокол. Важная перемена должна была совершиться в жизни. Всё кругом было только прологом к неведомой стране будущего, ожидавшей меня — пока только в виде географического проекта. А тем временем — предстояло готовиться к поступлению в приготовительный класс Пинского реального училища.

Ю. Марголин

РАВЕННА

В своем розарии на плоской крыше
Всегда готова милая старушка
Бельишко кой-какое постирать.

Я к ней зашел с рубашками подмышкой,
Любуясь розами, озонной сушкой
На этой вышке метров семь на пять.

Я видел диво цареградской веры —
Осенне-мозаичные покровы,
Мерцающий магический кристалл.

Я видел чудеса на дне пещеры —
Светящейся, янтарной и медовой,
Я вечное блаженство испытал.

И опустелую я видел славу
Давно надтреснутого саркофага,
И празелень: всё суета сует!

Старушка там же, где ее оставил:
Уже свое ты совершила благо
Белье озонное впитало свет.

ФЕРРАРА

Феррара, фурии...
Батюшков «Умирающий Тасс»

Из Батюшкова рцы и ферт, —
Феррара, фурии и Тассо!
Лирический волшебный бред,
Жестикуляция и пассы.

Давайте все сойдем с ума,
Подпрыгивая и мурлыча.
Хотя бы даже и чума —
Безумные поэты кличут!

Ни жизнь, ни смерть, ни ад и рай —
Выкидывается коленце!
Скачи, урчи, брянчи, бряцай,
Пот утирая полотенцем.

И вдруг утихший сумасброд —
Небесно-ясно улыбнется,
И солнце из графленых сот
Медово-матово прольется.

САЛОНИКИ

Убийство в газетной хронике,
И море, и променад,
Одесса моя, Салоники,
Соломинка, лимонад!

Растут уступами всхолмия,
Свивается в тучу бред,
Прорезываются молнией
Минувшие сотни лет.

Безумные распри, ереси,
Но та же голубизна,
И крылья белого паруса,
И пенистая волна.

На рынке радуга запахов —
Омары, дыня, чеснок,
Сюда я приехал, с Запада,
На мой роковой Восток.

При Кесаре, при Андронике,
Меня пырнули ножом,
Но те же они, Салоники,
И тот же розовый дом.

И вечный покой мозаики:
Одетый в белый хитон,
Застыл я в раю-розарии,
Фазанами окружен.

ЯНИНА

Тропинка загадкой, змейкой,
Зеленая светотень,
Усадебка с галерейкой,
С утра до вечера лень.

Леонтьев — я буду турка:
Ласкаемый розой взор,
Замедленная покурка,
Замедленный разговор.

За тонкой перегородкой
Три пери, воркуя, ткут:
— Паша, с какою красоткой?
— Не знаю — пусть обождут.

Гоните евнуха сплетен,
Убейте муху забот,
Естественно-незаметен
Из лени в рай переход.

Юрий Иваск

О МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Весть о цветке, чье имя у меня
И днем, и ночью на устах, 14
Сладчайшее из всех земных созвучий.
Данте «Рай», XXIII — 88

К концу девятнадцатого столетия и началу двадцатого, Берлин был всемирным музыкальным центром. Первенство немецкой музыкальной культуры, тогда еще не утратившей своего авторитета, было основано на германском классицизме. Духовная сила немецкой музыки была создана титанами: Бахом, Моцартом, Бетховеном. Брамс был уже только гениальным истолкователем духовного смысла и творческой ценности этих трех. Музыка Брамса это оригинальный комментарий к синтезу германской музыки; может быть, исключительно в этом и заключается значение этого композитора. Что же касается поэзии музыки Брамса в ее собственном смысле, она остается на втором плане несмотря на всю свою прелесть. Главная ее сила в том, что благодаря наиболее совершенной и тонкой для своего времени концепции, Брамс сумел вывести достижения того что можно назвать германским классицизмом из плана национального в план универсальный или общечеловеческий. Брамс создал мост, соединивший германский классицизм с универсальным методом композиции, который являлся принадлежностью девятнадцатого столетия.

Метод Брамса ни в каком смысле не актуален для наших дней, но композитора этого никак нельзя обойти именно в силу истолковательного значения его музыки, которая содержит методологический порядок. Методология эта есть сила живая и организующая. Эволюция метода есть также эволюция самого искусства. Природа искусства неизменяема и постоянна; меняется только метод, как в произведениях различных артистов так и в различных эпохах искусства. Природа искусства одна и та же и у Анри Руссо и у Зурбарана; различны лишь их методы в связи с их временем. Умное и умелое нарушение старого канона может привести к рождению нового канона и

нового метода, в то время как рабское подчинение установленным правилам разрушает самую возможность эволюции метода; таким путем образуется академизм эпигонов. Но, с другой стороны, неумное и неловкое нарушение установленных канонов ведет только к анархии.

В тридцатых годах 20-го века можно было наблюдать парадоксальную попытку создания «абсолютного» метода, нечто вроде архимедова рычага. Каноны и методы мастеров различных эпох последовательно применялись, один за другим к современности. Таким образом, было понятно почему Брамс, отвергнутый импрессионистами, был принят «нео-классицизмом». Ведь неоклассицизм, в своем лучшем проявлении, пытался создавать новое при помощи если не прямого подражания, то путем истолкования той музыки прошлого, которая казалась нео-классицизму наиболее созвучной настоящему.

Брамс был последним целостным и эмоционально-уравновешенным музыкантом 19-го века. После него начался упадок классицизма и, в начале 20-го века, вспыхнул модернизм. Господствующее место в музыке было Германией утрачено; оно было занято столицей латинской Европы. Париж сделался наследником Берлина. Влияние Берлина было утрачено, но Париж не сумел сохранить свою позицию. Отвергнув немецкую диалектику, французские музыканты не сумели утвердить новую диалектику, латинскую. Под диалектикой здесь разумеется та органическая и живая логика [род звучащего логоса] на которой осуществляется музыкальное произведение. Живое единство произведения направляет и весь его рост. Музыкальная диалектика не имеет никакой надобности пользоваться экстра-музыкальным сюжетом. Но едва музыкальная диалектика отброшена, сейчас же экстра-музыкальный сюжет становится необходимым трамплином.

Импрессионизм, создавая свою инструментальную форму, пытался обойтись без диалектики. Между тем, природа чистой инструментальной музыки была всегда диалектична и весьма вероятно, что она и не может быть иной.

Среди русских музыкантов, Глинка был единственным наследником диалектики классицизма. Уже у Чайковского процесс композиции часто превращается в риторику. Мусоргский, в силу своего решительного сопротивления германскому ложно-классицизму [который и породил этот тип музыкальной ритори-

ки], пришел к полному отрицанию диалектического метода композиции. Мусоргский пошел иным путем, взяв за основу композиции песенную стихию и, поскольку ему была дана эта интуиция, инструментальную стихию народной музыки. Эта интуитивная вера Мусоргского в органическую силу русской музыки и составляет пафос его музыкального творчества.

Дебюсси, удаляясь от германизма и вагнеровского музыкального мышления, встретился с Мусоргским на том пути, который был найден русским музыкантом в полном одиночестве. Точное понимание и осознание роли Мусоргского в развитии путей русской музыки помогло Дебюсси найти подлинное выражение смысла национальной французской музыки. Значение Дебюсси намного перерастает роль импрессионизма, и его музыкальная форма обнаруживает для нас тонкую диалектику латинской мысли.

Путь, пройденный развитием музыкальной мысли со времени расцвета классицизма до 30-х годов 20-го столетия, подтверждает эту точку зрения. Длинный этот период охватывает упадок классических принципов, романтизм, рождение модернизма, его развитие, анархию последовавшую за снижением импрессионизма и, наконец, возвращение к классической традиции, происшедшее в течение двадцати пяти лет до начала Второй Мировой войны. В течение всего этого периода музыкальной истории, всякая попытка отказа от инструментальной диалектики в музыкальной мысли приводила к утрате самого процесса композиции. Подобная попытка уводила музыкантов в область не имевшую ничего или очень мало общего с музыкой. Необходимо было отыскать новые пути, превосходящие диалектику германского классицизма, чтобы создать диалектику нового порядка. Русская музыка стала на этот путь после войны 1914 года. Правда, она не ставила себе целью превзойти немецкую диалектику, но она создала диалектику в качестве композиционного метода после того, как метод был на долгое время утерян вагнерианством и модернистами. Эта утрата создала продолжительный конфликт между старыми немецкими музыкантами и новыми, но все музыкальное движение в Германии возобновилось с того момента когда там вернулись к диалектике. В то время диалектический метод был уже прочно установлен в новой русской музыке, и возвращение немецкой музыки к диалектике осуществилось под влиянием русской

музыкальной культуры. Немецкие музыканты признавали прямую связь между музыкальной диалектикой и конкретной логикой русской музыки с основами немецкого музыкального языка и его музыкальной материей. Об этом хорошо свидетельствовала музыка Хиндемита и новая немецкая школа. Итак, качание маятника между Берлином и Парижем могло бы продолжаться бесконечно, вне перемены политического режима в Германии, который не принес ничего существенного в развитии культурного процесса, но варварски разрушил самые основы немецкой культуры.

Возможен ли был синтез латинской и германской музыкальной культуры? Нет, он никогда не был осуществлен и решительно невозможен. Более того, столкновение этих двух культур станет еще более выраженным если немецкой культуре вообще суждено будет возродиться.

2

Брамс связывал себя с классической традицией, т. к. он больше всего боялся утраты единства и разрыва с мировоззрением, выражавшим классическую культуру. Но Брамс и не чуждался в то же время сферы, где был выражен индивидуализм, начавший расшатывать наследие классиков прошлого века и их целостное постижение мира. Из этого дуализма родилась музыкальная форма Брамса. Она ни классична, ни академична, ни «эпигонистична», но она — всё это вместе взятое. Рассматривая ее в целом, можно сказать, что форма эта условна. Лишь частичные элементы ее структуры основаны на традиции. Брамс пытался примирить классицизм с романтизмом и ему это удалось лишь отчасти. В действительности, он больше связан с классицизмом, чем с романтизмом. В последние годы своей жизни Брамс пытался уйти от острого конфликта, создавшегося между классицизмом и романтизмом, и он опирался на свою формальную технику. Это привело его к академизму. Брамс для нас исключительно интересен тем, что живя на границе двух противуположных эпох, он носил в себе созревавшие конфликты, которые позже уточнились в модернизме в виде целого ряда противоречивых тенденций.

После Брамса проблемы гармонии [а затем и ритма] надолго стали самодовлеющими. В модернизме эти проблемы бы-

ли наследием прошлого. Стиль романтиков пытался еще сохранить по возможности равновесие трех основных элементов музыки: мелодии, ритма и гармонии. Но уже у романтиков гармония начала подавлять другие два элемента. К концу 19-го века и началу 20-го, гармония стала центральной осью, вокруг которой развивалось всё музыкальное творчество эпохи. Преимущество гармонии создалось за счет сперва ритма, а затем мелодии и всё это вместе привело в модернизме к уничтожению полифонии, ее атрофии, что особенно чувствительно у импрессионистов. Полифония, поскольку импрессионисты еще ее сохраняли, существовала лишь как функция гармонии. Проявлялась тенденция к превращению полифонии в гармонические вертикали, т. е. тенденция к замене свободного движения голосов аккордовой вязью. Распад живой полифонии и исключительное утончение гармонии почти совершенно парализовали ритм. Возник культ переутонченной гармонии. Ритм потерял свое основное значение конструктивного принципа; роль его свелась к созерцанию звучностей. Исключительное утончение гармонии и утрата субстанции ритма привели музыку к тупику, очевидному для всех. Тогда начался обратный процесс: композиторы занялись ограничением гармонии и возвращением ритма к жизни. Конечно, это выразилось в новом эксцессе: «полифония во что бы то ни стало». В итоге тенденция эта восторжествовала. В течение нескольких лет можно было наблюдать возрождение полифонии на новых принципах, и ритм был восстановлен в своих правах. Долго сдерживаемая полифония приобрела характер разнузданной и беспорядочной стихии. Но она отличалась тем, что была решительно основана на синтезе всех новых гармонических достижений. Опыт гармонических исканий предшествовавших лет вошел полностью в новую зарождавшуюся форму. Каждый из трех элементов музыкальной формы [ритм, гармония, мелодия] приобрел новый смысл, отличный от того, каким он был у классиков и у романтиков. Форма возникшая таким образом и основанная на свободной гармонической интонации нанесла удар прежде всего, тональному строю и тонико-доминантовым отношениям, на которых покоилось равновесие традиционной формы, как классической так и романтической. Новый метод разрывает с этой традицией и ведет к крайнему неравновесию [Шенберг и его школа]. Метод этот противупоставляет себя методу

классическому, ведущему форму к полноте равновесия и покоя. Этот новый метод, основавший конструкцию музыкальной формы на неравновесии, привел к утрате устоев музыкального языка до тех пор незыблемых; к утрате порядка морального и порядка тонального. Это и есть господство условности, где, по капризу того или иного композитора, создаются бесконечные индивидуальные и совершенно искусственные наречия. Гармония, став единственной целью в импрессионизме, привела музыку к тупику. Со своей стороны, атональная полифония привела к смешению языков; вместо единого музыкального языка образовалось множество наречий.

Таким образом, ритм снова потерял свою классическую роль организующего принципа музыкальной речи. Лишенный этой роли, ритм стал автономным принципом композиции. За счет чистоты музыкального языка создалось накопление [до тех пор неведомое] ритмических и метрических обогащений. Новая метрическая структура была основана на ритмической свободе. Это привело к тому, что тактовая черта перестала находиться в зависимости от слабого и сильного времени. Метр совершенно отъединился от ритма. И передвижение тактовой черты привело к максимальной разработке и ритма, и метрики.

Мы проследили две последовательных эволюции формы. Первая была основана на гармонической интонации; вторая — на ритмическом акценте. На второй линии всегда продолжается изживание прошлого и смешение целого ряда тенденций. Этот род музыкального производства не может ничего изменить или прибавить к новой форме, получившей свое крайнее выражение.

В тридцатых годах нашего столетия музыканты, достигнув предела в разработке политональных и полиметрических форм, вошли в первый период «разоружения».

Метод «нео-классицизма» был методом полемическим. Неоклассицизм был актуален лишь постольку, поскольку он вел борьбу против модернизма, завершившего свой круг. Когда терпкость и острота этой полемики начали смягчаться, большинство сочинений вдохновленных нео-классицизмом начали терять свое значение. Их абсолютная музыкальная ценность, за редким исключением, была малозначительна. Когда чувство удивления, вызванное контрастом с модернизмом рассеялось, то оказалось что мы находились перед бессознательным по-

дражанием прошлому. В сущности, нео-классическое движение выродилось в ложный классицизм. Полемическая форма породила академизм и паразитизм прошлого без всякого разбора. Плодотворным следствием этой борьбы явились поиски нового равновесия формы. Здесь начался процесс обратный модернизму. После крайнего неравновесия созданного модернизмом, пытались вернуть форме равновесие и классическое умиротворение. Такова была тенденция 20-х и 30-х годов. Но беззастенчивое подражание прошлому, бывшее следствием неоклассического движения, достигло чудовищных размеров. Вскоре зерно посеянное в этом периоде умерло и должно было породить новую форму. То, что называется здесь «полемическим методом» напрасно носило название «нео-классицизма»; новая классика была в то время неизвестным будущим, и полемический метод того времени был только предтечей будущего, которому приготовлялись пути.

3

В продолжение всей рассматриваемой нами эпохи, среди всего различия и противоположности усилий, тенденций и целей, центром всего музыкального искусства была не какая-либо идеология, но лишь проблема формы. К этой проблеме всё более было направлено усилие музыкального творчества до тех пор пока музыканты не пришли к формализму узко-профессионального ремесла. Говоря о проблеме формы, мы возвращаемся к терминологии, существовавшей в начале столетия. Тогда «форма» противопоставлялась «содержанию», и эстетика начала 20-го века была очень озабочена их взаимоотношением и преимуществом одного или другого. Следствием этих давно забытых разногласий явился бесспорный вывод, что форма неотделима от своего содержания. Синтез формы и содержания стал неоспорим. Но в процессе развития произошло следующее: в поисках новой формы то что называли «содержанием» отодвигалось всё дальше и, наконец было совсем отброшено. Как можно было объяснить сознательный или бессознательный отказ артистов от того, чтобы выражать их отношение к миру и жизни? Кажется, главная причина была ничем иным как утратой духа музыки и крушением гуманистической культуры. Искусство стало выражением того процесса механизации

жизни, который охватил весь мир. Последним выражением гуманизма был крайний индивидуализм конца 19-го столетия. Он был использован и побежден. То что за ним последовало было силой антигуманистической, и культ материализма вызвал к жизни тот безличный стиль, который стали называть «объективным».

В конечном итоге искусство рабски отразило пафос антидуховности, которым была насыщена эпоха. Искусство снизошло исключительно до производства вещей «хорошо» или «дурно» сделанных. Принцип «хорошо сделанной вещи» был в искусстве самодовлеющим. Не пора ли признать, что это производство художественных вещей лишенных всякого духовного смысла, никому не было нужно? Необходимость предметов такого сорта есть концепция условная и спорная. Произведение искусства должно быть или должно стать абсолютной необходимостью, даже если в момент его появления такая необходимость признается лишь немногими, или даже никем не признается. Но необходимость произведения искусства зависит всецело от своей духовной насыщенности. Замыкаясь в границах узкой специфичности и профессионализма, музыка выключилась из духовного плана жизни и свелась к сухой и жесткой ограниченности. Это началось с реакции против той эпохи, когда музыка пренебрегала формой и была в то же время риторична и сомнительна по своему духовному содержанию. Подобная реакция была закономерна; и, по своей устремленности, модернизм казался ищущим единства формы и содержания в новом аспекте. Но дальнейшее развитие модернизма привело его к признанию абсолютного преимущества формального принципа. Весь комплекс духовных ценностей рассматривался как препятствие, которое удаляет мысль и художественные искания от ценности единственно-важной, т. е. от искания новой формы. Именно здесь обозначался разлад между артистом и реальностью. Воздействуя абстрактным путем на форму и на материал, разъединяясь с идеей и живым чувством, создавали не живое искусство, но абстрактные ценности. Мир идей и переживаний органически действовавший на подсознательное творческое ощущение, рассматривался как враждебная сила, которую следовало обезоружить для того чтобы она не вводила художника в чуждые области и не отвлекала его от главной цели отыскания формы как таковой.

Итак, всё, что не было прямым воплощением абстрактной формы было объявлено «экстра-музыкальным». Так возникла эстетика конструктивизма. Создавая безличную форму разъединенную с миром идей и чувств, эта эстетика дала нам музыку «объективную». Обманывая самих себя, эту музыку объявили «чистой» музыкой. Неужели придется в бесконечный раз возвратиться к этой концепции «чистой» и «нечистой» музыки? Современная музыка ничего не выяснила в этом смысле. Очевидно, что концепция чистой музыки не совпадает с музыкой «объективной». Объективная музыка есть ничто иное как сухая и механизированная фактура. Это еще не есть произведение искусства, а лишь эксперимент, проба.

Процесс борьбы за чистую форму и чистую материю как борьба за упразднение или подчинение всей духовной области, привели музыку к пирровой победе. Для музыкантов перестала существовать вся область экстра-музыкального. Процесс «очищения» формы дошел до последней границы и музыка оказалась в худшем из тупиков. Убийственный отказ художественного творчества от всякого «содержания» имеет своим возмездием тот факт, что форма стала врагом самой музыкальной материи. **Дуализм формы и содержания привел к конфликту между музыкальной материей и ее обработкой.** Проблема формы привела к столкновению между **фактом и процессуальностью.** Обработка этой материи, т. е. процессуальность, утвердилась как самоцель. В этой борьбе за свое существование, музыкальная обработка стала изгонять самую звуковую материю в такой степени, что в смысле чисто-музыкальном в музыке вообще больше ничего не происходило; модуляция казалась событием; весь музыкальный факт сводился к игре интервалов. Если, в виде абсурда, предположить что из музыки можно изгнать даже интервал, то не станет никакого различия между такого рода музыкой и любым организованным и неорганизованным шумом. Таким образом, единственно важное в музыкальном сочинении есть только интервал, и вся формальная сила произведения покоится исключительно на той роли, которую играет интервал в данной звуковой ткани. С другой стороны, путь музыки стремившейся к делению уже самого интервала в порядке высшего хроматизма, пытался разрушить даже незыблемую устойчивость интервала. Но проблема высшего хроматизма вне тематики этой статьи.

Поиски формы ради самой формы были ничем иным как новым академизмом; подлинную музыкальную продукцию, живую, свежую и непосредственную, следовало отыскивать в «катакомбах». Почти всё, что появлялось в свете дня билось в сетях схоластики и схематизма.

Новая форма возможна лишь с восстановлением утраченного равновесия между формой и содержанием. Путь к ней лежит в отказе от фетишизма формы. На этом пути необходимы духовные силы. Когда они появятся, тогда возникнет дух музыки, и материя найдет то место, которое ей всегда принадлежало в мире, т. е. в подчиненности духу. С другой стороны, новая форма может возникнуть только тогда, когда она становится органической необходимостью, и это не происходит искусственным путем. Эволюция метода состоит в органической связи с живой эволюцией формы. Форма всегда создается заново, а не по рецептам и без повторения прошлого; она связана с очень личным и неподражаемым ви́дением мира и вещей, которое и отличает подлинного артиста от ремесленника. Для тех, кто так думает, мир не есть нечто навсегда застывшее и окаменелое; творчество мира продолжается и возобновляется в каждом моменте нашего существования.

Артур Лурье

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

В НЕДРАХ СЕМЕЙСТВА

Остались мы с женой одни
В своей большой квартире.
Мелькают месяцы, как дни,
Одни мы в целом мире.

У нас был сын и вот ушел —
Беспомощный мальчишка.
Кровать осталась, стул и стол,
На стуле пиджачишко.

Оперся на него рукой
Усталой и дрожащей,
А как хотелось бы иной
Опоры настоящей.

ПОДЗЕМНЫЙ СОБОР

В пещерных недрах мчится
Собвей, у-бан, метро
Летит, но не как птица,
А гулко, как ведро
Гремит в пустом колодце,
Стремглав летит на дно.
Рискует расколоться
Незрячее окно.
В гробу железном странно
Колышется народ,
Покорно, бездыханно,
Безмолвствует и ждет.
Во вторник или в среду,
Такого-то числа,

Как все, я тоже еду
В подземном царстве зла.
Различные по коже,
Одёже, форме рук,
Но друг на друга всё же
Похожи все вокруг.
У всякого делишки,
Заботы и семья.
Людишки, как людишки,
Такие же, как я.

РОЖДЕНИЕ ОБРАЗА

Морозное яркое утро
Забрать бы ружье и уйти.
И смело, уверенно, мудро
Шагать по земному пути.

На снежной бумаге по краю
Не строчки, а заячий след.
Я заново мир открываю
Охотник, бродяга, поэт.

И всё по другому, иначе,
Навыворот, наоборот.
Я только от радости плачу,
От горя смеюсь во весь рот.

Мечте среди снега отрадно,
Как белке, как юному псу,
И дышится остро и жадно
В холодном стеклянном лесу.

А мысль русаком из оврага
Мелькнет меж сугробов и — нет.
И только исчертит бумагу
Неровно наброшенный след.

И тут удивишься до боли,
И жалость и счастье до слез.
Такой замечательный в поле
Воистину русский мороз.

Глеб Глинка

ИЗ РОБЕРТА ФРОСТА

ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА

Шли года: наконец
Кто-то в дверь постучал,
И я вспомнил о двери
Без замка, без ключа.
Я на цыпочках вышел
И свечу погасил,
И нежданного гостя
Я к себе не пустил.
Вновь настойчивый стук —
Распахнул я окно,
С подоконника спрыгнул:
«Это кто? Это кто?
Отзовись, заходи!»
Пригласил, не боясь
Человека за дверью,
Что пришел, не спросясь.
Это жизнь постучалась —
С жизнью мне по пути:
Дай мне спрятаться в мире,
Поумнеть, подрасти.

Перевод В. Дукельского

ОБ ОДНОМ ОБРАЗЕ В РОМАНЕ «ВОЙНА И МИР»*

В осенний дождливый день Денисов осматривает местность — пункт, откуда, может быть, придется атаковать отступающих французов, и видит двух приближающихся к нему всадников — офицера и казака.

«Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким, румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер, — извините, что не совсем сухо... — Вот говорили всё, что опасно, опасно, — сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто... А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщика, — пленный? Вы уже в сраженьи были? Можно с ним поговорить?

— Ростов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — и Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул офицеру руку. Офицер этот был Петя Ростов».

Петя Ростов появляется в романе в пяти-шести местах. Как действующему лицу посвящено ему страниц 15, не больше. В литературоведческих разборах говорится об этом образе мало, почти ничего. А между тем этот образ необычайно интересный и цельный, очень толстовский по замыслу и поэтике.

Структурная его тема — часть исторической темы романа, темы «почвенного» патриотизма перед бедствием вражеского нашествия. После чтения царского манифеста «Первопрестольной столице нашей Москве» Петя подходит к родителям и «весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом» заявляет о своем намерении идти в армию «...я решительно скажу,

---

* К столетию (1865-1965) со времени опубликования первых частей романа.

что вы пустите меня на военную службу, потому что я не могу, вот и всё!»

Розовощекость, ломающийся голос — эти и другие мальчишеские черты сопутствуют почти каждому явлению Пети в романе, по-толстовски слагая портрет:

«...этот курносый Петя, со своими веселыми, черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках...»

Или:

«Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик, с толстыми красными губами, похожий на Наташу...»

«Похожий на Наташу» добавлено здесь, может быть, ради портрета внутреннего, не столько внешнего. Есть одна черта, которая особенно роднит брата и сестру: очарованность жизнью, восторг. Вспомним Наташу в Отрадном, когда разговор ее с Соней слышит нечаянно князь Андрей:

«Соня, Соня! Ну как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть!.. Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!»

Восторг — слово, с которого почти и начинается знакомство читателя с Петей. Это в самом начале второго тома, где описывается приезд в отпуск Николая Ростова с Денисовым. Утром молодежь — Наташа, Петя и Соня — ждут, когда «герои» проснутся.

«...Петя... увидав и схватив саблю и испытывая тот **восторг,** который испытывают мальчики при виде воинственного оружия старшего брата и забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.

— Это твоя сабля? — кричал он... — Или эта ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому, черному Денисову».

Детскость петиного патриотического воодушевления противопоставлена спокойной боевой опытности Денисова; контраст этот композиционен: Денисов сопутствует первой «говорящей» экспозиции Пети; Денисов же «дрожащими руками» поворачивает к себе «запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо» Пети, сраженного пулей.

Восторженность Пети, однако, не только патриотическая: это его существо, его природа вообще, переполненность впечатлениями жизни, нетерпение жить, порывистость чувств. Вот

святки в доме Ростовых накануне 12-го года. Диванная. «Наташа еще не кончила петь, как в комнату вбежал **восторженный** четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые».

В романе героическая восторженность Пети обретает действенную форму в трех эпизодах.

Эпизод первый: во время приезда в Москву государя Петя вместе с толпой идет в Кремль, чтобы объяснить какому-нибудь камергеру («Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры»), что он, несмотря на свою молодость, хочет служить отечеству. Следует неповторимая толстовская живопись «движения душ» в ожидании императора, когда на всех лицах лежало «общее выражение умиления и восторга» и Петя, умиленный и восторженный горячее и порывистее всех, «...сам не помня себя, стиснул зубы и, зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту»...

Его чуть не задавили насмерть в тот день.

Второй эпизод — поездка Пети и Долохова в тыл противника, за сведениями о количестве и расположении вражеских частей. Этому эпизоду предпослана очень пластическая и разногранная экспозиция Пети и его душевной экспрессии. Тут и скрытая параллель: Петя и опекаемый им пленный барабанщик Венсан Босс, которого солдаты переделали в Весеннего и Висеню («Покормили ли его?.. Спросить бы можно?.. да скажут: сам мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик»); тут и продлеваемый контраст деловой настороженности перед боем и наивного лепета Пети», находившегося в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям», — о «деле» («Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал... — ну что вам стоит?»), о привычке к сладкому (слова, которые через несколько страниц припомнит Денисов, чтобы «замкнуть» образ):

«— Батюшки! Я и забыл совсем... — У меня изюм чудесный, знаете, такой без косточек. У нас маркитант новый и такие интересные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите?»

В отважном предприятии с Долоховым Петя сдержан, так что мы уж и забываем было о его пылкости. Но вот оба воз-

вращаются после удачи; Долохов, простившись, хочет ехать к себе, но Петя схватывает его за руку:

«— Нет! — воскликнул он, — вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю...

— Хорошо, хорошо, — сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте».

«Петя, — пишет Толстой, — находился в постоянно-возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его теперь не было».

«И он торопился поспеть туда, где его теперь не было!»

Слова эти вряд ли можно прочесть в том безголосом ключе, в каком их обычно читают. То, о чем говорится дальше, подсказывает другой ключ, за чертой реалий...

Эпизод третий и последний — ночь, предшествующая стычке с французами, и стычка сама. По внешнему подсчету, собственно, два эпизода; по внутреннему их единству — один. Рассказывается здесь о том, как, возвратясь из разведки, Петя просит казака наточить его саблю, сам же начинает дремать. И в этой своей дрёме «спешащий туда, где его теперь не было», Петя как бы уже заглядывает в потусторонний, неведомый мир.

Страницу, где изображено петино видение этого мира, нельзя не привести целиком: так обогащает она скудость иных суждений о поэтике Толстого:

«...Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть — глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой, ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — всё лететь и никогда не долетишь...

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его.

Он был в волшебном царстве, в котором всё было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться...

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.

— Ожиг, жиг, ожиг, жиг... — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Музыка играла всё слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять всё соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь». И звуки слушались его. «Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее». И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. «Ну, голоса, приставайте!» приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной высоте...»

Этот хор, внимание «необычайной красоте», восторг и наслаждение, которых не с кем было разделить, — всё это происходит с Петей как бы **на пороге** из реального мира в тот нездешний, в котором звучала музыка.

Нужно было сделать один только шаг — и переступить порог.

Это и происходит всего какой-нибудь час спустя, на рассвете, в стычке с французами. Петя весь переполнен предчувствием этого шага: «Обмытое холодною водою лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро, равномерно дрожало».

И затем:

«...Денисов... подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов отвернулся, подошел к плетню и схватился за него».

Тема образа Пети, — говорилось выше, — часть патриотической темы романа. Но внутренняя тема этого образа — иная. Это тема очарованности жизнью, восторженности земного дыхания — тема, которая часто звучит в «Войне и мире», — вспомним умиление раненого князя Андрея, впервые увидавшего небо, восторженность Пьера к Наташе, восторг Наташи перед своей молодостью и полнотой жизни.

Образ Пети — самое короткое, но, может быть, и самое сильное выражение темы **восторга** в романе. Восторг всегда от сердца, пути же сердца — и это любил повторять Толстой — не менее верны, чем пути разума. Движения сердца могут быть безрассудны. И всё же прекрасны.

Л. Ржевский

ЗАПИСИ*

И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем — и не оставляет тайная боль неуклонной потери их — неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, всё только в ожидании действия и — чего-то еще... И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, непонимаемая мной.

* * *

Вторая часть моей жизни, начавшаяся с моего возвращения под отчий кров, длилась ровно четверть века. Последним днем ее мне представляется тот летний день, когда мы с братом Георгием сидели в ожидании отплытия на палубе волжского парохода у пристани в Самаре и вдруг услыхали радостные крики бежавших к нам с берега мальчишек газетчиков:[1]

— Екстреннай выпуск! Убийство наследнаго принца австрийска престола!

* * *

...и этих постыдных слов:

— Je ne vis que pour écrire, я жил лишь затем, чтобы писать.

Две трети всех сил своей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил всё-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем

---

* Эти записи И. А. Бунина присланы нам Л. Ф. Зуровым из архива Бунина. РЕД.

[1] И. А. Бунин мне рассказывал в Грассе, что на пароходе во время объявления войны он был с Юлием Алексеевичем. Тогда брат ему сказал: «Жизнь кончена. Теперь всё пропало». Л. Зуров.

бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере,[2] где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. На постаменте: «такому-то», а к чему всё это? Кто об этом «таком-то» думает? Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому неведомая жизнь «такого-то»[3] . . . . . просто в земле, как тысячелетнюю древность, как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашедшего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью — и вечной, во веки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печалями и радостями человека, тайной его рождения, существования и смерти.

Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад в нашем мерзком гробу, в сюртуке или мундире и в покойницких туфлях. Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей...

* * *

Жизнь внешне выражалась чаще всего в **ничтожном и случайном** («Жизнь Арс.»).[4] Вневременная, внепространственная, она была связана с известным временем и местом, с известными временными событиями и с людьми, игравшими в свой срок ту или иную роль, казавшуюся очень значительной, — со всем, что в других местах даже и в ту пору было неизвестно, со всем, что теперь уже никому ненужно или неинтересно, — что ж говорить обо всем этом, только **мне** памятном? И еще: что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни? Только **мысль,** только знание, что вот было тогда-то

---

[2] Об этом Иван Алексеевич уже кратко писал. См. «Н. Ж.», кн. 76 и 78.

[3] Вычеркнуто И. А. Буниным несколько строк.

[4] Везде подчеркнуто автором.

то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства.

Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; еще — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти.

Принято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то, что недавнее еще недостойно памяти — еще не преображено, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для творчества потребно только отжившее, прошлое. Restitutio in integrum — нечто ненужное (помимо того, что невозможное). «Сеется в тлении — восстает в нетлении». И далеко не всё: лишь достойное того.

* * *

Дальнейшие дни и годы моей жизни образуют при всей их разности, нечто всё-таки более однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства, отрочества, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки.

И вот дни и годы уже туманятся и сливаются в памяти, — многие дни и годы моих дальнейших скитаний, постепенно ставших для меня обычным существованием; определившемся неопределенностью его, узаконенной бездомностью, длящейся даже и до ныне, когда надлежало бы мне иметь хоть какое-нибудь свое собственное и постоянное пристанище, а не смену чужих стен, — теперь, уже почти два десятилетия, французских, — мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них. Да, зачем мне нужны и кем и когда прибиты эти разветвленные, подобные окаменевшему морскому растению, оленьи рога цвета пемзы над дверью прихожей с кирпичными голыми полами? Кому служила до меня эта холодная столовая с широко зияющим камином, внутри почерневшим от дыма каких-то неведомых мне зимних вечеров? Какие гости сидели на диване в шелковой вишневой обивке, кое-где уже продольно треснувшей, в этом безмолвном салоне с неподвижными портретами каких-то старомодно на-

ряженных женщин и мужчин французской провинции? В кабинете какого-то бывшего хозяина стоит стопудовый секретэр со множеством ящиков и ящичков, закапанных чернилами в прошлом или позапрошлом столетии. В спальнях — альковы, в которых под костяными Распятиями умирали какие-то французские деды и отцы, бабушки и матери. Глядя на эти Распятия...

Ив. Бунин

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*

Известно всем уже давным давно,
Что может каждый чем-то утешаться.
Для утешенья каждому дано:
Желать чего-то, ждать и не дождаться.
Боятся смерти только старики:
Они привыкли жить на этом свете,
Питаться, сплетничать, носить очки
И прятаться от смерти за газетой.
Мне жаль, что я не умер в двадцать лет
Еще привычек скверных не имея,
Еще не зная, что любимый свет —
Жестокая и страшная затея.

*

Уже нельзя отличить от несчастья —
Счастье, от беды — удачу,
Хороших дней — от бурного ненастья
И от большого небоскреба — дачу.
Всё путается. Главное — желанья,
Когда они исполнятся — выходят
Совсем некстати: в виде наказанья.
И дней почти пустая цепь проходит.
Так двигается жизнь моя к концу.
И если взять ее движенье в целом:
Она подобна, может-быть, кольцу,
В котором замкнутость, как бы, замена цели.

I

Заходил в аптеку
Думал по дороге —
Сделать картотеку,
Подвести итоги.
На сером покрове
Незаметно пятен.
Пятна — на корове,
Человек опрятен.

II

Думают люди:
Сделать и то и то,
А будущее это то:
Чего никогда не будет.

III

Такое же вечно небо,
И земля, и морское дно.
Был ли я или не был —
Не всё ли равно?
Мчится машина,
На машине венок.
Пожилой мужчина
Приподнял котелок.

«ДОМА»

Вот, как из букв слагаются слова,
Вот, как из слов слагаются законы:
Идут часы, кружится голова,
Слетаются к своим птенцам вороны.
Встает за рощей красная луна.
Плывет всё выше, выше и бледнеет,
И уменьшается, слегка, она,
А тени — ярче, сумерки — светлее.
И в этой серебристой синеве
Сильнее сердце начинает биться,
То вверх, то вниз по пепельной листве
Расплавленное серебро струится.
В степи чуть слышен дальний звон подков,
Поскрипывают мягкие рессоры.
Убийцы едут из глубин веков
По лунным снам и лунным косогорам.
Они убьют, конечно, не меня,
Убьют других, но я еще не знаю.
И перед грудью лунного коня
Широкие ворота раскрываю...

А. Величковский

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГИНГЕРА

Передо мной — недавно вышедшая книга стихов Александра Гингера «Сердце» с его фотографией, очень похожей: именно таким он был в эти последние месяцы своей жизни. То, что он решил поместить свой портрет в этой книге, и то с какой нехарактерной для него энергией он занимался ее изданием, торопясь во что бы то ни стало ее закончить и выпустить, всё это показывает, что он лучше чем кто-нибудь знал, что ему остается мало времени до перехода в иной мир, — перехода, которого он ждал со своим обычным спокойным мужеством.

Трудно найти нужные слова, чтобы сказать о жизни и смерти этого удивительного человека. Он был ни на кого не похож ни в чем, начиная с манеры говорить и кончая манерой одеваться. Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и провалы в чтении стихов — так никто не говорил и не читал кроме Гингера. И никто не одевался, как он. Зимой он носил вместо пальто какую-то удивительную накидку, сшитую по специальному заказу, похожую на шинели начала девятнадцатого века в России и, конечно, единственную в Париже. Под пиджаком плотной материи у него была клетчатая рубашка без галстука, на ногах башмаки с необыкновенно толстой подметкой, которые можно было купить только в одном магазине, в районе, где живут барышники и конюхи. И в таком виде он мог идти в гости, к друзьям или на литературный вечер. Его лицо, резко некрасивое, нельзя было не запомнить. Его стихи — в этом тоже нельзя было ошибиться — было невозможно приписать кому-нибудь другому.

На прозаизмами богатой лире
Распространиться разрешите мне
О трех страстях, известных в этом мире.
О женщинах, о картах, о вине.

То что он писал никогда не было похоже на стихи кого бы то ни было из других поэтов. Он прекрасно знал поэзию

— русскую и французскую, — к тому же в литературе у него был непогрешимый вкус, то, что в музыке называется абсолютным слухом. Но когда он сам начинал писать, это было так, как если бы никто до него никогда не сочинял рифмованных строк.

О нехорошем горе несуразном
Ломаем перья, голосом поем...

Люди недостаточно знавшие Гингера не могли его понять. То, что было для него естественным, они считали деланным: — не говорят так люди, не одеваются так, не пишут, злоупотребляя архаическими словообразованиями:

Оттого то широкораменный
Нам не люб нисколобый атлет.

Но Гингер не притворялся и не искал оригинальности. Он просто не шел на компромиссы, на уступки: — одеваться надо так, в стихи не следует включать некоторые слова, уместные только в прозе. И в преломлении его восприятия всё менялось и приобретало особый характер. Наш общий друг Р. как-то сказал ему, — это было давно, в тридцатых годах:

— Гингер, ты помнишь сказку Андерсена о солдате и огниве? Вот взял бы и написал об этом несколько слов. Через два дня, когда мы опять встретились, Гингер сказал Р.:

— Ты знаешь, я сочинил восемь строк. — И прочел:

И как бы немо иль гугниво
Не проходила жизнь моя.
Солдата и его огниво
Наверно не забуду я.
И помню, было три собаки
С глазами разных величин
Передник ведьмин у рубаки
И не боится нижний чин.

Не было человека, который бы относился и к себе самому и к своему творчеству более объективно, который был бы более чужд той мании величия, которой — в той или иной степени — страдают почти все поэты и писатели. И за его внешними чудачествами, за всем тем, чем он так резко отличался от других, не всегда легко было угадать две основных его особенности: своеобразную, спокойную мудрость — я не могу найти другого слова — и столь же спокойное мужество.

Гингер бывал иногда, — это было до второй мировой

войны, — у известного советского писателя, часто приезжавшего в Париж, которого он давно знал. Как-то он спросил меня, что я о нем думаю.

— Как о писателе или как о человеке?

— И о том и о другом.

— Писатель он, по-моему, плохой — сказал я. — А как к человеку, к нему можно, по-моему, только испытывать презрение.

Трудно передать выражение глаз Гингера. В них была мягкая насмешка и за ней что-то очень далекое и неопределимое.

— Это всё ваше душевное богатство? Больше у вас нет ничего по отношению к этому человеку?

— Кажется, нет, милый друг, — сказал я. — А у вас?

— Презрение к нему вещь понятная, — сказал он, — хотя вероятно, никого не надо презирать. Но я по отношению к нему испытываю еще жалость.

— Вы знаете, почему я буддист? — спросил он меня однажды. — Меня всегда привлекало это непрекращающееся пантеистическое движение, это понимание того, что ничто не важно и что важно всё, этот синтез отрицания и утверждения, который дает нам единственную возможность гармонического видения мира. Собственно, не мира, а миров, которые возникают, исчезают, появляются вновь в преображенном виде и время — это только бессильный свидетель их бесконечного смещения. Я верю, что ничто не исчезнет бесследно. И если бы я в это не верил, если бы лучшие вещи в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было бы слишком трудно, слишком тягостно жить, вы не думаете?

Потом, перейдя на свой обычный шутливый тон, он прибавил:

— Меня удивляет, что вы об этом не думали и что вы сами не чувствуете себя в какой-то степени буддистом. Вы же всё-таки считаете себя человеком полуинтеллигентным и мы с вами почти одновременно были в университете.

Четыре года германской оккупации Парижа, когда Гингер рисковал своей жизнью каждый день, дорого стоили всем его друзьям. Убедить Гингера в том, что он должен уехать из Парижа и уж во всяком случае не ходить по городу целыми днями, не было никакой возможности.

— Ах, всё это ужасно преувеличено, — говорил он. —

Я убежден, что меня не арестуют. Вы знаете, я недавно попал в облаву. Полицейский на меня посмотрел и потом буквально сказал мне следующее:

— Один ваш вид у меня вызывает отвращение. Уходите отсюда. — И я ушел.

Его приходили арестовывать четыре раза — и каждый раз совершенно случайно его не было дома. Иногда по городу распространялись слухи, что ночью может быть очередная облава на евреев. Тогда я заходил к Гингеру и уговаривал его ночевать у меня. Это происходило вечером. Гингер говорил жене, которая была в другой комнате, Анне Присмановой — она была христианка и ей арест не угрожал:

— Аня, это опять пришел Газданов. Он уверен, что ночью может быть облава и предлагает мне ночевать у него. Что вы об этом думаете?

После долгих переговоров он соглашался и мы шли ко мне. — Откуда у вас эта суетливость? — говорил он по дороге, — и этот хронический страх? Вы должны быть храбрее, вы же кавказец по происхождению. Правда, вы не родились на вершине какого-нибудь Казбека — это смягчающее обстоятельство. Кофе у вас утром будет? Я привык по утрам пить кофе.

Дня через три, встречая меня, он говорил:

— Вот я опять из-за вас провел ночь вне дома, а облавы никакой не было.

За несколько дней до взятия Парижа союзными войсками Гингер пришел ко мне и предложил идти играть на бильярде.

— Вы с ума сошли, — сказал я, — какой там бильярд? Вам надо теперь сидеть где-нибудь в подвале и ждать пока уйдут немцы.

— Ах, эта ужасная ваша трусость, — сказал он. — Чего вы боитесь?

— Неужели вам нужно объяснять? Я не еврей, я ничем не рискую. Но вы способны когда-нибудь подумать о себе?

— Я тоже не еврей, — сказал он, — вы же знаете, что я буддист. Слушайте, тоска смертная, идем играть.

В конце концов я согласился и мы отправились в бильярдную. Кафе, где это происходило, было разделено на две части: в одной была стойка, за которой люди пили те сомнительные жидкие суррогаты, которые подавались в парижских

кафе во времена оккупации, в другой — стоял бильярд. Мы начали играть — и буквально через 10 минут в кафе вошло несколько человек в немецкой военной форме: облава, гестапо. Они арестовали и увели около половины клиентов. Потом один из немцев заглянул в бильярдную, увидел Гингера и меня, молча посмотрел на нас и ушел.

— Видите, — сказал Гингер, — мой расчет был правильный. Что мог подумать этот человек? На это легко ответить: если эти два субъекта в такие дни террора и войны проводят время в бильярдной игре, то это значит, что они по всей вероятности не члены подпольной организации и уже наверное не евреи. Ну вот. А вы боялись.

Он был страстным игроком — всю свою жизнь.

— Многие не ценят Гумилева, — сказал он как-то. — А у него есть неплохие строки. Вы помните?

И в заплеванных тавернах
С поздней ночи до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Сам Гингер неоднократно писал об игре.

Вот изменяется чудесно
Несчастных сдач неправый ряд
Четыре дамы жмутся тесно
И о блаженстве говорят.

. . . . . .

А масть приходит ежечасно
И квинту вражескую бьет
Мне внятен, Эрмий, шепот страстный.
Твоих судеб высокий ход.

— Я вероятно мог бы проиграть состояние, — говорил он. — Но это остается в сослагательном наклонении потому что у меня его никогда не было.

Он был человеком атлетического сложения, любил спорт, солнце, воздух — и так бесконечно тягостно было видеть его медленное угасание в последние месяцы его жизни, смотреть на его руки, которые стали худыми и тонкими, как у ребенка, на его потухшие свинцовые глаза. То, о чем он думал и говорил больше всего в эти дни, была его книга. Он точно хотел подвести итог своей жизни. И когда всё что связывало его с

этим миром — одним из миров — постепенно стало уходить от него, то последнее, что оставалось, это была поэзия.

Средь ночи добровольно пленной
При поощреньи щедрой тьмы
Мы пишем письма всей вселенной,
Живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем как жених невесте
Нам перебоев не унять
Чужим и дальним шлем мы вести
О том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
Не вспыхнут и не возгорят,
Ответных писем не напишут
И с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь
Тонический отживший звон,
Зачем поешь, чего ты хочешь,
Куда из сердца рвешься вон?

О поэзии Гингера можно было бы конечно написать исследование и вероятно это будет когда-нибудь сделано. В общем, о ней надо сказать то же, что о нем самом — ни на кого не похоже, никто не был таким, никто не писал как он. В ней не было соблазнительной легкости, не было пронзительных лирических нот, не было «красивости». Кто кроме Гингера мог бы написать например:

Эстафетный бег являет взорам
Зрелище, которому найти
Невозможно равного: с которым,
Муза, не тебе ли по пути?

Муза, ты бродячему сюжету
Передачи факела верна,
Если ты о жизни скажешь свету.
Об огне ты говорить должна.

Или другое:

Я люблю на себя не похожих.
Пехотинца, месящего грязь,
Иль лубочного всадника тоже,
Под шрапнелью держащего связь.

Я знал Гингера без малого сорок лет — срок долгий для человеческой жизни, видел его в разных обстоятельствах и он был одним из немногих людей, о которых можно сказать, что никакие испытания и никакие соблазны не заставят его изменить тому, о чем он никогда не говорил, но вне чего его нельзя было себе представить: мужество, верность в дружбе, душевная мягкость, которую он старался скрыть. Его суждения о людях были чаще всего неумолимо верны и ввести его в заблуждение было очень трудно, он знал цену всем с кем его сталкивала судьба. Но он никогда не осуждал тех, кто явно заслуживал осуждения, сознавая свое органическое, если так можно сказать, превосходство над ними — превосходство, которое он упорно отрицал.

И вот наступили страшные дни, когда он понял, что он обречен и когда это поняли мы, его друзья. Он давно уже писал об этом.

Не так ли в зрении сердечном
Есть возрасты и времена?
Всё переменно, всё конечно
И жизнь по разному смутна.

Но постоянно умозрима
Успокоительная ночь.
Случайное проходит мимо
Условное уходит прочь.

Дела отчаянья и розни
Бесповоротно отмети:
Ревнуй о том, чтоб к смерти поздней
С бесстрашным сердцем подойти.

В потухших его глазах, в неверном и слабом пожатии его руки, в которой не оставалось силы, чувствовалась последняя усталость, та усталость, за которой неминуемо следует смерть. Он уже не вставал с кровати — и ему больше не суждено было встать. Но то, чего в нем не было, это страха смерти. Он оставался наедине с ней, зная, что борьба невозможна, но я убежден, что того последнего, невыносимого ужаса, который вызывает приближение смерти, он не испытывал. И он ждал ее прихода с тем же непоколебимым душевным мужеством, с каким он прожил всю свою жизнь.

Гайто Газданов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

*

Есть далеко два друга у меня.
Мне оба дороги
по-разному.
Нас разбросала по миру война...
Пишу им.
Отвечаю.
Каждому.
Один — мне редко пишет;
но в письме
такую нежность шлет горячую,
что горячо становится и мне
и радостно, и чуть не плачу я...
Напишет
и надолго замолчит.
Уж лучше б не писал...
Но лучше ли?
Мне говорят: нельзя всё в прошлом жить, —
а письма наизусть заучены...
Второй —
шлет в день нередко два письма.
В театре пишет...
Что ж ему наградою?
Не знаю, влюблена ль я, польщена ль...
Писал в антракте...
был один он —
рада я!
Он каждой мыслью делится со мной:
восторгом, гневом, возмущением;
то преисполнен скорби мировой,
то... от заката восхищением.
Жду писем
от далеких двух друзей —
кто ж мне милей?..

*

В последний раз
мы расставались вечером —
отцвел внезапно почему-то май.
Вот год прошел...
Вновь день встает навстречу нам
и первый утренний звенит трамвай;
шел ночью дождь
и смыл он с неба синего
все пятна туч —
я знаю почему:
и улицы, и тротуары вымыл он —
всё, милый друг,
к приезду твоему.
С вокзала возвратимся
не в трамвае мы:
поток автомашин нас понесет...
Шофер такси
улыбку, нескрываемо-
лукавую, нам в зеркальце пошлет...
И позади останется вокзал —
ты словно
никогда
не уезжал.

*

Нет вести.
Годы.
Часто представляю:
устал ты ждать — и больше не один.
Встречает вечером тебя другая,
спокойней ты, былое вспоминая...
Лишь в волосах —
снег одиноких зим.
Как мыслей невеселых подтвержденье,

тебя во сне я встретила
с другой.
Скрестились наши взгляды на мгновенье...
Прочтя в моем:
"Не надо объясненья",
ушел ты...
тот же,
но уже не мой.
Проснулась.
О, как это утро серо!
Скорей, почтовый ящик отопру...
Гоню сомненья,
снам ведь я не верю...
А если подтвердит письмо потерю —
умру.

Элла Боброва

ЛЕВ ЛУНЦ И "СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ"

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ ГАРИ КЕРНА

*Почти сорок лет прошло с тех пор, как "Серапионовы братья" перестали существовать как литературная группа. За эти годы появилось много статей о значении этой группы в развитии советской литературы. Последней из них является статья "За рабочим столом" Вениамина Каверина, в "Новом Мире" № 9, 1965. В ней Каверин ставит себе целью стереть "белые пятна" в истории советской литературы, но белые пятна в истории самих "Серапионовых братьев" всё еще остаются. Сведений об этой группе мало. Еще нет ни одной книги, полностью посвященной ее изучению. Итак, теперь, когда в Советской России вопрос о "Серапионовых братьях" поднимается, особенно важно знать, какова была их деятельность и каков был характер этой группы.**

"Серапионовы братья" назвались именем литературного содружества из романа Э. Т. А. Гофмана. Они сформировались в одном из культурных центров, который основал М. Горький в Петрограде в первые годы революции, — в Доме Искусств. Здесь многие из будущих "Серапионов" учились технике прозы в студиях Евгения Замятина и Виктора Шкловского в 1919-1920 гг. Их первое собрание состоялось 1 февраля 1921 г. в комнате Михаила Слонимского в Доме Искусств. На собрании присутствовали Илья Груз-

---

* Когда эта публикация была уже готова к печати, в «Литер. России» от 21 янв. 1966 появилось сообщение о выходе книги В. Каверина о «Серапионовых братьях» — «Здравствуй, брат, писать очень трудно» (лозунг группы). **Г. К.**

дев, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Владимир Познер, Елизавета Полонская, М. Слонимский и В. Шкловский. Позже Всеволод Иванов, Константин Федин и Николай Тихонов присоединились к группе. С ней был связан ряд ее друзей: Е. Замятин, Юрий Тынянов, Ольга Форш, Корней Чуковский, Николай Чуковский, Мариэтта Шагинян, Евгений Шварц и др.

О формировании группы "Серапионовы братья" Слонимский писал: "Решили собраться вольно, без устава, и новых членов принимать, руководствуясь только интуицией. Тоже — и в отношении "гостишек". Всё, что писали, читалось на собраниях. То, что нравилось, признавалось хорошим; что не нравилось — плохим. Пуще всего боялись потерять независимость, чтобы не оказалось вдруг: "Общество Серапионовых братьев при Наркомпросе..."[1]

Вера в независимость искусства, в право писателя писать то, что он хочет, была характерна для "Серапионовых братьев", и это возбудило ожесточенные споры вокруг них. Одному критику, которому не понравилось "идеологически пустое место" рассказа Зощенко, "Серапионы" ответили так: "Всякую тенденциозность "Серапионовы братья" отвергают в принципе, как литературную "зелень"... Искусству нужна идеология художественная, подобно тому, как государственной власти нужна агитация открытая, а не замаскированная плохой литературой".[2] *Видимо, главная забота "Серапионовых братьев" была писать так, чтобы произведение было художественно и интересно, какова бы ни была его идеология.*

В вопросах литературного стиля "Серапионовы братья" однако не были единодушны. Официально они разделились на две фракции: "западники" занимались западным авантюрным романом, сюжетом, интригой; "восточники" — народной речью, бытом, психологией.[3] *Но эти группировки сейчас кажутся немного искусственными. Федин, например, в то время писал и психологические рассказы и авантюрный роман. Вообще, "Серапионы" все писали по-разному, по-своему.*

В конечном счете цель у них была общая: создать новую, разнообразную и оригинальную литературу, отражающую возбуждение революционных лет. Хотя они, как группа, и повлияли на целый ряд писателей, но та литература, о которой они мечтали, не могла развиться в Советской России. "Серапионовы братья" разошлись в 1927 г. После 1932 г. многим из них удалось примкнуть к официальной теории "социалистического реализма" и сделаться известными советскими писателями.

Письма, печатаемые ниже, относятся к третьему году существования "Серапионовых братьев" (1923-1924). Почти все из них были написаны Льву Лунцу, одному из двух-трех основателей группы и главному ее теоретику. В июне 1923 года Лунц выехал из России лечиться от порока сердца. Получив литературную командировку в Испанию, он однако сначала приехал к родителям, жившим тогда в Германии. Здесь болезнь его ухудшилась. В июле 1923 г. его поместили в санаторию в Кенигштейн-им-Таунус, а потом в санаторию около Гамбурга, где через 9 месяцев он скончался 23 лет от роду. За эти месяцы "Серапионы" и их друзья писали Лунцу, ободряя его, сообщая ему крупные и мелкие события в России. В свою очередь Лунц написал для годовщины "Серапионовых братьев" в 1924 г. рассказ-пародию "Хождения". Все эти бумаги, вместе с ненапечатанными произведениями Лунца, сохранила сестра покойного, Евгения Натановна Горнштейн. С ее позволения публикуются в первый раз 52 письма из этого архива, в том числе "Хождения". Ей принадлежат все права на перевод и печатание писем.

Эти письма освещают смутное время в истории группы; "смутное" — не только потому, что в учебниках истории советской литературы вряд ли есть что-нибудь о событиях, о которых говорят эти письма, но и потому, что это было время испытаний для "братства". На первом месте стоял конфликт Николая Никитина с остальными "Серапионами", окончившийся изгнанием его из группы. Литературные споры, характерные для группы, в это время стали

особенно остры. Во всем чувствуется всё возрастающая власть партии над литературой. Она особенно ясна, например, в факте снятия пьесы Лунца "Вне закона" с репертуара петроградских театров.

Эти письма значительны и тем, что говорят о некоторых разногласиях в группе. Так, в своих воспоминаниях (1941 г.) Федин задает вопрос: "Можно было бы спросить: кто из Серапионов был "главный"? Никто". И заключает: "В сущности, "главным" был Горький, побуждавший каждого решать задачу самостоятельно, в отдельности".[4] В одном письме к Лунцу Федин в свое время писал: "Ты очень хороший, настоящий и единственный Серапион! Все остальные — суррогат".

В итоге, все эти письма отдают дань Льву Лунцу, как талантливому писателю и яркому человеку. Его успехи, его неудачи, долгая и мучительная его болезнь — отражены в этих письмах. Но больше всего в них видны любовь и уважение, которые его друзья питали к нему. За ними угадывается весь молодой и дружеский характер "Серапионовых братьев".

Письма печатаются в хронологическом порядке для того, чтобы лучше был виден ход событий. Для желающих читать письма того или другого автора дается список писем каждого из них в примечаниях к его первому письму. За исключением писем Л. Харитон и Н. Лунца (отца) письма печатаются без сокращений и с пунктуацией авторов. Пунктуация дополнена там, где она отсутствует в оригинале. Кое-где старое правописание изменено на новое. В прямых скобках проставлены отсутствующие в оригиналах даты писем, окончания недописанных слов и слова, необходимые для связи.

Благодарю Евгению Натановну Горнштейн за любезное позволение напечатать письма из Архива Лунца и за сведения о ее брате. Я признателен Нине Николаевне Берберовой, благодаря посредству которой Архив Лунца попал в

мои руки. Проф. Ричард Бэрджи и Елена Александровна Якобсон также оказали мне помощь.

Принстонский ун-т. *Гари Керн.*

---

[1] Цитируется по автобиографии в сб. «Серапионовы братья о себе». «Лит. записки» № 3, Пб., 1922, стр. 25.

[2] Цит. по письму в редакцию «Ответ Серапионовых братьев Сергею Городецкому», «Жизнь искусства» № 13, П., 1922.

[3] В его последней статье Лев Лунц говорил о трех фракциях в группе: «западники», «восточники» и «центр». «Новый Журнал» № 81, 1965.

[4] Цит. по книге «Горький среди нас», ч. 1, 1941. «Собр. соч.», т. 9, М., Гослитиздат, 1962, стр. 195-6.

1. Л. ХАРИТОН[1] — ЛУНЦУ

17/VI. [1923 г. Петроград].

Лунцик, милый, родной!

Рада за Вас очень, но, хотя и ссорились мы последнее время — скучно без Дома Искусств.[2] Миша[3] в Бахмуте. До последней минуты был уверен, что, если это не Батум, то во всяком случае рядом с Батумом. Пишет, что греет живот на солнце, лазает по рудникам и — сидит без денег. Зощенко изредка меланхолически показывается на горизонте, жалуется, что запил, и даже в Grill-room'e, где подают объедки с крыши,[4] ухитряется напасть на человека с авансом. Высокий блондин[5] отправил семейство на дачу, завален всевозможными редактурами. Румяный юноша[6] пользуется большим уважением в «Правде» (подумайте, ему предложили подвал дать!). Веню[7] ни разу не видела. Тихонов отправил жену в Новороссийск и хочет заработать, чтоб ехать к ней. Англичанин[8] наш пишет пламенные письма — уже чисто личного характера. Полонская[9] живет в Токсове, а по средам у нее здесь собираются остатки Серапионов и иже с ними. Зойка[10] процветает в Правде и усиленно втаскивает в свою компанию меня. Вчера—Левка, завидуйте!—мы с ней летали на гидроплане. Немного разочарована — чувствуешь себя так же твердо и уверенно, как в поезде, только приятнее, ровнее. Зато спускаться — жутко, будто стремительно падает лифт, захватывает сердце. А в общем чудесно. Лунцик, любимый, вдруг стало жарко, распустился наш сад, белые ночи и т. д. Но у меня нет времени для настроений. Левушка, не издевайтесь: я перевожу для Атенея большой роман с немецкого.[11]

Очень боялась сначала, а теперь верю, что выйдет хорошо. Редактировать будет (не ехидничайте, пожалуйста) высокий блондин. Читал первые главы и отнесся весьма одобрительно, не ожидал, говорит. Тоже наглость! Левка, видите, я медленно, но всё-таки провожу в жизнь некоторые свои планы. [...] В Александринском начались работы по «Вне закона».[12] Декорации заказаны Анненкову.[13] Так говорят. [...] Что задержали в таможне? Ведь вы ничего, кажется, и не брали. «За Дон-Карлоса»[14] — гадость. Я разочарована в Бенуа.[15] Левка, дорогой, хотя я и мегера, но ужасно люблю Вас и буду ждать писем. Не ругайте меня — я исправляюсь, и не хандрю больше.

Лида.

---

[1] Лидия Борисовна Харитон (р. 1899) — дочь Бориса Осиповича Харитона, журналиста и председателя Дома Литераторов до его закрытия в конце 1922 г. Одна из группы девушек, к-рые бывали на собраниях «Серапионовых братьев», она особенно дружила с Лунцем. Здесь публикуются отрывки из ее писем к Лунцу, относящиеся гл. об. к «Серапионовым братьям» (письма 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 19, 22, 27, 29, 31, 38, 43, 44, 46), а также отрывки из ее письма к отцу Лунца (письмо 49).

[2] Приказом Зиновьева Дом Искусств закрылся в конце 1922 г. (не как общежитие, но как место собраний).

[3] М. Л. Слонимский.

[4] Крыша — ресторан.

[5] К. А. Федин.

[6] И. А. Груздев.

[7] В. А. Каверин.

[8] Н. Н. Никитин (см. письмо 3).

[9] Е. Г. Полонская — псевдоним Е. Г. Мовшенсон.

[10] Зоя Дмитриевна Никитина, жена Н. Н., урожденная Гацкевич.

[11] «Атеней» — частное издательство в Петрограде (1923-1926). Л. Харитон переводила для него роман Бернгардта Келлермана «Случай из жизни Шведенклея».

[12] Труппа Александринского Театра готовила постановку трагедии Лунца «Вне закона» в Михайловском Театре.

[13] Юрий Павлович Анненков (р. 1890) — известный художник 20-х годов. С 1924 г. живет за границей. Его воспоминания о Зощенке и о Доме Искусств напеч. в журн. «Мосты» № 9, Мюнхен, 1962.

[14] Дон-Карлос — анархический герой «Вне закона».

[15] Пьер Бенуа (1886-1962) — французский писатель, автор романа «Атлантида», к-рый Лунц упоминал в речи «На Запад!». «Беседа» № 3, Берлин, 1923, стр. 259.

2. ФЕДИН[1] — ЛУНЦУ

[Петроград. 21-VI-23 г.].

Милый европеец,

Обнимаю тебя со свойственным мне восточным темпераментом. Блюду невинность Лидочки, женщины нервной и неустойчивой. Она по тебе тоскует. Миша Слоним(ский) лежит на песке в районе Бахмута, на географич. карте в этом месте образовалась дырка: пролежал. Зоя Никитина летает на гидроплане с Баскаковым[2] из «Правды». Развращает Лидочку — та тоже летает (с Чаадаевым из «Красной»).[3] Тихонов без жены, я тоже. Нам грустно, что Серапионов не стало. У Полонской по средам никого нет: читает Мовшенсон[4] переводы. Это, кажется, всё.

Целую тебя. Поцелуй Горького. М. Зощенко очень талантливый человек.

Твой Константин.

Дан в Петербурге в 1923 году июня 21-го.

[на полях]:

Левушка,

Я видела «Гадибук».[5] Ушла в совершенном упоении. Это гениально. Из наших никто не видел, а так хочется поболтать об этом. Вас нет. Как видите, всё то же. Левка, родной, завтра иду смотреть Жданову в «Обетованной земле».[6]

[Лидия Харитон].

---

[1] Константин Александрович Федин (р. 1892) был введен в группу «Серапионовы братья» Максимом Горьким; принадлежал к фракции «Восточников». Свою связь с группой Федин излагал в речи «Автор и тема». («Лит. газета» № 21, Л., 1936) и в книге воспоминаний «Горький среди нас». (Собр. соч., т. 9, М., Гослитиздат, 1962). Статья Федина «Лев Лунц» напеч. в журн. «Жизнь искусства», № 22, Л., 1924. Здесь публикуются все письма Федина, находящиеся в Архиве Лунца (письма 2, 4, 19, 24, 27, 31, 38, 39).

[2] Вероятно, В. Баскаков, редактор стенной газеты «Голос печатника» (1922).

[3] Имеется в виду «Красная газета» (П., Л., 1918-1939). «Чаадаев» — Василий Никифорович Чадаев, автор книги очерков «В гуще повседневности», Л., Госиздат, 1924. См. письмо 5.

[4] Александр Григорьевич Мовшенсон — брат Е. Г. Полонской.

переводчик. Один из его переводов того времени — пьеса «Протей» Поля Клоделя.

[5] Пьеса С. Ан-ского (псев. Соломона Раппопорта) «Гадибук», или «Дибук», была поставлена еврейским театром «Габима».

[6] Пьеса Сомерсета Могэма «Обетованная земля» была поставлена 4-ой студией МХАТ'а.

3. НИКИТИН[1] — ЛУНЦУ

15-7-23. Берлин.

Левушка — милый, дорогой, неоцененный, душа моя, роза Шираза и очаг всех прелестей, прости меня пьяницу. Я — «сволочь» — ты прав. Мне нельзя писать, п. ч. я не умею во время отвечать. Я ждал тебя в Берлине. Мне говорили, что проездом в Шварцвальд ты должен заглянуть и сюда. Потом мне сказали, что ты болен, я в это время собирался обратно и намеревался в Гамбурге нагрянуть к тебе, как снег на голову, без письма — сюрпризом. Сюрприз же вышел плохой, п. ч. неожиданно я застрял из-за разных документов и прочих несчастий. В это же время узнаю, что из Гамбурга ты уже выехал. Адреса никто не знал. Вот вся история.

Поздравляю тебя. Читал «Беседу». Ты в удивительно чистой, академической компании.[2]

Что с твоим здоровьем? Это очень опасно, надо лечиться. Я худею от суеты, от толкотни, от жары, от неудач, от тоски по Зойке, от удач, от беспутства. Берлин — сплошной б....к. Каждый день думаю — когда же я отсюда выберусь. Вожусь здесь с Зайцевым и Ремизовым. Страшно жалею, что не застал Горького, мне кажется, что он на меня сердится. Повидимому — моя совместная поездка с Пильняком ему не нравится. Я человек тихий, — Пильняк — модник и рекламист. Мы люди — разные, мы сойдемся в вагоне, в квартире, в кабаке, за рюмкой — но душой, повидимому, никогда.[3]

Лондон — обстоятельный город. В Англии жить удобно и спокойно. Если бы тебя поселить рядом с Британским Музеем, ты бы остался там на всю жизнь. Я к несчастью этого ценить не умею. И не люблю музеев. Не потому, что не люблю культуры, а просто не понимаю вкуса вещей, разложенных акуратно на полках, где смотреть можно, а изучать нельзя. Мне, чтобы понять, надо впиться зубами.

Запад — должен раздвинуть черепную коробку. Но сидеть

здесь нельзя. Если не бывать в России, тут можно сдохнуть. В России — глухая китайская стена, Россия — ночь, но мы должны быть светляками, наше место там. Мне свободнее здесь, но я не чувствую стен, в которые можно было бы опереться, чтобы почувствовать сопротивление, потому всякий писатель здесь, как болван, с отброшенными в стороны руками, но без напряжения.

Брат мой, ты, конечно, вернешься на свою землю?

У Германии — чужое небо и чужая жизнь. Русские здесь, как клопы в уездной гостинице. К ним привыкли, но в несчастной жизни германского народа какие мы лишние, пустые, ненужные.

Был в Потсдаме. Чем то напоминает Петергоф и царскосельские дворцы. Был в Свинемюнде. Это дикое северное море удивительно сиротский имеет вид. Когда я жил, было холодно, ветер, — и в море купались только три, сошедших с ума, толстых немки. Тут же в ямках, закопавшись в песок, сидят молодые немцы с молодыми немками и занимаются о.....м. От этого уехал в море.

Левушка, серапион дорогой, напиши мне о Питере, о Зое, обо всем, только не бери с меня пример, а пиши сейчас же, чтобы письмо застало меня в Лондоне.

Твой Ник.

Mr. Nicolas Nikitin, 20, Handel Mansions. Handel Str. London W. C. 1.

---

[1] Николай Николаевич Никитин (1897-1963) был одним из первых «Серапионов», принадлежал к «восточному» крылу группы. О группе Никитин писал в предисловии к «Избранному», М.-Л., Гослитиздат, 1959. Нек-рые заметки о формировании группы включены в его недавно вышедшие «Три статьи», «Лит. Россия» № 32, 1965. Некролог «Лев Лунц», написанный Никитиным, напечатан в газете «Ленинградская Правда» № 116, 1924. Здесь публикуются все письма Никитина и одно из двух писем его первой жены, находящиеся в Архиве Лунца (письма 3, 6, 12, 13, 19).

[2] Намек на печатание трагедии «Вне закона» в журн. лит-ры и науки. «Беседа» № 1, Берлин, 1923.

[3] Дружба Никитина с Борисом Пильняком началась в 1922 г. и скоро стала причиной конфликта в отношениях Никитина с остальными «Серапионами». Нек-рые члены были согласны с мнением Лунца о Пильняке: «Я не выношу его, как человека и не люблю, как писателя» (цит. по статье Д. Г. Цыганковой, «Серапионовы братья и В. Каверин», М., 1957). Горький считал Пильняка нигилистом. У него были

личные причины не любить Пильняка, о чем сейчас говорить преждевременно. См. «О Борисе Пильняке», «Москва» № 5, 1964 (его реабилитация).

4. ФЕДИН — ЛУНЦУ

Петербург, 20. VII. 1923.

Дорогой Лева,

Прежде всего прости, что это мое письмо — ответ на целых три твоих. Они лежат передо мной порыжевшие от солнца, покрытые пылью и каждая буква их, скорбно искривленная укором, пронзает мое бедное сердце. Впрочем, вру — последнее письмо я только что получил и совесть моя мучится только за два.

Левочка, милый! На нашей планете стало скучно. С тех пор, как одни вышли в люди и иначе как томами не печатают своих произведений, а другие — непризнанные — разъехались по заграницам, я постарел еще лет на двадцать. Я волочу свое маститое тело с таким трудом, точно это не тело, а «Русская Мысль» и «Русское Богатство»,[1] комплектами за двадцать дооктябрьских лет. «Мамочка, пожалей своего бедного сына». Это, ей Богу, не под силу. У меня на столе — полтора пуда рукописей для «Круга»,[2] тяжеленный роман Келлермана в воздушно-легком переводе Лидочки,[3] геологические отложения писем и фунтов десять корректур моей «Кн. и Рев.» (Кстати, на-днях я вышлю тебе нов. № с дифирамбами твоему «Бертрану»).[4] За последний месяц я тщетно пробовал писать — больше двух строк не выходило. Это гнусно. Левочка, не женись! Левочка, не рожай детей! Пусть это делает Миша Слонимский, он всё равно пропащий человек. Иначе ты не напишешь ни одного сценария, даже на жаргоне! Кончу о себе. Я — жалкий дачный муж. Щеки мои ввалились, у меня невралгия лицевого нерва и боязнь расстояний (не пространства!). По средам и субботам в шестом часу вечера на проспекте Володарского можно встретить человека с мешком за спиной, с чемоданами и сверточками в руках, иногда с детской ванной, иногда с ведром или корытом, одетого странно и небрежно. К шляпе его прикреплены карманные часы, циферблатом к лицу. По небритым щекам его стекает и падает на землю кровавый пот. Он стремительно догоняет трамвай. Подумать только, что

этот человек еще недавно был жизнерадостным, подающим (хотя бы правому крылу литературы) надежды молодым Серапионом! До чего доводит иной раз семейная жизнь!! Левочка, не женись!!!

Теперь о «мелочи». Письма твои читают все. Отвечать предоставляют мне. Я польщен, но полагаю, что Зощенко, Тихонов, Полонская и Каверин — йоркширские свиньи. Впрочем, не теряй надежды.

Зощенко всерьез считает свою работу в юмористических приложениях стоющей. Тоже — дачный муж.

Тихонов написал замечательную поэму — «Шахматы».[5] Я понял ее с третьего раза. Это совсем по-новому и лучше.

Каверин кончил восточн. факультет и, получив звание араба,[6] уехал в Псковскую губернию, наверно, на практику. Задумал новую вещь — «Шулера».[7] Не без участия Тынянова.

Груздев напечатал вторую большую статью в альм. «Петроград».[8] Стал после этого еще краснее. Нос в цвету.

Об уехавших ничего не могу написать. Мишка[9] молчит, вероятно, нет денег. Всеволод[10] где-то ходит. Никитин прислал письмо, в котором, между прочим, такая фраза: «Что в России? Как ко мне относятся?» Я организовал анкету среди крестьянства, рабочих, интеллигенции во всех союзных республиках, чтобы выяснить, как, наконец, чорт возьми совсем, Россия относится к Никитину! Пока ответов не поступало и я ничего не мог еще написать Никитину. На «Никитин в Берлине» делаю заявку! Левочка, друг! Пиши. Твои письма хорошие, Лида плачет над ними по ночам.* Серапионов заставлю писать!

О смерти и прочих пустяках не думай.[12] Поправляйся. Пользуйся европейскими уборными и толстей. Обнимаю тебя. Привет Алексею Максимовичу.[13] Написал ему, что я послал ему еще в апреле свою книжку[14] в Сааров и письмо и жду ответа.

Твой Конст.

Привет всем честным людям и Виктору.[15]

* Врет! По ночам я сплю.[11]

---

[1] Дореволюционные журналы.

[2] Издательство «Круг» (1923-1927) организовалось в Петрограде, в составе А. Аросева, Н. Асеева, А. Воронского, Вс. Иванова, В. Казина, Н. Никитина, Б. Пильняка и К. Федина.

[3] См. письмо 1, прим. 11.

[4] Редколлегия журнала «Книга и революция» (М.-Пг., 1920-1923) в то время: В. А. Быстрянский, И. И. Ионов и К. А. Федин. Новый номер (т. е. № 1, 1924) не вышел.

[5] Поэма напечатана в журн. «Красная новь» № 6 (16), М.-П., Госиздат, 1923.

[6] Каверин учился арабскому языку в Институте живых восточных языков.

[7] Рассказ «Шулер Дье» был переименован 3 раза: «Эдвин Вуд», «Стивен Вуд» и «Большая игра». См. письмо 30, прим. 4.

[8] Имеется в виду статья «Утилитарность и самоцель». «Первая» статья «Лицо и маска» напеч. в заграничном альманахе «Серапионовы братья», Берлин, «Русское творчество», 1922.

[9] М. Л. Слонимский.

[10] Всеволод Вячеславович Иванов (1895-1963) — один из «Серапионовых братьев». Писем от него в Архиве Лунца нет.

[11] Приписка Л. Харитон.

[12] В письмах к Федину Лунц шутил над «своей смертью». См. статью Федина «Лев Лунц», «Жизнь искусства» № 22, Л., 1924.

[13] А. М. Пешков — М. Горький.

[14] «Пустырь», рассказы, М.-П., «Круг», 1923.

[15] В. Б. Шкловский.

5. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

21/VII. [1923 г. Петроград].

Левушка, родной!

Рада Вашему письму, хоть и издеваетесь надо мной. Свинство прямо, хоть бы кто приласкал: вы смеетесь, Зойка рассказывает о «Правде» и через силу старается сделать вид, что мной интересуется попрежнему, Мишка раз написал, что любит — и как в воду канул. Одно утешение остается — высокий блондин. Но там семейные и служебные обязанности. И всё-таки мы с ним часто видимся и совсем хорошими приятелями стали. Мои истерики благополучно прошли вместе с весной, и я стала здоровым, спокойным, занятым человеком. Зойка ругает, что постарела душой. Не думаю, только, правда, не помню, когда смеялась в последний раз так, как случалось в прошлом году.

Прозы писать не собираюсь из товарищеской солидарности: с моим знанием русского синтаксиса я забила бы даже признанных наших право-фланговых. Жаль серапионов, не стоит!

А перевожу серьезно, и работа мне нравится. Только Федин очень придирчивый редактор.

Чадаев, действительно, из Красной, а потому без аристократического второго а.[1] Мне он не нравится, и с Вашим определением могу согласиться, но Зойка протестует.

Сия великолепная женщина толстеет, чернеет и кружит правдинские головы, от шофера до «самого». [...] О серапионах писал Федин, я присоединяюсь к его оценкам. [...] Мишки нет, пить не с кем! Федин — человек положительный и добродетельный, и без Мишки держится твердо. Да, простите за неизящную бумагу, но нам далеко до Вашей европейской изысканности. Николай пишет так, что к сентябрю можно его ждать. Павлик Щег[олев][2] совсем маститым стал. У Евг[ения] Ив[ановича] замечательно острая статья о рус. прозе.[3] Только я не совсем согласна с оценкой одного недурного писателя с голубыми глазами.

Посылаю письмо Рины.[4] Перед Мишиным отъездом мы были у Доминика.[5] Часа в 2 отправили Мишу на крышу. Привез Рину. А письмо — у Зощенки в кармане, только что прочли все трое. Рина начала говорить о своих преследователях, Миша млел. «Особенно один, почтенный отец семейства, которому я написала такое удачное — правда, Миша? — письмо». Стали расспрашивать. Передала текст Давыдовского[6] письма. Зощенко похлопывает по карману, Федин справляется, мужской ли почерк, удивляется любви к детям — совсем в стиле Лунца! Весело, замечательно, а бедный Мишка в восторге даже пить забыл. Рина же относится настолько серьезно, что, право, перестаю верить в ее ум.

Еще анекдот: Вам Ефим[7] на немецкий пароход каравай заготовил, а Миша в Бахмут поехал со связкой баранок, кот. в последний момент сообразил купить Зощенко, и впопыхах забыл положить в чемодан невыразимые, так и уехал с одними рубахами.

А Зощенко менят злит. Его обидчивость[8] доходит до глупости, а эротические разговоры — до похабщины.

Тихонов рассказывает замечательные истории про медведей, поступающих в огородники к кавказским горцам. [...] Левка, пишите, когда будет охота. Поправляйтесь, пишите драмы, сценарии и даже повести. И на премьеру «Вне закона» — приезжайте к нам.

А без вас и Миши — Серапионов нет. Ориентируются на Федина — но этого мало.

Лида.

---

[1] См. письмо 2, прим. 3.

[2] Павел Павлович Щеголев — сын известного историка, историк средневекового искусства.

[3] Е. И. Замятин, «Новая русская проза», журн. «Русское искусство» № 1, 1923. Статья включена в сб. «Лица», Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1955.

[4] Екатерина Васильевна Зеленая, позже детская писательница. В письме, находящемся в Архиве Лунца, Зеленая возражала на шуточное письмо Лунца к ней.

[5] Доминик — ресторан.

[6] Лицо неизвестно.

[7] Ефим Григорьевич — старый служащий Дома Искусств.

[8] Обидчивость Зощенко. В статье «Михаил Зощенко» Федин писал о прибаутке у «Серапионов»: «В самый неожиданный момент, после сурового обсуждения нового рассказа или теоретического спора, вдруг предостерегающе сухо раздавался чей-нибудь голос: 'Зощенко обиделся'. И сразу общий хохот». (Цит. по «Собр. соч.», т. 9, стр. 388).

6. НИКИТИН — ЛУНЦУ

23. 7. 23. Лондон.

Прелесть моя, ты очень обрадовал меня серапионовским письмом. Отовсюду торчат твои косицы и твой взъерошенный голос. Если бы я был в комнате один, я наверное бы плакал от твоего письма. Такая хорошая, путаная юность — ты напомнил мне своим голосом о Д. И.,[1] о наших бранях, о комнате с зеркалом, где сидели с Замятиным,[2] о твоем рассказе про маски и голубую даму.[3]

Не кричи, пожалуйста, что надо у Европы учиться. Это все знают без тебя. Говоря, что Россия лучше других стран (хотя я никак не могу припомнить — действительно ли говорил я это), я совсем не думал **бахвалиться,** — она мне роднее, милее, ближе. Я совсем не требую от себя абсолютной справедливости, ибо ни один народ ее не хочет, ибо ее нет. Для человека вообще в мире два выхода — утвердиться или на добре или на зле. Я утверждаюсь на добре. Я верю в **добро** моей страны. С тех пор, как я побывал в Берлине меня не соблазняет умение рассуждать

спокойно и здраво — т. е. «объективная» точка зрения (Ходасевичская).[4] М. б. мне ехать сейчас в Россию наиболее тяжело, чем тогда — когда я там жил, не выезжая. Но возвращаюсь я, умудренный — здоровье страны не в отыскании ее зла, а в нахождении добра. Т. е., м. б., то, чего **требовали** (паршивое слово) большевики. Должен тебя предупредить, что эту мудрость я почерпнул, отнюдь не толкаясь в передних советских канцелярий, я не был ни в одной, а насмотревшись на заграничную жизнь, вернее, присмотревшись к ней.

Русские — засевшие с Горьким — кто-то ведь около него да группируется, никогда этого не поймут, п. ч. они живут, питаясь отбросами. Мне очень часто приходится пояснять, это нехорошо. Отбросы — это эмиграция, и ее атмосфера. При самых идеалистических мыслях, они всё-таки воняют нетерпимостью и ненавистью, и эмигрантская молодежь (с ней мне приходилось сталкиваться) так же воняет тупостью, как наши комсомольцы. Нетерпимость эта разлита щедро даже в теперешнем Горьком. Так, например, он отказался поддержать своим мнением чудеснейшую английскую организацию **PEN-club**, в которой мы хлопотали.[5] Эта организация международная и защищает профессион. интересы писателей (авторизация, взаимн. помощь и т. п.). Горький мотивировал мне тем, что вряд ли русские писатели, т. е. живущие в России, могут столковаться, они разных направлений — литерат. и политических, т. е. вообще будто у нас сплошная **е.....** Прости, на простом русском слове. Такой аргумент я слышу в первый раз. Соединяться для как.-ниб. нейтральной цели никогда никому не мешала разница в политических взглядах. А «заграничникам», по мнению Горького, **PEN-club** не нужен.[6]

Эта политика — личная. Как и всё в пресловутом Берлине. Оспаривая это, я совсем, дорогой друг мой, не говорил о Европе. Если бы русское государство было богато, надо бы 50% молодежи посылать учиться на Запад. Те же петиметры, что взращиваются в Лондоне или в Берлине, никому не нужны.

Я измотался по Европе. 6 дней тому назад я проезжал через Рур и Бельгию. В Аахене меня чуть не расстреляли. Спасся необыкновенно **чудесно** и необыкновенно просто. Подробности расскажу потом, в Питере. На этих днях я возвращаюсь. Зоинька пишет, что хочет отдохнуть, я тоже, м. б., куда-нибудь поедем на воздух. Я два года сплошняком живу в городе, уто-

мился. Особенно утомляет Лондон. Эти дни я вздохнул, жил на Leigh-on-Sea, английский курорт, купался, ходил под парусами, купался с милыми англичанками — рыжими, как золотые рыбки.

Милый мой, не хандри. Жизнь долгая и хорошая впереди. О Пильняке верно. Чорт с ним. Целую — твой

Ник.

P. S. В Берлине крутился — ты прав. В Лондоне же меня чуть не женили. Чур — молчать! Приезжай скорей к нам на Эрт.

P. P. S. Пиши теперь на Эртелев.[7]

---

[1] Дом Искусств.

[2] Студия Замятина.

[3] Рассказ в печати не появился.

[4] Намек на Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), известного поэта и друга «Серапионовых братьев».

[5] PEN club — международный союз писателей (poets, playwrights, editors, essayists and novelists). 33-й съезд союза состоялся в Дубровнике в 1965 г.

[6] Объяснение этому Горький дал в письме к Ходасевичу. «Новый Журнал» № 29, 1952, стр. 210.

[7] Эртелев переулок в Петрограде.

7. ЭРЕНБУРГ[1] — ЛУНЦУ

Книг сейчас нет. Буду в
Берлине скоро — пришлю.
Пишите мне на адре[с]
«Геликона»:
Bambergerstr[asse] 7[2].

[Гельголанд].
25/7 [23].

Дорогой д-р Лев Лунц,

Спасибо за письмо. Даже не находясь в санатории я привык жить от почты до почты. Идеал: получать письма, самому не писать. Всё же могу сообщить Вам некоторые веселящие душу события. Я долго выбирал куда нам ехать. Решил остров Зельт: морские птицы, тюлени, прибой и пр. Приехали. Море нашли с трудом. В нем купался один немец. На берегу выве-

шивали курсы биржи. Узнав, что доллар [падает?] немец невероятно [одно слово неразб.] и стал нырять, как рыба. Его вытащили и отпоили французским коньяком. Вместо моря имелись витрины ювелиров и меховщиков. В день приезда со мной случилось несчастье. Старое судно дает течь, как Вы сами знаете. А вот мои истлевшие брюки неожиданно дали две дыры, обнажив отнюдь незагоревшие ягодицы. Это было в шикарном кафэ стиля бидермайер. Один из посетителей, старый немец в теннисных брюках абсолютно новых, ударил палкой об стол, так что чашечка в стиле бидермайера сломалась и завопил: unverschämt! Мы сюда приезжаем для Erholung, и должны смотреть вместо моря на ..... иностранных босяков. И при этом еще взымается куртакса. Вы легко поймете, что после этого мы покинули остров Зельт, так и не увидав ни морских птиц, ни тюленей.

Здесь, на Гельголанде, я купил себе клетчатые штаны для верховой езды (хотя остров любопытен тем, что на нем не имеется ни одной лошади) и изумрудные чулки. Я бодр и полн энергии. Остров, кстати, хороший. Доказательства? 1) всюду море, 2) я не знаю сколько сегодня доллар, хотя даже справлялся об этом. Насчет кино спросите у Шкловского.[3] В Германии я никого не знаю. Во Франции есть Delluc (автор книги о Чаплине). Если хотите я могу Вас свести с ним. Я ничего не делаю. Рад буду получить от Вас письмо. Как здоровье? Что пишут Вам из Петербурга? Я давно не имел известий от Е[лизаветы] Гр. Сердечный привет от Любови Мих[айловны][4] и меня.

Ваш Эренбург.

---

[1] Илья Григорьевич Эренбург (р. 1891), известный писатель, сочувствовал «Серапионовым братьям» и написал статью о них «Новая проза», «Новая рус. кн.» №9, Берлин, 1922. В письме к Лунцу от 8 марта 1924 г. Ида Каплан описывала собрание группы, на к-ром читал Эренбург: «Читал на Серапионах Илья Эренбург. Было чрезвычайно торжественное собрание, говорили шепотом и все были очень вежливы. У Эренбурга удивительно симпатичная внешность и он совсем не зазнается. Читал отрывки из романа «Любовь Жанны Ней». Совершенно Диккенс. Серапионы благоговейно слушали, хвалили, Груздев и Федин интересовались судьбой героев и вообще все были страшно вежливы, а когда он ушел — начали крыть, особенно Зощенко, и разо-

блачили совершенно». Здесь публикуется единственное письмо Эренбурга, находящееся в А. Л.

[2] «Геликон» — изд-во в Берлине.

[3] Повидимому, Лунц обратился к Эренбургу с просьбой сообщить ему, кому бы лучше послать свой новый сценарий «Восстание вещей» (см. «Новый Журн. № 79).

[4] Жена Эренбурга.

8. А. СЛОНИМСКИЙ[1] — ЛУНЦУ

1 авг. 1923. Петровский остров, балкон, деревья, котенок на солнышке, Всеволод Иванов в голове неуемной, потому что завтра лекция.

Милый Лева, и мы тоже страшно любим и очень польщены вдвоем письмом, тем более, что Миша свинья, уехал и даже адреса не оставил. Зато и Бог его покарал, избрав для этой цели подходящее орудие в виде Сергея Нельдихена,[2] который продал Мишино зимнее пальто к величайшему ужасу Ефима. И даже Анна Ивановна Ходасевич[3] в панике. Вообще приезжайте, а то без Вас как-то слишком постно. Просвещаю железнодорожных учителей на летних курсах современной беллетристикой и главным образом серапионами, которых выдаю за пролетарских писателей чистой воды. Между прочим, раскаялся насчет Всеволода Иванова — очень серьезный мужчина. Партизаны совсем хороши: крепкий сюжет, да так неповоротливо, неторопливо движется. А «Цветные ветра» так к концу даже захватывают.[4] Только слишком этой словесной густоты понапихано. А еще обожаю Николая Тихонова. Так что рекламирую на весь Цектран.[5] Вас ждут в Париже. Опишите мне Колю, как он вообще, и насколько прелестен, а также расскажите про Вову Познера.[6] Есть ли у Коли Мишина наклонность к женитьбе или наоборот? Кстати, Вам кланяется Славенсон и Московская здравница.[7] На возвратном пути постарайтесь повидать маму: Goebenstrasse 14 bei Fr. Bading, Berlin W. 57.[8]

Мама ждала от Вас какой-то Мишиной рукописи с портретом и биографическим очерком. Просила меня написать Мишину биографию в 1½ листа, но у меня не хватает материала, а к Ефиму зайти нет времени. Лучше напишите Вы. Я пока что послал краткую заметку: героически попал под колесо, которое зато назвал чортовым,[9] очень любит жениться и пить водку,

лежит большей частью на кровати, ходит за сюжетами к Егорову и пр.

Насколько серьезен Ваш эпикардит?[10] Как скоро Вы можете от него избавиться? Когда собираетесь домой (т. е. сюда)?

Спасибо за книжки, которые, конечно, мне передал не Миша, а Зощенко (Миша подарил бы их Нельдихену).

Вот Вам на всякий случай адр[ес] Коли: 10, rue Boulard, Paris XIV. Если мамочка будет передавать для меня германские марки, ради Бога не берите — они хуже всяких советских денег. Коле скажите, что он прелесть, а кстати, расхвалите и меня — я очень дорожу мнением заграничных родственников. Когда будете писать мне, обязательно поклонитесь и котенку, а то Лида[11] обижается. Имя — Дарзи, и цвет черный с белой жилеткой и белыми лампасами. Заумные имена: Лусси, Бусси и Гумызя. Обязательно не забудьте, а то Лиде вредно волноваться.

Профессор Александр Слонимский,
автор комического у Гоголя и разрушитель Эйхенбаума,[12] доктор жеста и мимики (docteur es gestes).

[Приписка]: — Сашка как всегда наврал Вам кучу ерунды. Но Вы не верьте! Возвращайтесь скорей смотреть на нашего маленького. Целуем Вас крепко.

---

[1] Александр Леонидович Слонимский (1881?-1964) — известный пушкинист, брат Михаила. В то время был связан с «Серапионами», как член кружка «Опояза», написал очерк «Техника комического у Гоголя» (П., Академия, 1923). О Лунце писал в статье «В поисках сюжета» («Кн. и рев.» № 1, 1923). Здесь публикуются все его письма к Лунцу, находящиеся в А. Л. (письма 8, 16, 36, 45).

[2] Сергей Евг. Нельдихен (р. 1891) — поэт, член «Цеха поэтов». Напечатал статью о Льве Лунце в журн. «Россия» № 2, 1924.

[3] А. И. Ходасевич (р. 1886) — первая жена В. Ф. Ходасевича.

[4] Вс. Иванов, «Партизаны», повесть, П., «Космист», 1921; «Цветные ветра», повесть, П., «Эпоха», 1922.

[5] Цектран — центральный комитет транспорта.

[6] Николай Слонимский (р. 1894, брат Александра, известный музыковед) и Владимир Познер (р. 1905, бывший «Серапион», французский журналист) ждали Лунца в Париже.

[7] Славенсон — не установлен. Московская здравница — Дом

отдыха для писателей и ученых под Москвой. (Там в 1920 г. была написана «Переписка из двух углов»).

[8] Фаина Афанасьевна Слонимская выехала в Германию в ноябре 1922 г.

[9] Намек на рассказ М. Слонимского «Чертово колесо», напечатанный в сб. «Палата смертников», П., «Круг», 1923.

[10] Эпикардит — каламбур: **эпистолярный** и **эндокардит.**

[11] Жена А. Слонимского.

[12] Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1959) — в то время видный член «Опояза», позже советский литературовед. Слонимский намекает на известную статью Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1918).

9. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

8/VIII. [1923 г. Петроград].

Левка, родной мой, сейчас третий час ночи, только что разошлись серапионы и Евг[ений] Ив[анович] — пили у нас пиво и ели арбузы по случаю Мишиного приезда из Бахмута на побывку. Притащил Федин Ваше письмо, читал его, и захотелось ответить сейчас. Чувствую себя, как секретарь по делам Лунца. Евг[ений] Ив[анович] просит передать привет, и чтоб писали ему хотя бы на мой адрес — иначе не доходят письма. Зощенко обиделся: почему ни в одном письме ни разу его персонально не упомянули? Он достал у Дуси[1] Ваш адрес, собрался писать, написал даже, но письмо оставил в Сестрорецке. Кланяется. Смотрите, исправьте ошибку деликатно, а то мне влетит. Он выпустил в «Радуге» юмористические рассказы — скверное впечатление производит книжонка.[2] А он — серьезно к ней, гордится спросом. Мне за него, за его талант обидно. Евг[ений] Ив[анович] напечатал свою ту статью в «Русском Искусстве»,[3] ждет ответных; едет на месяц в Крым. Людмила Ник.[4] на Нижегородской ярмарке. Веня в Ярославле у жены. Тихонов на-днях едет в Новороссийск к своей, т. к. здорово хорошо продал Воронскому «Шахматы».[5] Теперь о Мише. Приехал неожиданно, загорелый, пополневший, заявил, что ничего, кроме молока, в рот не берет, что на юге — рай, пишет там в комнате, где галдят 5 Шварцев — и хоть бы что. Ночью лежит в степи и разговаривает на мировые темы: родился поросенок с дефектом, нужна операция и т. д. Женщины — домашние хозяйки, на Рину[6] смотреть не хочет, в городе ему

душно. Писал он там много. Когда не стало денег, пошел в «Кочегарку».[7] Там его узнали по портрету из «Литер. Зап[исок]»[8] и сразу дали солидный аванс, а потом предложили руководить начинающими писателями. И вот Мишка предпочитает генеральство в Бахмуте прозябанью в Питере (Питер его особенно возмущает своей неделовитостью по сравнению с Москвой) и во вторник уезжает назад. Зарок насчет млекопитания был нарушен в силу обстоятельств. Но Мишка — как всегда — чудесный. А Зощенко я когда-то считала умнее. Мой высокий блондин, кот. люблю нежно, скоро уезжает в отпуск, а потому пишите мне непосредственно: Бассейная 9, кв. 12, или на Эртелев, где живу уже около месяца. За последние 2 месяца я стала лучше, спокойнее, — действует работа, кот., наконец, чувствую хоть немного настоящей. С Зойкой живем чудесно. Смотрели «Мабузе».[9] Калигари[10] лучше. А Тарзан — замечательная дрянь, от кот. трудно оторваться. Вышел вторым изданием стрелковый,[11] вышел Бунт Никитинский без бунта[12] [...]. Люди вокруг — всё те же. Вне Атенея[13] часто вижу только Зою и Федина. С ним хорошо мне сейчас очень. А зимой с серапионами будет туго: ни Миши, ни Вас. Собираться [будем], вероятно, у Никитиных. Он скоро приезжает. [...] Между прочим, часть Ваших рукописей у Андрея[14] лежит, и Миша утверждает, что он должен был и не успел послать их Вам. [...] Да, в Пушк[инском] Доме выставка соврем. литературы. У меня нашелся Ваш автограф — статья «Почему мы Серап. братья?». Федин советует дать ее и портрет Ваш. Как Вы на этот счет? Да, а Коля пишет замечательные письма: сравнительные диаграммы стоимости женщины в Берлине и Лондоне, хотя бы. А как ему в Аахене револьверами грозили? «Думал, что больше не увижу тебя. Таков закон военного времени!» Письмо оглашалось сегодня при всех, значит это не сплетня. [...] Федин просит, если знаете, сообщите адрес Горького курортный.[15] Ему есть предложение от «Круга».[16]

10/VIII.

Левушка, Давид[17] уехал куда-то, кажется, в Гомель. Перед отъездом написал Вам. Рукописи Ваши еще в цензуре. Еф. Григ.[18] обещал раздобыть. Я адски нервничаю: у меня сейчас гонка с Келлерманом.[19] Конст[антин] Ал[ександрович] издевается, но отчасти сам виноват, т. к. затянул редактуру. Целует

Вас и ждет настоящего письма в ответ на свое. И я также.

Целую Вас крепко и люблю.

Лида.

Бассейная 9, кв. 12.

---

[1] Ида Исааковна Каплан (она-же — Дуся) — одна из девушек, бывавших в то время на собраниях «Серапионовых братьев». Позже вышла замуж за М. Слонимского.

[2] М. Зощенко. «Юмористические рассказы», П., «Радуга», 1923.

[3] См. письмо 5, прим. 3.

[4] Замятина.

[5] См. письмо 4, прим. 5.

[6] Е. В. Зеленая.

[7] Имеется в виду газета «Всероссийская кочегарка» (см. письмо 14, прим. 2).

[8] Намек на сборник «Серапионовы братья о себе» (с портретом группы), журн. «Лит. записки» № 3, П., 1922.

[9] «Доктор Мабузе» — немецкий фильм.

[10] «Кабинет доктора Калигари» — немецкий фантастический фильм.

[11] М. Слонимский. «Шестой стрелковый», рассказы, П., «Время», 1923.

[12] Н. Никитин. «Бунт», рассказы, М., «Круг», 1923.

[13] Изд-во (см. письмо 1, прим. 11).

[14] Андрей Кази — сводный брат З. Д. Гацкевич.

[15] В начале июня 1923 г. Горький уехал из Саарова в Гюнтерсталь, город около Фрейбурга. Подробности в письме № 3 Горького к Ходасевичу. «Новый Журн.» № 29, 1952.

[16] Изд-во (см. письмо 4, прим. 2).

[17] Давид Исаакович Выгодский — журналист.

[18] См. письмо 5, прим. 7.

[19] Имеется в виду перевод романа Б. Келлермана (см. письмо 1, прим. 11).

10. М. СЛОНИМСКИЙ[1] — ЛУНЦУ

Издательство «Атеней»

17 августа 1923 г.
Петербург 6. Литейный 28.

Левка!

С 1-го октября оное (см. выше) изд-во организует серию соглашательских альманахов (Замятин, Федин, Зощенко, Каве-

рин, Тихонов — словом, сам понимаешь). Никаких серапионовых братьев! Редактор — я — и крышка. Шли! Что-нибудь этакое внезаконистое. 50 руб. гон. с листа на улице не валяются.

Левка, милый, я тебя люблю и тоскую, как Зоя по Никитину.[2] Целую! Шли! А ты альманахи уважай и, ради всего серапионовского, убеди Горького и Эренбурга **возможно быстрее** прислать рукописи. **От их рукописей колоссально много зависит.** Я им писал по два письма и трепещу, пока не получу от них ответа. Им **75 руб. гон.** с листа. Ради всего серапионовского! И Ходасевич тоже. И вообще серьезное дело. Я даже опять на юг уезжаю до 1 октября, дабы провести зиму без паники. Изд-во меня содержит, да в окт. подготовит всё технически. Адрес мой: Станция Деконская (Донецкой губ.), рудник Либкнехта, доктору Л. Б. Шварцу, для меня.

М. Слонимский.

[На полях]: — Левка! Торопи Горького и Эренбурга! Торопи! Пусть шлют на адрес изд-ва. Гонорар заплатят немедленно без меня.[3]

[На полях]: — Левушка, кончился перевод![4] Ура! Целую. Пиши. Я совсем одна осталась. Сегодня едет Миша, 24-го Федин приезжает.

Лида.

---

[1] Михаил Леонидович Слонимский (р. 1897) и Лев Лунц были основателями группы «Серапионовы братья». О группе Слонимский писал в своих кратких автобиографиях («Лит. записки» № 3, 1922, и сб. «Писатели», под ред. Вл. Лидина, М., «Современ. проблемы», 1928). Некролог «Лев Лунц» Слонимский напечатал в журн. «Огонек» № 24, М., 1924. Здесь публикуются все письма Слонимского, находящиеся в А. Л. (письма 10, 19, 23, 27, 38, 41, 44).

[2] Зоя Никитина оставалась в России во время путешествия Никитина с Пильняком по Европе.

[3] Произведения И. Эренбурга, В. Ходасевича, М. Горького и Л. Лунца не появились в изданиях «Атенея».

[4] См. письмо 1, прим. 11.

11. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

31/VIII. 23. [Петроград].

Левушка, дорогой, давно от Вас нет ничего. Очевидно, поправка и хорошенькая девица делают свое дело, и мы, скуч-

ные питерцы, отходим на далекий план. Рада, что Вам лучше, и надеюсь осенью встретиться: Актеатры[1] открываются 1-го окт., так что особенно торопиться Вам нечего.

Ну-с, вышел мой перевод.[2] Ввиду его, как выражается Зоя, «семейности» есть много недочетов. Я зла на Федина, и его счастье, что сидит в Москве (последний омут перед пасторальным раем у Соколова — кстати, женился на Лидии Ивановне и уже ждет Никиту — одобрите!).[3] Т. к. ни Федин, ни я картами не увлекаемся, а наш герой даже очень, — в переводе есть целый лапсусный абзац, и меня это злит ужасно, и я утверждаю, что вина редакторская. Ну, да чорт с ним!

Приехал Николай. Ему Англия принесла пользу: посолиднел, стал мягче, заносчивость куда-то исчезла, и, вообще, ужасно милый. С Зойкой они целуются, не стесняясь временем, местом и окружающими. Счастливы так, что нас с Дусей черная зависть взяла. Было несколько достопримечательных моментов, бесконечные приемы — особо «академики», особо серапионствующие (за отсутствием серапионов), особо — пьянствующие. О, Зоя Дмитриевна, чего только не вытворяли в Вашей бедной, но благородной квартире!

Сейчас потихонечку успокаиваемся: ходим на службу, работаем и т. д. Я всё еще живу у них: дома скучно. И вообще скучно: даже Груздев уехал в Бахмут. Миша там редактор исполкомского журнала, Женя Шварц[4] — секретарь. Илья тоже что-то будет делать. Зощенко изредка появляется в Диске,[5] но до Эртелева не доходит. Издал он препаршивую книжонку юмореск,[6] и мне за него стыдно: совершенно утратил в этом отношении чувство меры. Вернулся Веня с новым, по словам Ильи, хорошим рассказом.[7] Я его еще не видела. «Атеней» затевает альманахи. Я в них не очень верю. Опояз завоевывает положение: Эйхенбауму предложили редактировать серию историколит. выпусков, охватывающих последние 30 лет, в стиле пособий для в. уч. заведений, сами «Известия ВЦИК'а».[8] С другой стороны — он, Томаш[евский] и Юр[ий] Ник[олаевич] приглашены к самому деятельному участию в истор.-лит. сборники под ред. Модзалевского, Пиксанова и Оксмана.[9]

Левушка, у меня кинороман с Павлом Щеголевым (у него есть контрамарки). Интолеранс[10] — потрясающая картина, — осада Вавилона, все массовые сцены... словом, я очень жалела, что со мной Павел, а не Вы! А вторая часть Мабузе — тоска!

Левка, я попрежнему делаю глупости и вообще неисправима. Вас люблю ужасно. Хочу видеть ужасно. Хочу, чтобы Вы меня ругнули. Серапионов до октября не будет. Приезжайте, родной! [...]

Поправляйтесь!

Лида.

У Мишки в Бахмуте есть настоящий лисенок!

---

[1] Академические театры.

[2] Б. Келлерман. «Случай из жизни Шведенклея», П., «Атеней», 1923.

[3] Об известном писателе Иване Сергеевиче Соколове-Микитове (р. 1892); см. письмо 31, приписка Федина.

[4] Евгений Львович Шварц (1896-1959) — драматург и детский писатель.

[5] «Диск» — Дом Искусств.

[6] См. письмо 9, прим. 2.

[7] См. письмо 4, прим. 7.

[8] ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет.

[9] Борис Михайлович Эйхенбаум, Борис Викторович Томашевский и Юрий Николаевич Тынянов, вместе с В. Б. Шкловским, были видными членами Петроградского-Ленинградского «Общества изучения поэтического языка» («Опояз», 1915-1930). Борис Львович Модзалевский, Николай Кирьякович Пиксанов и Юлиан Григорьевич Оксман — академики, известные пушкинисты. В 1923 г. появился «Пушкинский сборник» со статьями Эйхенбаума, Томашевского, Тынянова, Оксмана и др. (ГИ. П.))

[10] Американский немой фильм Д. У. Гриффита.

12. НИКИТИН — ЛУНЦУ

25. 9. 23. [Петроград].

Левка — милый и дорогой, вновь соединившиеся супруги шлют тебе послание. Идет второй медовый месяц после заграницы — мы всё так же счастливы, конца нет — а потому, милый, прости за задержку в ответе.

Наши сутки состоят из 24 часов.

Ночь начинается в 1 ..... и продолжается до 12 дня. В 1 час дня мы завтракаем и целуемся, и ложимся «отдохнуть» до 3-х. В три — мы читаем газеты и работаем до 5-ти. В 5 дня мы обедаем, а после обеда целуемся и ложимся опять «отдохнуть»

до 6½. В 6½ мы уезжаем в редакцию, оттуда куда-нибудь на вечер, а в 1 час ночи опять ложимся, чтобы «отдохнуть».

У Зои толстеет живот. Не знаем, что такое... Удивлены. Говорят, что это Nord-Ost, т. е. от ветра надуло флюс, пока еще не заметно, но ведь у женщин на этот счет имеются особые предчувствия, как у собак собачий нюх.

Моя фамилия теперь не Никитин, а Рурский, или Никитин-Рурский. Это потому, что я заваливаю Петербург очерками о Руре.[1] Эта фамилия уже прошла во всех инстанциях. И Зою зовут Зоей Рурской. На старость для кафе-шантана годится.

Так, брат Лунц, женись. И у тебя будет семейная идиллия. Ты будешь творить, а рядом будет сидеть этакая женка и штопать твои носки. А то еще так: ты творишь — а она подойдет ангелом и упрется подбородком тебе в голову, а ножкой в живот, на женском языке это называется блаженством, а ты в этаком положении изволь творить.

Женись, брат Лунц, женись. Будешь часто подбегать к телефону и слушать, как любовники вызывают твою жену, и ты из европейской вежливости должен послушно исполнять их просьбу, и мучиться муками отелловой ревности, видя как она часами висит на телефоне.

Женись, брат Лунц, женись. Она будет обижаться, что ты не подносишь ей каждый день свежих цветов, что делал когда-то на жениховском положении и тысячу раз в день будет спрашивать тебя — любишь ли ты или нет.

Женись, брат Лунц, женись. На второй месяц она станет требовать от тебя зернистой икры и соленых огурцов, а ты должен быть заботлив и внимателен к ней, если бы она даже спросила птичьего молока или коровьих ягод.

Женись, брат Лунц, женись, даже если жена будет иметь готовую тещу, потому что — женитьба вещь совершенно необыкновенная, люди перерождаются, становятся тихими и скромными.

Меня ты не узнаешь: не пью, не увлекаюсь и не занимаюсь романтикой, сочинительство бросаю, п. ч. для солидного человека неприлично заниматься сим вздорным занятием.

Женись, братик Лунц, женись. Жена разгонит всех твоих друзей, я уверен, что из-за козней моей супруги все серапионы

разъехались... один Зощенко пишет «мелочишку» в Вороне[2] и ангажирован на Крышу[3] куплетистом. Ну, да он не в счет.

У меня растет животик. Жена очень гордится этим и, когда хочет похвастаться солидностью своего мужа, всегда демонстрирует это гостям. Вот ты не женат, и некому демонстрировать твоих прелестей.

Целую тебя крепко накрепко, только бы не увидела она, а то письмо по независящим обстоятельствам не дойдет к тебе... Ах, Левка, какие у жен есть штучки, женись, Левушка, женись... точно от столпотворения вавилонского.

Твой Николай.

---

[1] Фельетоны Никитина, впервые напечатанные в журн. «Петроград», вышли отдельной книгой «Сейчас на Западе. Берлин-Рур-Лондон», Л.-М., изд-во «Петроград», 1924.

[2] Имеется в виду «Красный ворон», лит. приложение к «Красной газете» (1922-1924). В 1924-1928 гг. выходил отдельным сатирическим еженедельником под названием «Бегемот».

[3] Крыша — ресторан.

13. НИКИТИНА — ЛУНЦУ

[Петроград. 25-IX-23 г.].

Левка, чудный — он как водится половину наврал. Ну, ничего — это он «творит». Быть может он и проводит время таким образом, или проводил с кем-нибудь в Англии, а я так целый день не бываю дома, ибо занята по горло.

А всё-таки женись, Левка! Женитьба вещь распрекрасная. Пусть муж и устраивает сцены по приходе домой, а зато как хорошо когда о тебе думают, заботятся и есть кому сказать капризным тоном: «Икры хочется».

Пусть каждый раз при телефонном звонке я вижу его входящим с победоносным видом и говорящим: «Полюбовничек к телефону просит». Зато когда оказывается, что это звонила женщина и ему только от сумасшедшей ревности послышался мужской голос, он два часа ползает на коленях и умоляет о прощении.

А в общем, Левушка, чудно живется. Мы занимаемся акробатикой, поем, хохочем, целуемся — а к весне у меня будет девочка. Раздумываем как назвать: Зоя или Павла. Если мальчит, то имя ему будет: Рвотный форт.[1] Не хочу мальчика!

Женись Левушка. Я крепко тебя целую, но так как тебя поблизости нет, я поцелуй передаю мужу.

Люблю!

Твоя Зоя Рурская.[2]

---

[1] Намек на рассказ Никитина, напечатанный в одноименной книге рассказов «Рвотный форт». М.-П., Госиздат, 1922.

[2] В Архиве Лунца хранится черновик письма Лунца к Никитиным от 12 октября 1923 г. Вот отрывки из него:

Дорогие супруги Дурские!

В жизни не видел более нахального письма, чем Ваше. «Женись, брат Лунц, женись!» Да, тебе хорошо говорить это, Никитин! (...)

Уважаемые супруги! Как я уже писал Серапионам (т. е., диктовал сестре письмо к «Серапионам» — Г. К.), я по настоящему разучился писать — «аграфия» называется болезнь. Две недели — учился с начала. Вам — письмо первое, так что не сердитесь за грязь и не смеятись над орфаграфическими ошибками. (Так в тексте — **Г. К.**).

Разводись, брат Никитин, разводись. Тут в больнице такие сестры есть... уа! есть за что ухватиться. Особенно, одна, что каждые четыре часа градусник мне в некоторое место вставляет... Разводись, снова холостую, веселую жизнь поведем, право!

Выходи снова замуж, Зоя, выходи! Что, в самом деле, всего второй муж, а это в 21 год! Стыдись! Пошли Колю к чорту, а я уже берусь высокого брюнета раздобыть... Разводись, право!

14. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

[Петроград. 27-IX-23 г.].[1]

Левушка, дорогой мой, счастлива, что Вы поправляетесь, что наконец узнала о Вас правду. А то только слухи ходили о Вашей болезни. Все поручения исполнила, всем о болезни сообщила, все собираются писать. [...] Хочу по обыкновению написать Вам полную хронику серапионовских событий — она бедная получится. Не вернулись еще Федин, Иванов (у него новая дочь, уверяют, что «Дельфина») и Миша. Мишка соскучился по Вас, редактирует журнальчик а ля еженедельник Красной[2] и в остальное время спит (Мишка утверждает, что последнее — клевета Ильи); там же, в Бахмуте, Женя Шварц;

ему о Вас пишу. Хандрит Илья, загоревший и похорошевший. Тихонов привез с юга чудесные стихи. Кроме прочих достоинств — понятны с первого разу. Веня говорит, что окончательно убедился в правильности Ваших теорий, всё такой же чудесный задира. Вчера в Москву приехал Виктор.[3] Вот кого ужасно хочу узнать поближе. Полонская стала писать очень скверные стихи — даже неловко как-то. Зощенко настолько ушел в мелочи, что страшно. Пополнел, похорошел — совсем штабс-капитан.[4] Мне его жалко. Коля процветает в Петрограде — журнал при Правде.[5] Пишет возмутительные фельетоны о Руре.[6] Как всегда, чудесный малый, пока дело не касается общественных отношений, — и в узко серапионовском, и в широком литературно-публицистическом масштабе. Зойка — красива очень, счастлива до неприличия, меня забыла, как только я ей ненужна стала (я не ропщу, сама, вероятно, поступила бы так же). Эх, Левушка, наша бабья дружба до первого мужчины! А я — попрежнему верна серапионовскому ордену безбрачников (остались только мы с Вами да Илья с Мишей!). [...] Сейчас говорила по телефону с Дусей. Бедная девочка срезалась по химии. Мы с ней очень полюбили друг друга, Левушка.

Меня несколько раз перебивали — я пишу на службе. Поэтому, Левушка, в качестве письма я не уверена.

Буду писать Вам, не дожидаясь ответа.

Часто хочется поболтать с Вами так просто, по душам (не беспокойтесь, не на жилеточные темы), но немножко боюсь — обрежете.

Левка, а я Вас всё-таки ужасно люблю.

Лида.

---

[1] Датируется по конверту.

[2] Имеется в виду журнал «Забой» (1923-1928), ежемесячное лит. приложение к газете «Всероссийская кочегарка». Слонимский основал журнал в Бахмуте (см. письмо 23). «Еженедельник Красной» — приложение к «Красной газете» (см. письмо 12, прим. 2).

[3] В. Б. Шкловский.

[4] Зощенко ранее служил в армии в чине штабс-капитана.

[5] Н. Никитин в то время был членом редколлегии журнала «Петроград» («Ленинград», 1923-1925).

[6] См. письмо 12, прим. 1.

15. ВЫГОДСКИЙ[1] — ЛУНЦУ

Петроград, 27 сент. 1923 г.

Левушка, дорогой, ты теперь на привилегированном положении, потому пишу тебе, не дожидаясь ответа на предыдущие письма.

У нас уже открывается сезон, съезд в полном разгаре. Приехал после заграничных странствий Никитин, вернулся с юга Тихонов, приехал Груздев. Ждем на этих днях Федина и Мишу Сл[онимского]. Вероятно, приедет на этих днях и Виктор. От него была телеграмма из Риги, что он едет в Москву. Оттуда, вероятно, наведается и сюда.

Я тоже, как все приличные люди, путешествовал, но дальше Гомеля не собрался. Побыл там месяц и вернулся на старое — т. е. на новое пепелище. Не помню, писал ли я уже тебе о том, что покинул Дом Искусств и построил себе особняк на Моховой. Вообще это вошло в моду. Квартирой обзавелся Юрик Султанов,[2] обрабатывает сейчас квартиру и Мариэтта,[3] к которой — incredibile —приехал настоящий муж — большой черный человек, который говорит по-армянски, по-турецки, по-персидски, по-азербайджански и вообще по-кавказски.

Вышел уже еврейский альманах,[4] одновременно с письмом постараюсь послать его тебе, если почта не будет чинить препятствий к вывозу такой драгоценности. Кстати, добрый еврей Клейнман[5] на-днях очень просил тебе кланяться. Он всё такой же добрый и пухлый, каким, очевидно, ему суждено быть до 120 лет. А Лившиц[6] всё также обещает «завтра» и дает не раньше, чем послезавтра. Я бы его крепко выругал, но, во-первых, он всё-таки еврей, во-вторых, он кормит меня уже целый год.

Очень хотелось бы знать подробно о тебе, как себя чувствуешь, что делаешь?

У меня лично нового мало. Перевел одну пьесу Голла (Iwan Goll — Methusalem).[7] Она пойдет в «Театре Новой Драмы». Последнее время занялся почти исключительно античной поэзией, зачитался греческими поэтами и пришел к выводу, что Марциалы, Овиды и пр. должны им пятки чесать. Впрочем, заканчиваю всё же Арс Аманди. Перевел один роман Ибаньеса, кажется буду переводить еще один. Это пока единственная дань

романистике. Кстати, Дмит[рий] Констант[инович][8] лишен профессорского звания и оставлен внештатным преподавателем. Когда ты приедешь, ты получишь его кафедру.

Что ты успел написать за это время? Платят ли что-нибудь? Пиши, если сможешь, обо всем подробно. Мой адрес ныне такой: Моховая 9, кв. 1.

Не забывай меня, Левушка. Низко кланяюсь твоему почтенному семейству. Мое семейство, которое грозит в самом непродолжительном времени расшириться (так говорят те, кто видит Эмму), приветствует тебя. Приветствует и Люся, которая тоже приобщилась к моему семейству и поселилась в одной из многочисленных комнат моего дома.

Давид Выгодский.

[Приписка]: — Левушка, дорогой, вполне напрасно уехали из России, лучше русского еврея никого не найдете. Очень по Вас скучает бывшая тридцатая квартира. А мы уже приобрели особняк на Моховой, думаем жить широко, обзаводимся уже не котятами, а зверятами покрупнее. Миша Слонимский без Вас увял окончательно. А что у Вас? Не забывайте Давида (а я сама уже как-нибудь не забудусь). Верная Вам

Эмма Давид-Исааковна.

---

[1] Давид Исаакович Выгодский (189?-19?) — журналист, переводчик, друг «Серапионовых братьев». Статья Выгодского о Тихонове напеч. в журн. «Книга и революция» № 2, 1923. Здесь публикуется единственное письмо Выгодского, находящееся в А. Л. Приписка его в письме 38.

[2] Ю. Н. Султанов — сын Е. П. Летковой-Султановой (1856-1937), писательницы.

[3] М. С. Шагинян.

[4] «Еврейский альманах», П.-М., «Петроград», 1923. В нем появились рассказ Лунца «Родина» и переводы Выгодского.

[5] И. А. Клейнман — редактор «Еврейского альманаха».

[6] Яков Лившиц — журналист.

[7] Иван Голл (р. 1891) — немецкий писатель и драматург.

[8] Д. К. Петров (1872-1925) — специалист по романским литературам и языкам, был профессором Лунца и Выгодского в Петроградском у-те в 1918-22 гг.

16. А. СЛОНИМСКИЙ — ЛУНЦУ

[Петроград. 8-X-23].[1]

Дорогой, милый и хороший, прехороший Лева, обнимаю и целую Вас по случаю Вашего выздоровления. И Лида[2] тоже — с моего разрешения — целует Вас нежно в обе щеки. Поправляйтесь скорей и возвращайтесь — все без Вас очень скучают. Даже бородатый украинец умилился, узнав о Вашей болезни, и обещает приготовить Вам пачку особенно надушенных папирос, когда Вы вернетесь. Хотел было послать Вам «Технику комического у Гоголя», чтобы Вы меня больше не трогали, да побоялся, как бы там одно примечание насчет Эйхенбаума не повредило Вашему здоровью. Очень жалко, что Вас не будет в декабре, когда у нас ожидается приращение семейства. Вы бы посоветовали, как его назвать. Т. к. теперь можно брать имена не из святцев, то я хочу назвать сына «25 октября». 25 октября Александрович — это звучит гордо. А уменьшительное будет Двадцатьпяточка или просто Пяточка. Да: должен Вам сообщить крайне неприятное для Вас известие... Вы соберитесь с духом, чтобы мужественно выдержать удар: Вас вычеркнули из списков научных сотрудников 2-го разряда Российского Института Истории Искусств, и виной этой жестокости не кто иной, как злодейский Виктор Максимович.[3] Тщетно я отстаивал Ваши права на это высокое звание, доказывая, что Вы на моих глазах в Сандомуче[4] теряли на всех столах Бальзака, с остервенением сокращали Жакерию и даже писали к ней ученое предисловие (масса эрудиции: «Проспер Мериме родился в .....»). Но Виктор Максимович, в ответ на всё красноречие, усумнился, насколько Вы вообще дорожите Вашим званием. Впрочем, не отчаивайтесь: В. М. выразил убеждение, что Вы по возвращении будете восстановлены в своем звании.

Возвращайтесь! Миша сделался редактором «Атенея» (т. е. Утевского) и будет печатать полное собрание всех Серапионов. Вот видите как хорошо! Продиктуйте несколько слов ко мне — очень рад буду услышать Вашу интонацию и почувствовать Ваш жест. Напоминаю адрес: Петровский пр. 2, Институт народного образования.

Ваш А. Слонимский.

[Приписка]: — Милый Левушка, если бы знала, что Саша сейчас Вам отправляет письмо, то написала бы отдельно и по-

больше, а пока тороплюсь сказать Вам, что страшно рада Вашему выздоровлению, очень без Вас скучаю, хочу скорей Вас увидеть и показать своего маленького. Пишите непременно.

Ваша Л. С.

---

[1] Датируется по конверту.

[2] Жена А. Слонимского.

[3] В. М. Жирмунский (р. 1889) — в то время председатель Разряда истории словесных искусств при Институте, был связан с кружком «Опояз»; сейчас — академик.

[4] «Сандомуч» — Санатория Дома ученых в Петрограде. Там Лунц лечился от порока сердца в январе 1923 г.

17. КАВЕРИН[1] — ЛУНЦУ

Петроград. 9/X. 23 г.

Дорогой Левушка!

Я виноват перед тобой, дружище, но мне показалось, что ты несколько холодно простился со мной и поэтому я ждал твоего письма или приписки и не хотел писать первый. Я тебя люблю, дорогой мой, и поэтому был ужасно огорчен, услышав, что ты нешуточно болен. Вчера я видел Лиду Хар[итон]. Она говорила, что теперь ты должен был уже встать. Выздоравливай скорее, друже, не отлеживай з.....ы под заграничным одеялом.

Я скучал по тебе, последние месяцы особенно. Чорт возьми, ты оказался прав насчет сцепки эпизодов, мотивированности каждого момента, динамичности развертывания и прочей дряни. Больше того — я пустил в трубу мою фантастику — всё это крапленые карты — авторская рука единственная мотивировка событий, а стало быть, они ничем не мотивированы, к дьяволу.

За лето я написал «Шулера Дье».[2] Понимай фамилию по-французски (Dieu). Много возился, кое-что вышло, но в общем только наметился путь к некоторым эксцентрическим фигурам и к России. Не стоит писать об этом, если напечатают, пришлю непременно.

Что тебе писать о друзьях? Я летом уезжал под Ярославль, на Волгу и никого не видел. Когда вернулся не застал ни Тихонова, ни Федина, ни Слонимского. Первый в Новороссийске, второй в Смол[енской] губернии, третий в Бахмуте, куда недавно отправился и Илья.

Все они пишут. Не знаю писал ли тебе кто-нибудь о поэме Тихонова «Шахматы».[3] Он много работал над ней и вышла, по

моему, любопытная штука. В ней он сам себя обезоружил тем, что не употребил ни одного из своих выигрышных приемов, изменил даже синтаксис, не воспользовался ни намеком на динамичность своих прежних стихов — вещь абсолютно неподвижна — и всё-таки сумел написать, по моему, исключительную вещь. Вообще он чудный малый, Коля, и никто из нас не работает так честно, как он.

Костя кончает роман.[4] Он попрежнему редактор Круга. Мишу я давно не видал, читал его последний рассказ «4-ая ставка», — ни рыба, ни мясо — так себе. Как будто лучше «6-го стрелкового»,[5] хотя цифрой и меньше. Илья написал прекрасную статью, вдруг выпустил когти из толстой ж... и обругал целую кучу писателей. Называется «Утилитарность и самоцель»[6] Очень остро и умно написано. Боюсь, что сообщаю тебе старые новости, дружище.

Мне почему-то кажется, что этой зимой литературный фронт оживится. Чувствуется какой-то напор и свежесть.

Вчера впервые увидел Никитина после его поездки. Он выпустил нечистую книгу, «Бунт»,[7] половина в ней неприкрытая дрянь и халтура. Ему ужасно вреден успех. То, что он чувствует себя известным писателем обходится ему дороже его славы. Он собирается писать Алтайскую (против ожидания, не английскую) повесть.[8] Если не сорвется — то всё у него будет ладно. Ужасно интересно, что теперь пишет Всеволод? Он в Ялте, никому не пишет и, говорят, приезжать не собирается.

Зощенко уединен, молчалив попрежнему и много халтурит.

Правда ли, что приезжает Виктор? Видишься ли ты с ним [?] Что пишешь, как живешь, собираешься ли к нам, Левушка?

Мы с Лидой (Тыняновой)[9] вспоминаем тебя на каждой тарелке, сковороде или сахарнице. Лида[10] кланяется тебе и целует. Мы живем с нею чудесно и не жалеем, что поженились, честное слово.

Тебя все вспоминают часто. Соломенные Лида Хар[итон], Дуся и Анна Ив[ановна][11] в особенности. Не собираешься ли ты жениться? Если да, то напиши мне заранее, чтобы я мог исподволь приготовить твоих жен к печальному для них известию.

Впрочем, всё это ерунда, прости за глупости и т. д. Я жду от тебя письма — как Бог свят честно отвечу.

Моя книжка вышла[12] — от этого пострадает только один человек на земном шаре и этот человек я. Если ты меня любишь, то два человека на земном шаре и второй — это я.

Поздно. Я иду спать. Может быть, завтра я напишу тебе всякую всячину о том, как нужно нам писать, по моему. Я кое-что насчет этого думал. Пока целую тебя крепко, друже.

Твой Веня.

Мой адрес: Петроград, Проспект Карла Либкнехта, дом 32, кв. 18. Зильбер.

---

[1] Вениамин Александрович Каверин (псевдоним В. А. Зильбера, р. 1902) и Лев Лунц были самыми молодыми «Серапионами», самыми близкими друзьями и самыми убежденными «западниками». Они стремились к новому направлению в литературе, — сюжету и движению. Лунц, в письме к Горькому от 16 декабря 1922 г., писал: «Зильбер — единственный со мной во всем согласный. И он работает над движением. Пока выходит — тоже не первый сорт. Но это пока! Ему 20 лет!» (Архив Горького, Москва). В 1922 г. Лунц посвятил свою повесть «Родина» Каверину, изобразив в ней своего друга («Еврейский альм.», П.-М., изд-во «Петроград», 1923). В свою очередь Каверин изобразил Лунца в своем рассказе «Большая игра» (см. письмо 30) и посвятил ему повесть «Конец хазы» (альм. «Ковш» № 1, Госиздат, 1925). О своей приверженности к теориям Лунца Каверин писал в кн. автобиографий «Писатели», М., 1928. Об отношении своем к Лунцу Каверин писал в недавнем «Очерке работы» («Собр. соч.», т .1, М., Гослитиздат, 1963). См. предисловие. Здесь публикуются все письма Каверина, находящиеся в А. Л. (письма 17, 18, 19, 28, 34, 38).

[2] См. письмо 4, прим. 7.

[3] См. письмо 4, прим. 5.

[4] «Города и годы», Л., Госиздат, 1924. Роман сначала был назван «Еще ничего не кончилось» (см. журн. «Россия» № 4, М., 1922).

[5] Рассказ «Четвертая ставка» напеч. в лит. альм. «Петроград» № 1, П.-М., 1923. Рассказ «Шестой стрелковый» напеч. в одноименной кн. рассказов. П., изд-во «Время», 1922.

[6] См. письмо 4, прим. 8.

[7] См. письмо 9, прим. 12.

[8] М. б., это шуточный намек на «Алтайские сказки» Вс. Иванова. — «Кр. новь» № 2, 1921.

[9] Лидя Николаевна Тынянова — жена Каверина.

[10] Лида — жена Каверина.

[11] А. И. Ходасевич.

[12] «Мастера и подмастерья», рассказы, М., «Круг», 1923.

18. КАВЕРИН — Н. ЛУНЦУ[1]

Петроград. 15/X. 23 г.

Многоуважаемый г-н Лунц!

К Вам пишет один из друзей Вашего сына. Вчера я получил крайне тревожное сообщение о его болезни. В течение долгого времени никто из наших общих знакомых не имеет от Левы никаких известий. Всё это заставляет меня затруднить Вас своим письмом и просить Вас сообщить мне о его здоровьи.

Лева — мой лучший друг, его здоровье и жизнь дороги мне бесконечно, Вам понятна, поэтому моя тревога и Вы, я надеюсь, исполните мою просьбу незамедлительно. Еще раз простите за затруднение, причиняемое Вам этим письмом.

В. Каверин.

Мой адрес: Петроград, Проспект Карла Либкнехта д. 32, кв. 18. В. Зильберу.

---

[1] Натан Яковлевич Лунц — отец Л. Лунца.

19. СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ — ЛУНЦУ

[Петроград. Октябрь 1923 г.].[1]

Дорогой Левка, брат-серапион, вступив во вторую половину труднейшего и ожесточеннейшего нашего пути, между шхер, рифов и прочих морских штук, шлю: — 1-ое: объятие, морским узлом; 2-ое: канат — для того, чтобы бить серапионов; 3-е: об остальном скажут серапионы.

Зоя больна.

Николай.

Левушка, я тебя очень люблю. Видел Виктора в Москве. Он о тебе рассказывал. Серапионы собрались все, кроме Всеволода. Всеволод пишет великосветский роман.[2] У него в Крыму какая-то княгиня. К серапионам вернется вряд ли. Послал тебе журнал «Забой», орган Донецкого Губкома. Редактор для издевательств я. Левка, я тебя чрезвычайно люблю.

М. С.

Левушка, жалко, что тебя нет, что ты один, а нас, академиков, много. Хорошо, что ты поправляешься.

Целую крепко в уста и в лоб.

Твой Конст. Ф.

Зачеркнула Лида из ревности.

К. Ф.

После Федина невозможно писать. Федин романы пишет. После него мой стиль пропадает.

Левушка! Ли —

Лай!

Целую нежно и всё такое. А сын мой, Валька, умеет говорить — Люнц.

Миша Зощенко.[3]

Милый Левушка. Люблю тебя бесконечно и скучаю безмерно. Очень рады тому, что ты поправляешься. Левка, ты бы обхохотался, если бы видел Слонимского в роли провинциального редактора. Я имел счастье наблюдать в Бахмуте. Милый Левка, не сердись на нас. Мы тебя помним и всегда вспоминаем.

Твой Илья.[4]

Дорогой друже! Не пишу тебе, что люблю, ты это сам, Левушка, знаешь. Будь здоров, золотой мой, поправляйся хорошенько. Пиши. У меня вышла книжка.[5] Сегодня ее послал тебе. Не знаю дойдет ли. Жду от тебя письма. Целую крепко.

Твой Веня. Лида кланяется.

Дорогой друг! Прости, что я молчал долго. На-днях я пишу тебе большое, но подробное письмо. Живу всё там же и тем же. Вспоминаю тебя очень, очень... Читаю твои вещи друзьям и знакомым. Ты — великолепный человек, Левушка, береги себя... Осень в этом году очень рабочая и хорошая. Серапионы мобилизовались снова, после летнего отдыха. Подробности в письме. Привет от Маруси.[6]

Твой Николай Т. —

Левка, милый, дорогой, люблю и целую. Мишка тоже. Пишу длинное письмо.

Лида.

Целую тебя еще раз и еще.

Миша Слоним[ский].

---

[1] Датируется по письму 22.

[2] См. письмо 20, прим. 14.

[3] Отдельных писем от Михаила Михайловича Зощенко (1895-

1958) в Архиве Лунца нет. Вторая приписка его находится в письме 33.

[4] Илья Александрович Груздев (1892-1960) — биограф Горького. В то время был критиком. Отдельных писем от него в Архиве Лунца нет. Вторая приписка его находится в письме 33.

[5] См. письмо 17, прим. 12.

[6] Марья Константиновна Тихонова, урожденная Неслуховская.

20. ТИХОНОВ[1] — ЛУНЦУ

[Петроград. Октябрь 1923 г.].[2]

Милый Лева,

Я был растроган совсем, получив твои каракули, старый грешник. Да, Лева — это было свинством: я тебе не писал. Но я всё помнил: и старуху, у которой я выставил окно, и нашу комнату, в которой теперь чудит, кажется, Чудовский, и корридор и конец корридора и все наши полночные заговоры и разговоры.[3] Как можно забыть Левку. Даже когда я лазил по горам — я этим летом — но подробности ниже. Одним словом, Левка, целую тебя и сжимаю в объятьях и желаю самого лучшего. А теперь я буду рассказывать тебе обо всем, буду кляузничать, как последняя торговка, чтобы ты узнал всё, всё — ты Серапионовский аванпост (форпост), одним словом — ударная группа Серапионов, которой придется в ближайшем будущем говорить и делать еще больше, чем она говорила и делала до сих пор.

Так слушай — пусть исцелятся все твои язвы.

Wake! For the sun, who scatter'd into flight.[4]

Островитяне.[5]

Сергей Колбасьев[6] делал прогулку по Афганистану. Растолстел, как кабульский боров — поздоровел — привез 1001 рассказ, афганские подтяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек и уже уехал снова: в Гельсингфорс на 1 год. Жди от него письма. Верочка — слушай, Лева — Верочка на-днях подарит ему маленького афганца, ребенка, который еще до появления на свет без визы проехал в Азию, обратно, в Финляндию и т. д. Чудо конструктивизма.

Сергей настроен очень хорошо. Мы сидели с ним у печки, пили портвейн и говорили, как нанятые. Не доставало тебя, Лева. На месте Сергея любой из нас написал бы целую книгу о бое баранов, о бое соловьев, о беге слонов, об эмире-шоф-

фере, об этой афганской сутолоке, а я боюсь, что он не захочет писать.

Елизавета Полонская — если бы ты видел ее портрет в Пушкинском Доме на выставке. Это — императрица — величие и спокойствие.

Она написала поэму: В петле, которую не берут печатать, потому что она левей левого.[7] Шура Мовшенсон[8] организует сверх-театр: Паятели касок — т. е. ваятели масок.

Костя Вагинов[9] худеет, как воробей. Я его очень люблю. Смотрит на всё спокойно. Глаза у него, как у мухи — граненые, и видит он всё перевернутым под 1000 углов. Пишет сейчас мало.

Я — Левка, я отлично провел лето. Был в Токсове, в Карелии, как пышно пишет Шагинян — бессмертная Мариэтта, был на Кавказе, ел фрукты, жрал фрукты, уписывал фрукты, бараны, армянская водка, море, а горы, а горы, а горы.

Левка, почему не было там тебя. Какие гречанки, какая кефаль, какие пестрые сволочи из туземцев — одно удовольствие. Писал, использовал юг до последнего: так и назвал стихи: Юг.[10] Летом написал первую часть поэмы «Шахматы». 300 строк. Все ругают за сложность. Не могу без сложности. Ты — западник. Ты поймешь. Такой композиции нет в русской поэзии, а брань на шее не повисает, — как говорят русские туземцы. Одни стихи мне уже вернули, заплатили деньги и вернули. Другие стихи вернули с извинениями: если редактор ничего не понимает, то как же поймет аудитория. Веселые ребята, Лева. Один Воронский храбро не читая, взял печатать.[11] Хвала ему.

Теперь: Всеволод Иванов. — В Ялте. Родилась у него дочь. Он колебался, как ее назвать: Скумбрия, Кефаль или Дельфин. Выбрал последнее: Дельфина. Крестный у него Рогинский!![12] (На коленях адмирал). Крестная — Стырская...[13] Написал рассказ из жизни великосветских людей: баронесса Кора кроет всех графов матом и торгует «Известиями». [Два слова неразборчиво]. Но у него хороший рассказ: Дом, в Красн[ой] Нови, — совсем другой.[14]

Веня Каверин: Веня — мой друг и союзник, проклятый западник — он пишет одну за другой великолепные вещи: **Бочку** и **Шулера Дье.**[15] Здорово пишет, обалдетно пишет. И тоже сложен, трехэтажен, непонятен «аудитории» — Лева, ты

бы порадовался если бы услышал «Шулера». У него там такие курильни, тюрьмы в бреду и игра на Владимирском, в клубе, где он усадил за стол всех серапионов, что пальчики оближешь. Веня — молодец. Быть ему русским Фаррером или Честертоном.

Что говорить о Мише. Он лазил под землю, организовал соленый, подземный журнал «Забой», и приглашает в него Горького, Рабиндранат Тагора и Ромен Роллана сотрудничать. «Подземный Забой» — как это тебе нравится? Он говорит, что почувствовал себя пролет. писателем и написал повесть «Машина Эмери».[16]

Костя Федин хорошеет. Кончил первую часть романа:[17] читал. Хорошо. Немного стиль в иных местах отдает спокойной, стариной — но это ничего. На такой роман руку поднял храбрый муж — во цвете и силе. Добро ему. Дочка его уже прыгает.

Миша Зощенко — маститый и почтенный, горд и попрежнему томен. Сын его уже знает сколько стоит червонец ежедневно. Он отец серьезный. Пишет большую повесть. Не знаю, что выйдет.

Коля Никитин — редактор — персона — вершина, заказывает рассказы и стихи, еще ничего не читал из написанного. Фельетоны его «Путешествие в Рур»[18] можно с легкостью пустить путешествовать к центру земли. — Лева — серьезно, фельетоны — плохи. И плохо то, что там не мысли хромают, и не стиль, а наоборот: всё гладко — но всё ростом в 2 вершка и газетно — только газетно и всё впопыхах и с ветерка, с чужих слов. Бедный Коля! Пильняк хитрей, Пильняк, отбросив всякий «белый» стиль,[19] написал пару хороших, честных фельетонов об Англии и за это его грызут газеты — но я не хочу писать тебе о Пильняке...

Илья, — мое письмо кончается и я вижу, что я не рассчитал места. Илья — золото, Илья всё тот же пурпурный палимпсест.[20]

Лева, милый, я о многом по недостатку места не мог написать. — Напишу в следующем. Зарабатываю я плохо, и мои финансы ходят, как волки с оскаленной пастью и рыскают.

Маруся здорова.

Ну, goodbye for the present, my friend.

Не удивляйся. Я зубрю английский и уже перевожу Теннисона и Омар-Хаяма.

Н. Тихонов.

Адрес мой: Зверинская 2, кв. 21. Ради Аллаха, напиши, что получил письмо, Лева — милый. Помнишь, как ты ночевал у нас?

---

[1] Николай Семенович Тихонов (р. 1896) был последним, присоединившимся к «Серапионовым братьям». Он с Елизаветой Полонской были единственными поэтами в группе. Стихотворение Тихонова «Льву Лунцу» напеч. в 1-ом томе «Собр. соч.», М., Госиздат, 1958. Здесь публикуются все письма Тихонова, находящиеся в А. Л. (письма 19, 20, 38, 40).

[2] Датируется по письму 19.

[3] Речь идет о Доме Искусств. Валерьян Чудовский — историк театра.

[4] Первая строка поэмы «Робайат» Омар Хаяма в переводе Эдуарда Фицджеральда.

[5] «Островитяне» — кружок поэтов и издательство, основанные в 1921 г. К кружку принадлежали Константин Вагинов, Петр Волков, Сергей Колбасьев, Елизавета Полонская, Всеволод Рождественский, Николай Тихонов и др.

[6] Сергей Колбасьев — поэт, автор поэмы «Открытое море», Пб., 1922.

[7] Поэма «В петле» в печати не появилась.

[8] См. письмо 2, прим. 4.

[9] Константин Вагинов (1900-1933) — поэт, автор кн. стихов «Путешествие в хаос» (П., «Кольцо поэтов», 1921)

[10] Из цикла «Юг», альм. «Лит. Мысль» № 3, Л., 1925. Стихотворения вошли в «Собр. соч.», т. 1, М., 1958.

[11] См. письмо 4, прим. 5. Александр Константинович Воронский (1884-1943) — редактор «Красной нови». В декабре 1927 г., после выпадов ВАПП'а, Воронский был отстранен от должности, и на его место был назначен Вс. Иванов. В 1937 г. Воронский был сослан в Сибирь, где и умер. Недавно был реабилитирован.

[12] Томас Рогинский — поэт, в 1921 г. член студии «Звучащая раковина» Н. С. Гумилева.

[13] Елизавета Яковлевна Стырская (р. 1898) — поэтесса, автор кн. стихов «Мутное вино», М., 1922.

[14] «Великосветский рассказ», в форме, к-рая здесь описывается не появился в печати. «Хороший» рассказ, м. б., — шуточный намек на рассказ «Заповедник» (1924). Первая глава этого рассказа названа «Дом на Опоясанной скале». См. письмо 40, прим. 10.

[15] Рассказ «Бочка» впервые напеч. в журн. «Русский современник» № 2, Л., 1924; вошел в «Собр. соч.», т. 1, М., 1963. Рассказ «Шулер Дье» — см. письмо 4, прим. 7.

[16] М. Слонимский. «Машина Эмери», рассказы, П., «Атеней», 1924.

[17] См. письмо 17, прим. 4.

[18] См. письмо 12, прим. 1.

[19] Т. е., литературный стиль Андрея Белого.

[20] Намек на рассказ «Пурпурный палимпсест» Каверина, напеч. в сб. «Мастера и подмастерья».

21. ПОЛОНСКАЯ[1] — ЛУНЦУ

[Петроград. Осень 1923 г.][2]

Левушка. Я, конечно, свинья, но всё-таки пусть у вас будет письмо и от свиньи.

Ужасно была огорчена вашей болезнью и тысячу раз собиралась писать вам (Лида — свидетельница), но по малодушию и лени ничего не вышло.

Нужно придумать аппарат, нечто среднее между кассой «Националь» и беспроволочным телефонофотосейсмографом. Вы меня понимаете. Это облегчит существование и вполне заменит романы в письмах.

Левушка, милый. Я вас очень люблю. Из серапионов вы самый серапионистый. Следующим по степени серапионистости идет Федин, но вы серапионее его. Федин, да и все прочие стали великими и маститыми, а Никитин тот даже редактирует Петроградскую Правду.[3] А Всеволод тот пишет великосветские романы.[4]

Но вы, Левушка, не огорчайтесь и не жалейте о том, что уехали из Питера. У вас теперь жизнь поинтереснее. А здесь учиться нельзя, надо давать рассказы в Красную Ниву и в Красный Ворон. А также в Красную Дрезину.[5] Вчера вечером вспоминали вас со Шварцом Антоном.[6] Говорили о клубе (желательном) и о кинематографе.[7] Вспоминали «кровавого вампира или привидение на башне».[8] Замечательная была фильма.

Кланяются Вам Шварцы, Мариэтта,[9] брат мой. А я целую вас и прошу очень на меня не сердиться. Теперь уже всё будет по другому.

Ваша Полонская.

---

[1] Елизавета Григорьевна Полонская (псевдоним Е. Г. Мовшен-

сон, р. 1890) была старшим «Серапионом» и единственной «сестрой» в группе. В 20-е годы печатала стихотворения в разных журналах и отдельными книгами. Ее стихотворение «Лавочка великолепий, памяти Льва Лунца» напеч. в журн. «Ленинград» № 18, 1925. Здесь публикуются все письма Полонской к Лунцу и одно из двух к его отцу, к-рые находятся в А. Л. (письма 21, 26, 30, 38, 48, 51).

[2] Датируется по содержанию.

[3] «Петроградская правда» — газета (1918-1924). С 1924 г. называется «Ленинградской правдой». См. письмо 14, прим. 5.

[4] См. письмо 20, прим. 14.

[5] «Кр. Нива» — лит.-худож. журн. под ред. А. В. Луначарского (1923-1931); «Кр. ворон» — лит. приложение к «Красной газете» (см. письмо 12, прим. 2); «Кр. дрезина» — «Дрезина», в 1923-1924 гг. лит. приложение к московской газете «Гудок», в 1924-1928 гг. выходила еженед. журналом сатиры под названием «Смехач», в 1928-1930 гг. переименована в «Чудак».

[6] Антон Шварц — двоюродный брат Евг. Шварца, актер из Ростова.

[7] Речь идет о т. н. «детском клубе», организованном «Серапионовыми братьями» в Доме Искусств осенью 1922 г. Здесь играли в «кинематограф».

[8] Фильм.

[9] Шагинян.

22. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

[Петроград. 20-X-23 г.].[1]

Левушка дорогой, рада письму, рада старому здоровому его тону. Выкурились! Писать скоро выучитесь, конечно, и тогда напишете свои пьесы так, чтобы их в последний момент не запрещали. Были готовы эскизы Анненкова, Вивьен разработал роль, Тиме должна была играть Клару — и всё рухнуло.[2] Экскузович[3] ездил в Москву — не помогло. А в Праге сезон в русском театре открылся «Вне закона»; знаете ли Вы об этом? Но огорчаться не стоит, Левушка: это воля судьбы не допустить первого представления без автора. [...] А теперь скучно. [...] Но за последние 2 недели было 2 хороших вечера: Серапионы у Миши. Первый раз читал Федин (он, кажется, серьезно обижен, что в ответ на его летнее письмо Вы ограничились двумя словами в общем письме — не пишите ему об этом только!). Новая глава из романа мне понравилась меньше старых. Это — «Детство Мари»,[4] попытка последовательно

описательного рассказа о ее жизни с рождения до первого серьезного столкновения с одним из героев. Федин лучше показывает, чем рассказывает. Вчера читал Веня. Рассказ о шулере Дьё,[5] не знавшем, что он бог, и побежденном гениальным шулером-человеком, с попыткой спуститься в Петербург, в реальный быт. Быт получился вроде угла Бассейной «7-й Рождественской», пивной на Лиговке с сапожником, похожим на его лейпцигских героев и т. д. Но есть там бред в курильне опиума — замечательный. А в общем, рассказ удивительно недоделанный и как всегда — ни одного живого человека. Не сердитесь, что вдаюсь в такие разговоры? А то Федин недавно заявил у Зои полу-шутя, но с оттенком серьезности, что нужно возродить тот героический период братства, когда женщины робко и благоговейно внимали говорящимся истинам, а потом делали свое дело — кокетничали. Теперь же, мол, они пытаются играть роль в братстве. Говорилось это гл. обр. по адресу Зойки, которая пренаивно и бессознательно, упоенная космическим триумфом, заявила как-то, настаивая, чтобы собирались у нее: «Так Вы завтра читаете? Смотрите же, не забудьте захватить рукопись!» Левушка, только не выдавайте меня! Я грешна: меня возмутила мысль, что собираться будут у Николая, кот. наплевать на Серапионов и кот. почти не бывал на субботах в прошлом году. Ну вот, я Вас, кажется, уже посвятила во всё, что здесь делается — в зале заседаний и в кулуарах. Теперь среды у Миши, при керосине, без чужих. Хорошо удивительно. После чтений Миши, Федин и я ходили пить пиво. Только скучно как-то. В прошлом году разговаривалось как-то живей. Миша как всегда всем доволен, Зощенко возмущается, что люди перестали театрализоваться, стали слишком сами собой, Федин полон мировой скорбью — она заразительна, увы! Нужны Вы! Зощенко находит, что Вы единственный по настоящему спаивали (не поймите превратно) Серапионов. Я обиделась за Мишу и Конст[антина] Ал[ександровича]. Но, что правда — Вы единственный, кот. все совершенно бескорыстно и по настоящему любили, единственный всем близкий, даже ближе Миши. К тому же без Вас некому пополнять разбитые кадры «девиц»!

[...] Из Берлина тяжелые письма. Отец[6] просто гибнет. [...] А собственно говоря, здесь ничего хорошего. Я всё мечтаю о каком-либо авантюрном случае, кот. перенес бы меня вдруг

на палубу океанского парохода, в джунгли Индии, в пустыни Тибета или в небоскребы Нью Иорка. Нет, последнее хуже: хочу к нетронутым людям, к нетронутой природе. (Вчера, между прочим, я ныла по телефону Дусе, что не могу сидеть в 4-х стенках, что меня тянет в самую гущу города — напр., в кафе «12»). Это на тему о моем постоянстве.

Мое «всё-таки»[7] относится к Вашим весенним свинствам и издевательствам. А почему это Вы любите меня «всё-таки»? [...] Левушка, дорогой, не сердитесь на сумасшедшее письмо: я очень давно не болтала. Поправляйтесь, пишите. Ваше письмо вчера было оглашено в порядке дня. Левушка, родной, пишите.

Лида.

Зощенко показал мне черновик письма к Вам, кот. ему некогда переписать: его здорово заедают деньги.

---

[1] Датируется по конверту.

[2] Речь идет о предполагавшемся представлении пьесы Лунца «Вне закона». Ю. П. Анненков писал декорации, Л. С. Вивьен подготовлял главную роль и Е. И. Тиме подготовляла роль героини, когда в октябре 1923 г. пьеса была снята с репертуара петроградских театров.

[3] И. Экскузович — театральный деятель.

[4] В напечатанном тексте романа «Города и годы» название главы — «Каменная маркграфиня».

[5] См. письмо 4, прим. 7.

[6] Б. О. Харитон, после арестов в России, уехал в Германию. См. письмо 38, прим. 8

[7] См. письмо 14, последний абзац.

23. М. СЛОНИМСКИЙ — ЛУНЦУ

[Петроград. 2-XI-23 г.].[1]

Милый Левушка, я тебе писал из Бахмута и из Питера три письма. Судя по письму и Саше,[2] ты получил только одно. Впрочем, Веня, Лида, Федин, — все, кто имеет от тебя письма, — немедленно пускают их по линии.

Серапионы, как это ни странно, существуют крепко. Отчасти это потому, что в литературе дела сейчас — мутны и неясны. Федин романа[3] не кончил, но новые главы есть. Я выяснил, что больше всех люблю Федина, Зощенку и тебя.

Лето я провел в Бахмуте. Основал и редактировал жур-

нал «Забой» (издевайся!), лазил по шахтам, ходил по заводам. Вставал в 6 (!) часов утра и шел с рудника в Бахмут пешком (12 верст). Назад вечером — тоже пешком (12 в.). Но на 4-ый месяц так мучительно затосковал не по Петербургу, а персонально — по тебе, Зощенке и Федину, что сбежал почти нелегально. В Москве встретил Виктора,[4] который всё мне рассказал о тебе (я ничего не знал). Левушка, я теперь старый сентиментальный человек. Я не пью, сижу сплошь дома, работаю, говорю о пользе просвещения и о тебе думаю с самой катастрофической нежностью. Пиши мне! Больше всего боюсь изменения отношений. Я ехал в Питер, и за Харьковым вдруг испугался. Представил себе, что вот я приезжаю, а Федин отолстел в семейном быту, Зощенко — тоже, тебя нет — и мне ткнуться некуда. В Бахмуте в пьяном виде я сделал предложение одной очень хорошей девице. Очнулся под портретом Лажечникова. В Москву ехали вместе — и роман закончился в ресторане «Прага». Рина Зеленая вышла замуж за богатого коммерсанта, 40 лет от роду, так этому коммерсанту и надо: не будь другой раз богатым.

Левушка, имей в виду, что я теперь стал тобой, а Зощенко — мной. Это не мое мнение, а общекорридорное. Я хожу в галошах и шубе, ставлю градусник, не признаю спиртных напитков, работаю — а Миша Зощенко вваливается ко мне в 3 часа ночи с кепкой на затылке, приплясывает, напевает что-то нечленораздельное и рассказывает о своих многочисленных романах. Я слушаю, как ты: снисходительно и научно.

Написал повесть «Машина Эмери»[5] (попробуй-ка — поиздевайся!). Это тебе не лопата! Сюжет завинчен до отказу и смещение плоскостей, утопически-фантастической и бытовой. Совершенно непохоже ни на что предыдущее и несомненно самое лучшее, что я написал. Будет напечатано в альманахе «Атеней». «Четвертая ставка»[6] — дрянь невероятная. Написана в отчаянии, для денег, после того, как Рина[7] обчистила меня в игорном клубе до нитки. Вообще, из-за Рины я весной написал массу дряни и страдаю, когда эта дрянь вылезает теперь в печать. Левушка, ты — гениальный человек. Так и знай. Это мое глубокое убеждение. Ганя Шварц[8] говорила, что театр «Новой Драмы» собирается поставить «Бертрана».[9] Пока — собирается только. Ежели будет определенное решение — сообщу. А Венька погибнет, если его будут хвалить за его фо-

кусы. Всякий фокус позволителен, если в основе лежит новая остроумная интересная мысль (см. для примера «Вне закона», рассказы Гофмана и пр.). У Веньки — один фокус. Мысли остаются у него в голове. Он не умеет их переложить на бумагу. Это оттого, что он отрекается от быта, не умея осилить его. Нужно уметь описывать быт. Нужно отрекаться от быта, изучив его и зная до глубины, как Замятин после «Уездного».[10] Тогда получается серьезная, настоящая, остроумная и бьющая в цель фантастика. Венька знает не человека, а гомункулуса.[11] Он не может изобразить ни одной живой эмоции. Ему нужно сначала научиться изображать человека, а потом приняться за иронического, кавериненого (а не гофманено-стивенсоно-замятиненого) гомункулуса. Фокусом и ловким налетом можно взломать несгораемый шкаф, но не литературу. Я считаю, что Веньке нужно учиться быту для того, чтобы, не срываясь, писать фантастику. А то получается, что он протестует против быта потому, что не знает его и не умеет его изображать. Этак он сорвется совершенно. Нехорошо, молодой человек, в наши годы иначе поступали писатели. Видишь, какой я стал старый сентиментальный человек. Чтобы прикрепиться к одной мысли, нужно ее выбрать и отбросить остальные, изучив их до тонкости. Тогда получается настоящее и убедительное, а не ерунда. Ну, ладно, Левка, целую тебя в градусник и люблю панически.

М. Слонимский.

---

[1] Датируется по конверту.

[2] Александр Леонидович Слонимский (1881-1964) — брат Михаила, известный литературовед, с к-рым Лунц переписывался.

[3] «Города и годы».

[4] В. Б. Шкловский.

[5] «Машина Эмери», рассказы, «Атеней», 1924.

[6] Рассказ «Четвертая ставка» напеч. в лит. альм. «Петроград» № 1, П.-М., 1923.

[7] Е. В. Зеленая.

[8] Ганя Шварц — жена Антона Шварца, рожд. Гаяна Халаджиева.

[9] Постановка пьесы Лунца «Бертран-де-Борн» не состоялась. Пьеса напеч. в журн. «Город» № 1, П., 1923.

[10] Е. Замятин. «Уездное», повесть, М., «Современные проблемы», 1916. Повесть была переиздана изд-вом «Круг» в 1923 г. и вошла в сб. «Повести и рассказы», Мюнхен, «ЦОПЭ», 1963.

[11] Намек на рассказ Каверина «Пятый странник», в к-ром схоласт старается оживить гомункулуса. Альм. № 1, «Круг», М., 1923; вошел в т. 1 «Собр. соч.», М., 1963.

24. ФЕДИН — ЛУНЦУ

Петербург, 11. XI. 23.

Дорогой Левушка, ты совсем растрогал мою тещу своим воспоминанием о ее советах. Она убивается о тебе больше Лиды и чуть не плачет, когда я говорю о тебе. Жена тебе кланяется, дочь мою ты не узнал бы — ходит, говорит, хохочет, как самый веселый Серапион. Словом, если бы ты был здесь, наверно дневал и ночевал у меня, т. к. сердце твое не устояло бы перед чарами моей дочери.

Плохо, старик,[1] что ты хандришь. По твоим письмам мы наблюдаем отсюда за тем, как ты поправляешься и нас беспокоит больше всего твое настроение, потому что в выздоровлении бренного твоего тела мы не сомневаемся. Ерунда, старик, всё пройдет, пройдет и скверная твоя t°, и всяческие головные болезни. Главное — не падай духом, не теряй вкуса к спору, смеху, издевательству и прочим превосходным вещам, до которых ты такой охотник. Поправляйся же, Левочка, вставай. Я глубоко верю в то, что лучший для тебя кур — деревня, хорошая, глухая, покойная деревня, хорошие, толстокожие, простые люди, по возможности — полное отсутствие врачей и санаторной обстановки. Замучили, кажется мне, тебя всякие режимы, рецепты, эксперименты и чужие люди. Не знаю, так ли это, но мне думается — так. Еще один совет — послушай старика! — до поры до времени тебе не следует работать, особенно — писать. Откуда тебе взять такое зверское количество нервной энергии после нервной болезни? А ведь что бы мы ни писали, мы пишем нервами. Повремени, оправься. Будь покоен. Вернется всё, что у тебя было и рост твой, рост драматурга Льва Лунца! — впереди. Главное — не торопись (в прямом и переносном смысле), у тебя тяжелый багаж («Вне закона»), его хватит, пока ты поправишься, а там будет видно. Не думай, что нужно чересчур часто напоминать о себе — это удел Никитиных — и не бойся, что воображение, темперамент и мастерство изменят тебе. **Поправляйся,** это прежде всего.

Журнал «Кн[ига] и Рев[олюция]» с дифирамбами тебе вышлю непременно.[2] Теперь трудно пересылать бандероли. Но

я устрою. У Серапионов стало хорошо, если не считать почти систематичного отсутствия Никитина. Но никто не жалеет о нем. Иванов не вернулся еще из Крыма и — Бог знает — какую позицию займет, когда вернется. Следующую Среду посвящаем Серапионам: Илья говорит обо всех и каждом, — «итоги» — а мы рассказываем о том, чем каждый из нас обязан Серапионам. Вечер интимный, дружеский и проч. Хорошо. Мой роман движется медленно. Как я тебе говорил, концы сведены уже давно. Я осуществляю прочный и цельный план. Но осуществляю со своей медлительной осторожностью. Sicher ist sicher. Что делать, я не Эренбург. То, что написано после твоего отъезда одобрено Серапионами и прочими пигмеями. Но теперь меня мутит тема для рассказа в духе «Сада». Это после Микитовской нирваны. Вот куда следовало бы съездить тебе на поправку, в Качаны, Смоленской губернии! Хорошо там до одури! Напишу скоро «Тишину»,[3] пришлю тебе. Пусть твой батюшка отдохнет душой и скажет, как после «Сада» — есть еще на земле нашей порядочные писатели![4] Целую тебя, жду писем. Ото всех друзей сердечный привет тебе, старикашка!

Твой Константин.

---

[1] Повидимому, Лунц писал, что стал «стариком» из-за болезни. См. письмо № 3 к Н. Берберовой, журн. «Опыты» № 1, Нью-Йорк, 1953.

[2] Этот номер журнала не вышел.

[3] Повесть «Тишина» напеч. в журн. «Русский современник» № 4, Л., 1924.

[4] В письме к Федину Лунц писал: «На-днях будут переливать кровь из отца в меня. Таким образом я унаследую его литературные вкусы — можешь радоваться, автор 'Сада'...» (К. Федин, «Лев Лунц», 1924).

25. ЗАМЯТИН[1] — ЛУНЦУ

СПб.[2] 13-XI-1923.

Hamburg.
Eppendorferkrankenhaus.
Herrn L. Lunz.

Дорогой Лев Лунц. Во первых строках — я Вас очень люблю — хотя Вы и забыли великого русского языка: нельзя (как

Вы) писать «любезная метрша» — нет такого слова, а надо писать: «любезная метресса» (которая Вас приветствует).[3] И во-вторых: плакал над Вашим прахом, когда прочитал Ваше письмо. Так Вас жалко было, так жалко: курить нельзя! Без курева мы, табашники — прахи.

Я прокуриваю не менее четверти всех своих богатств — и потому еще кой-что строчу. За лето и осень написал два рассказа. Один — большой, листа в два — трудный, чорт! (действующие лица: червяк, мужики, красноармейцы, существа на некой звезде; заглавие: «Рассказ о самом главном»).[4] Другой — маленький, но неприличный, вроде «Еразма»[5] (писано летом, а в жару — как Вам известно — блудный бес силен). И еще — статью («О литературе, революции, энтропии и о прочем»).[6] Думаю, что эта статья окажется верблюдом (Воронский — статья для «Круга» — будет игольным ушком).[7] На роман мой здесь цензура «губком села» — протопопо-аввакумовски говоря; так что пока выйдет только по-английски (вероятно, в ноябре) в Нью-Йорке.[8]

Собираюсь подражать великому Лунцу — и скоро сяду за пьесу. Обидно, что «Вне закона» — оказалась вне закона: хорошая пьеса, дай Бог здоровья автору!

Невинность мою и нравственность очень оберегают и потому заграничных писем я акуратно не получаю — не получил и Ваше первое письмо. Пишите через Лидочку.

Без Вашего надзора Никитин совсем что-то засукинсынствовал, Зощенко издрезинился;[9] Слонимский и Федин — цветут. Федин, явно, не хочет застрять «на пересадочной станции» — как я предсказывал ему в статье. Об этой моей статье — ругался Свенцицкий[10] в приложении к «Кр[асной] Газ[ете]»: обиделся за Семенова.[11]

Метресса, я, Мишка и Ростислав[12] — ждем Ваших писем.

Е. З.

[Приписка]: — Дорогой Лев Натанович, ну, скоро Вы приедете к нам? Вашу пьесу «Вне закона» берет кинофирма «Русь». Экземпляр пьесы отослан в Москву.

Л. З.[13]

---

[1] Евгений Иванович Замятин (1884-1937) не был членом «Серапионовых братьев», но как ментор молодых писателей и гость на их собраниях был близко связан с ними. Как сотрудник многих издательств, напр., «Алконост», к-рый выпустил альманах группы, Замя-

тин помогал им напечатать свои первые произведения. О группе он написал две статьи: «Серапионовы братья» («Лит. записки» № 1, П., 1922) и «Новая русская проза» (см. письмо 5, прим. 3). Литературный стиль Замятина сильно сказался на нек-рых из «Серапионов» — Зощенко, Иванове, Слонимском. Философия, выраженная в его статьях и в романе «Мы», повлияла гл. об. на Лунца (сценарий «Восстание вещей», напеч. в кн. 79 «Нового Журнала», и пьеса «Город Правды»). Здесь публикуются все письма Замятина, находящиеся в А. Л. (письма 25, 38, 42, 47).

[2] Почтовый штемпель — Хельсинки.

[3] Повидимому, из-за аграфии Лунц неправильно написал слово «метресса» в письме к Замятину. См. письмо 13, прим. 2.

[4] Рассказ напеч. в журн. «Рус. современник» № 1, Л., 1924; вошел в сб. «Рассказы и повести», Мюнхен, «ЦОПЭ», 1963.

[5] Намек на повесть «О том, как исцелен был отрок Эразм», Берлин, изд-во «Петрополис», 1922. Маленький рассказ — «Русь», П., изд-во «Аквилон», 1923; вошел в упомянутый выше сборник.

[6] Статья напеч. в сб. статей «Писатели об искусстве и о себе», М.-Л., «Круг», 1924; вошла в сб. «Лица», 1955.

[7] А. К. Воронский был членом редколлегии изд-ва «Круг».

[8] Роман «Мы» Замятин написал в 1920 г. В 1921 г. журн. «Книга и революция» № 1 сообщил о публикации романа изд-вом «Алконост», но в России ему не удалось появиться. В 1924 г. английский перевод вышел в Нью-Йорке. Полный русский текст издан изд-вом им. Чехова в Нью-Йорке в 1952 г.

[9] Намек на сатирический журнал «Дрезина» (см. письмо 21, прим. 5). Зощенко, вместе с В. Катаевым, Ю. Олешой и др., сотрудничали в лит. отделе журнала. Зощенко также работал в журналах «Смехач» и «Чудак». В 1925 г. изд-во «Смехач» выпустило сб. «Рассказы» Зощенко в дешевом издании.

[10] В. Свенцицкий — литературовед.

[11] Сергей Александрович Семенов (1893-1943) — член РАПП'а, автор романов «Наталья Тарпова» и «Голод». В статье Замятина («Новая русская проза») Семенов не упомянут.

[12] Установить не удалось.

[13] Людмила Николаевна Замятина.

26. ПОЛОНСКАЯ — ЛУНЦУ

[Петроград. 25-XI-23 г.)].

Левушка, посылаю новейшую, сочиненную мной Серапионовскую «Славу».

В Нэпа четвертый год — кто
Станет писать без аванса?!
В честь серапионовых братьев то,
— Я начинаю стансы.

Вулкан Фузи-Яма извергнул дым...
Земля затряслась в Иокогаме...
Всеволод Иванов занял Крым
Верхом на чортовой маме!

А славный наш Зощенко в тот же час
(Друзья, гордитесь отныне!)
Немедленно въехал на Парнасс
На небольшой «Дрезине».

Большие места для широких натур,
Будь сапожник иль граф ты, —
Николай Никитин — via Рур
Стал редактором Правды!

Лунц взял Берлин и хоть разбит,
Отчасти был при этом,
Но он поправится и победит
Прочие части света!

Все титулы Федина кто сочтет?
Все главы в его романе
Везде ему воздают почет
В Москве и в Нахичевани.

Груздев Илья высоко вознесен —
Плод еженощных бдений, —
Рекомендует учебники он
Трудшколам второй ступени.

Старое старится, молодое растет...
Кто же теперь поверит,
Что Веня Каверин перейдет
Из мастеров в подмастерья!

В странах наземных царит капитал...
В небе — чин херувимский...
Идеологию отыскал
Лишь под землею Слонимский...

Скромность же всех добродетелей мать
И дочь хорошего тона:
Знаю, Полонскую будут ругать
Здорово Серапионы.

КОНЕЦ.

Левушка, крепко жму руку. Выздоравливайте!

25/XI. 1923.
Ваша Е. П.

27. Л. ХАРИТОН, СЛОНИМСКИЙ, ФЕДИН — ЛУНЦУ

6/XII. 23. [Петроград].

Левушка, дорогой, Вы не сердитесь, что давно не писала. Тут разное было. Ваше письмо застало меня в очень унылом состоянии: помимо обычной скуки-тоски угнетало меня здоровье. [...]

Серапионы. Мишкой вновь выкинут лозунг «положение отчаянное». У Конст[антина] Ал[ександровича] на небритом лице такая мировая скорбь, что даже Полонская пугается. Никитин почти не ходит, а когда появляется, то ощущают его, к[а]к элемент весьма посторонний. Идут разговоры о взаимном невнимании и непонимании. Фронты — Зощенко, Слонимский; прослойка Федин — Груздев, Каверин. Катастрофа произошла на чтении «Мудрости» Зощенки.[1] Рассказ, написанный стилем Аполлона и Тамары,[2] еще утонченным, — прекрасный. Но Илья, восхитившись, сравнил с «Господином из Сан-Франциско» по теме; Зощенко обиделся сейчас же; Тихонов подлил масла в огонь, начав рассказывать повесть Грина, где человек тоже умер, но не так; Веня удивлялся, как это Зош[енко] «из такой дряни замечательный рассказ сделал», у Миши была t° 38,6 и взять на себя роль не пришедшего Федина — сгладить углы, он не мог, а Коля Ник[итин] вообще зевал. Словом, трагедия. После этой среды разговаривали во всевозможных сочетаниях; собирался «уходить из Серапионов» Зощенко, Веня... Вчера, на собрании, Федин мрачно и отечески начал дебаты о корне зла. Я рада одному — невероятно часто склоняется слово «Левка». Кончилось благополучно: все за одного, один за всех; читать всё не халтурное; относиться внимательно

нее к работе друг друга; не обращать внимания на Николая. Он — пишет о Волховстрое, едет на процесс ГУМ'а в Москву, редактирует «Петроград». Это — вроде «Солнца России»,[3] и там 4 редактора: Семенов, Садофьев, Матвеев (секретарь Правды)[4] и Ник[итин]. Ждем, что скоро будет назначен цензором: Зойка недавно единолично зарезала рецензию Ильи по цензурным причинам. Словом, забавные вещи делаются. Книги Вам все посылали, и никто не виноват, если не доходят. Вообще же это сейчас трудно: 3 разрешения, заявления и т. д. [...]

Лида.

Левка, времена — жуткие, поэтому Серапионы сплотились. Никитин безнадежно болен, Зоя — тоже. Надежд на выздоровление по моему никаких. А впрочем, дай Бог, пророчества мои и неправильны. Вчера поссорился с Венькой. Здорово хороший малый, но ему нужно писать бытовые рассказы. Илья купил галоши и не снимает их даже в комнате: боится, что украдут. Алексей Толстой — толстый хороший барин. Вообще, все хорошие, Кольку с Зоей жалко и я их люблю, и времена — жуткие. Чорт знает что такое. Лида выходит замуж за Альтшулера.[5] Левушка, в Петербурге жить нельзя. В январе поеду в Златоуст.

Миша.

Миленький Левочка, ты напрасно меня бранишь (т. е. ты бранишь всех, стало быть, в том числе и меня) — я тебе не так давно написал отеческое письмо. Целую тебя и обнимаю.

Ты очень хороший, настоящий и единственный Серапион! Все остальные — суррогат.

[Константин Федин]

---

[1] Рассказ «Мудрость» (1920-1923) напеч. в сб. «Избранные повести», Л., 1937.

[2] Рассказ «Апполон и Тамара» напеч. в сб. «Рассказы», П., изд-во «Картонный домик», 1923.

[3] Дореволюционный журнал.

[4] Сергей Семенов — см. письмо 25, прим. 11; Илья Иванович Садофьев — пролет. поэт; Ник. Ник. Матвеев (Бодрый), старый большевик, пролет. поэт, отец поэтессы Новеллы Матвеевой.

[5] Установить не удалось.

28. КАВЕРИН — ЛУНЦУ

14/XII. 23. [Петроград].

Дорогой Левушка и сердечный мой друг!

За что ты ругаешь меня, свиная рожа? Клянусь честью Серапиона — я тотчас ответил тебе на письмо и ты не получил его, вероятно. Ты не веришь мне? Ей Богу, поверь, дружище. Не только написал, но успел даже обидеться, что ты мне [не] отвечаешь. Баста! Теперь буду писать тебе заказным и чтобы ты отвечал мне, чортов сын.

Серапионовская хроника.

1. Мишка С. оживлен, мало спит и пишет всё лучше. Сам про себя говорит, что никто лучше его не знает быта. Он написал «Машину Эмери».[1] Если на одну чашку весов положить название, а на другую рассказ, то первая перевесит. Впрочем, я пристрастен. Последнее время он всё толкует, что он разгадал меня до точки и знает что мне нужно. Никак не могу понять что он разгадывал и что мне нужно. Я ему всё советую упражняться в фантастике. Он не хочет, чудак.

2. Костя всё тот же — умный, твердый, ясный и благородный человек. Я люблю его крепко. Роман его имеет успех — хотя еще не напечатан.[2] Он читает его чудесно. Дамы, с непривычки, дрожат от силы голоса.

3. О Никитине нечего писать. Он испаскудился, заложил себя, как дурак, за пустой успех и ужины в ресторанах. А выкупа никакого пока нет — пишет всё хуже. Рассказы об Англии[3] — бездарь. Отношение к нему ребят — холодное и презрительное. Он редко бывает у нас и в последний раз на интимном серапион. собрании о нем говорили, как о чужом и чуждом человеке.

4. Зощенко замкнулся в себе, упорно ищет нового пути для работы и недавно прочел прекрасный рассказ — «Мудрость».[4] Стилистически необыкновенно тонко. Но сделано из дряни — вот что здорово. Сказ он оставил, но ничего столь же сильного взамен — другой плотной формы, еще не дал и колеблется, по моему, «Мудрость» — переходный, но прекрасный рассказ.

5. Тихонов пишет тебе — верно в тот же час, как и я. Сейчас он был у меня — говорили о тебе. Твои письма пере-

даются из рук в руки и Тихонов сейчас принес мне твое письмо к нему. Не пишу о нем, — он работает, как штыком, — и ты сам всё о нем знаешь.

6. Полонская немного болела — теперь здорова, давно уже не читала у нас. Не знаю пишет ли она сейчас.

7. Илья разошелся — пишет и хорошо пишет. В его статьях появилось настоящее фельетонное искусство. Знаешь, такой фельетон, не слишком быстрый на ноги, но всё же живой и, главное, умный.[5]

Остались мы с тобой, дружище. Я почти ничего не знаю о тебе за последнее время — ты что-то глухо пишешь. Напиши мне о драме, кот. ты написал;[6] если можно, то пришли ее Серапионам. Что думаешь о дальнейшем? Скоро придет наше время, Левушка. Здесь в литературе разброд, сумятица, неразбериха и поверх всего всплывает — что, как ты думаешь? Авантюрный роман, рассказ, повесть — чорт его знает что, но тяга к движению, к смене эпизодов, к интересу сюжетному по преимуществу. Пока это идет от кино, быть может, но я убежден, что это не случайно. И что ценнее всего — это то, что авантюра идет снизу, бьет прямо с улицы. Госиздат заказывает авантюрные романы. Не пройдет и двух лет, как эта вялая, как карамора, литература сдохнет и тогда мы повоюем.

Почему ты еще в больнице, сукин ты сын? Чтобы выздороветь в два счета, слышишь! Жду от тебя письма. Подбодри меня, дружище, я устал, много работаю (нужно кончать университет). Последние 3-4 месяца, ничего, кроме фельетонов, не писал.[7] Всё же у меня хватает еще злости, чтобы наплевать на проклятую размазню Пильняковщины и Ивановщины. И ведь оба кондовые таланты! Ну, будь здоров, дорогой друже. Пиши мне. Я тебя сильно люблю, ты ведь знаешь. Лида и Юрий Ник.[8] кланяются и целуют.

Твой Веня.

Адрес: Проспект Карла Либкнехта д. 32, кв. 18, мне.

---

[1] См. письмо 23, прим. 5.

[2] См. письмо 17, прим. 4.

[3] См. письмо 12, прим. 1.

[4] См. письмо 27, прим. 1.

[5] В 1923 г. Илья Груздев напечатал статьи «Утилитарность и са-

моцель», «Русская поэзия в 1918-1923 гг.» («Кн. и революция» № 3) и ряд рецензий в разных журналах.

[6] «Город Правды».

[7] Вероятно, речь идет о рецензиях, напечатанных в журн. «Кн. и революция».

[8] Ю. Н. Тынянов.

(Продолжение следует)

Публикация Гари Керна

НА СЛУЖБЕ У ЯПОНЦЕВ*

Мои обязанности заключались в том, чтобы три раза в день — утром, днем и вечером выходить к поездам вместе с Фуджита и Суэока и проверять у европейских пассажиров паспорта. От жандармского управления выходили Яскорский и чиновник японец в штатском. Каждый день вереницей мы шли по вагонам и спрашивали паспорта. Впереди я, затем Суэока, Фуджита, Яскорский и японец из жандармского управления. Так как никто из них ни на одном иностранном языке не говорил (кроме японского и русского) мне поручалось говорить с иностранцами и, по возможности, выяснять их отношение к японцам, их впечатления о путешествии по Южной Маньчжурии и т. д. Поезда стояли 10 минут — время в общем достаточное для разговоров. Всё это была невероятная глупость. Я заговаривал с каким-нибудь англичанином или американцем, если таковые попадались, иной раз оказывался француз, но больше всего ехало немцев гл. образом в Харбин, которые в большинстве объяснялись по-английски. Спрашивал я, хорошо ли они путешествовали, давно ли из Европы, как себя чувствуют? Придя в нашу комнату я на бланке, разграфленном красными линиями, писал приблизительно следующее: «Разговаривал с таким-то (национальность), спрашивал как он путешествовал? Доволен ли он вагонами ЮМЖД? Был ли в Японии и что о Японии думает? На это иностранец мне отвечал, что он в восхищении от порядков на ЮМЖД, что по его мнению японцы прекрасные организаторы, что в Японии он еще не бывал, но мечтает попасть в эту замечательную страну». Это был один вариант. Другой: «Иностранец бывал в Японии и тут описание его восторгов». Третий вариант: если иностранец бывал в Китае, — описание его впечатлений от жизни там и в Ю. Маньчжурии, где утвердились японцы, — «небо и земля», «благодаря японцам в Ю. Маньчжурии больше порядка, чем у китайцев» и т. д. Всё это я добросовестно высасывал из

---

* См. кн. 80 «Н. Ж.»

пальца. Исида с восторгом переводил и подавал Иноуэ, а последний, прочитывая, вбирал и со свистом выпускал воздух, произнося — «Ааа...ааа», на что Исида с ударением, подчеркивая слова, говорил — «Иноуэ-сан очень доволен! да, да, очень доволен!» Иной раз, чтобы не было никаких подозрений в отсебятине я подпускал небольшую критику...

Итак — каждый день встреча поездов, придумывание, что сообщить о разговорах с иностранцами. После последнего поезда в одиннадцатом часу я шел к себе в номер. На мой звонок неизменно появлялся заспанный старик-грузин, открывавший мне дверь. Утром я пил молоко, а обедал где попало — или в китайском ресторане или у необычайно толстого грузина Антона, который содержал нечто вроде ресторана. Молоко я получал из Куаньченуцз, как и некоторые русские, и дело это было сложное, ибо китаец-разносчик постоянно рисковал жестокой расправой со стороны японских полицейских. Дело в том, что японцы строжайше запрещали доставлять молоко из Куаньченуцз. В Куаньченуцзах у всех русских железнодорожников были свои хозяйства — коровы, свиньи, куры. Бутылка молока стоила 12 центов на «да-ян» (китайский доллар), что в переводе на иену было около 9 сен. В Чаньчуне же не только коров, но и вообще никакого хозяйства у японцев не было. Японцы, как и китайцы, молока совсем не употребляют, так же как и молочных продуктов. Но в Чаньчуне останавливались проездом иностранцы, кроме того было коммерческое агентство КВЖД, где служили русские, употреблявшие молоко, поэтому какой-то предприимчивый японец открыл в Чаньчуне молочную «ферму». Эта «ферма» занималась тем, что покупала молоко в Куаньченуцзах у русских хозяек, разливала в полулитровые бутылочки, наклеивала этикетку — «пастеризованное молоко» и по 10 сен. т. е. в переводе на «да-ян» около 13 центов, т. е. в два раза дороже, поставляла в Ямато-отель. И вот, чтобы эта «ферма» не имела конкуренции, японское полицейское управление запретило доставлять из Куаньченуцз молоко, грозя за это арестом. Однако, там где дело касается хоть самого небольшого заработка, китаец готов рисковать жизнью. И вот китаец с коромыслом на плечах и двумя большими корзинами, подвешанными на концах, забирал несколько десятков бутылок молока, закрывая их сверху какими-нибудь овощами или тряпьем и под видом старьевщика, мелкой

рысцой окольными путями бежал в Чаньчунь. Он всегда старался попасть к раннему утреннему поезду, чтобы смешавшись с толпой, проскочить мимо полицейских. Дело в том, что уличных полицейских постов у японцев нет — вместо постов на углах улиц — полицейские «будки» — это кирпичные домики на высоком фундаменте, где есть помещение с письменным столом, стульями и двумя кроватями. Посредине, разумеется, железная печка. Дверь всегда открыта и полицейский, сидя за столом, наблюдает за движением на улице. Если бегущий китаец с коромыслом и двумя корзинками покажется подозрительным, полицейский выскакивает и приказывает китайцу остановиться. Китаец покорно ставит корзинки на землю, снимая с плеч коромысло и грязной тряпицей принимается вытирать пот с лица, а полицейский начинает выбрасывать овощи или какое-нибудь старье, чтобы проверить нет ли под этим бутылок с молоком. Если таковые окажутся японец тут же их разбивает, а китайца, толкая в спину, гонит в будку. Тут начинается экзекуция. Китайца ставят на колени, с головы сбивают старую, пропотелую ушанку, если дело идет зимой, и полицейский принимается резиновым жгутом бить китайца по голове. Последний, сложив молитвенно ладони всё время кланяется, причем его руки дрожат, то опускаясь, то поднимаясь. Второй полицейский в это время сидит с каменным лицом и смотрит. Бьют до тех пор пока не покажется кровь, которая начинает сбегать по лицу. Тогда грубым окриком японец приказывает китайцу встать и собрать осколки стекла от разбитых бутылок. Китаец, кланяясь, поднимая и опуская дрожащие, сложенные руки, сходит со ступенек будки на улицу, вытирает всё той же тряпицей кровь с лица и принимается собирать в корзину осколки бутылок. На сегодня он разорен — то, что он мог заработать за день — 1 да-ян или 40 сен., что на американский доллар равнялось 20 центам — полностью пропало, но кроме этого он оказывается еще в долгу у хозяев, которые ему отпустили молоко. Правда, в большинстве случаев русские хозяйки в случае такой беды прощали китайцу долг. По счастью такие случаи происходили редко, китайцы как-то ухитрялись обходить все препятствия и не попадаться японской полиции.

Первый день нового года в учреждениях начинается в 8 ч. утра с официальных поздравлений. К этому часу в зале глав-

ного полицейского управления выстраивались все чины управления и свободные от наряда полицейские в форме и при оружии — сабля и револьвер. Перед строем и вдоль стен — длинные, узкие столы, покрытые белыми бязевыми скатертями. На этих столах — блюда с маленькими сушеными рыбками и флакончики с сакэ. Во всех официальных случаях сакэ подается обязательно холодным. За поперечным столом, против выстроившихся полицейских, стояли полицмейстер и начальники отделов. Полицмейстер произносил речь, в которой упоминал о могущественной стране «Нихонноо» и ее успехах с пожеланиями в следующем году еще большего процветания и еще больших успехов. После этих слов раздавался дружный крик «банзай» и все приглашались выпить чашечку сакэ. Стоя выпивали сакэ и жевали сухие, крохотные рыбки. Этим официальная церемония заканчивалась.

В этот день в каждом японском доме накрывается праздничный стол. Посредине обязательно очень искусно зажаренный карп. Эта рыба лежит на блюде в изогнутом виде — словно серп с поднятой головой и хвостом. Вокруг — маленькие блюдца, на которых розовые ломтики сырой рыбы, круглые дольки маринованой редьки, белые, как стеарин, кусочки китового жира, хрящи осьминога. В более зажиточных домах нанизанные на тонкие палочки, в виде спиц, жареные воробьи.

В первый день нового года, японцы в своих национальных костюмах-кимоно, ходят с визитами. Входя в дом, у двери снимают обувь «гета» и в носках ступают на тотами, которое возвышается на полметра — это нечто вроде маленькой передней. Затем, раздвигаются створки стены и гость входит в комнату. Начинаются долгие и многочисленные поклоны. Ладони рук упираются в колени, и визитер и хозяйка, глядя в пол, начинают друг другу кланяться, если есть уже другие посетители они встают и церемония поклонов начинается опять. Затем, все усаживаются на подушки вокруг стола, а хозяйка приносит на подносе горячее сакэ и, становясь на колени, держа обеими руками флакончик, кланяясь, «почтительно» разливает сакэ. Под конец дня японцы обязательно считают своим долгом быть «навеселе» — тогда, делая последние визиты, они засиживаются и начинают петь и танцевать. Танец заключается в медленных движениях — танцующий де-

лает шаг вперед, потом назад, выбрасывает руки, медленно поворачивается.

Начальники отделов и я были приглашены к начальнику полиции, к 12 ч. дня. Я зашел за Исидой и мы вместе пошли. Пришли мы, когда еще не все собрались и были приглашены хозяйкой в гостиную. Это была толстая, солидная японка, в очень красивом кимоно кремового цвета в чудесных ярких цветах, подпоясанная широким, под самую грудь «оби». Она встретила нас глубоким поклоном. Ее голова с гладко высоко зачесанными волосами, словно полированными, черными как смоль, низко опускалась к коленкам, на которые опирались ладони рук. Она вбирала и выпускала воздух, приговаривая: «Аа...аа... дозо...дозо». Кланялись и мы с Исидой. Обувь пришлось снять. Мы вошли в гостиную. Тут в кресле, поджав ноги, в очень красивом кимоно серо-стального цвета, сидел начальник полиции, такой же толстый, как и его почтенная супруга. Он, сидя, поклонился нам, протянул руку, указывая на кресло со словами: «дозо! дозо!» Тут уже молчаливо сидело несколько японцев. Начался разговор. Очевидно он предназначался для меня: «Начальник спрашивает участвовали ли вы в японо-русскую войну?» Японцы прекрасно знали, что участвовать я никак не мог т. к. и Исида и, конечно, нач. полиции знали мой возраст. Но такова уже повадка японцев. Прикрываясь подчеркнутой вежливостью, они непременно стараются показать вам свое превосходство, в котором сквозит и высокомерие и легкое презрение. «Нет не был. Я тогда еще учился в корпусе», — ответил я. Исида перевел. «Аа... содеска!» — произнес начальник полиции и начал опять что-то говорить, всё время упоминая Ильин-сан. Я более или менее понимал. Исида, по виду очень довольный, перевел: — «Он говорит, что ген. Куропаткин очень хороший генерал. Под Лаояном русские очень хорошо сражались?!» — Исида вопросительно смотрел на меня. Я молчал. Начальник полиции опять стал говорить. — «Он спрашивает, как вы думаете почему у Мукдена русские так быстро отступили?» — «Вероятно ген. Ояма был хороший полководец», — ответил я. Затем вопросы перешли на более близкие темы: мне был задан вопрос, что я думаю о немцах и почему русские потерпели поражение под Сольдау? Тут я ответил к великому удовольствию японцев,

что у нас было совершенно бездарное командование. После этого ответа японцы долго вбирали воздух и, видимо, были очень довольны. Наконец Исида перевел: —«Он спрашивает, какие вы имеете боевые («боевые» — он произнес раздельно и с особым ударением) отличия и ордена?» Я перечислил свои ордена, полученные в первую мировую войну. «А георгиевского креста у вас нет?» — спросил Исида. «Нет, георгиевского креста нет», — ответил я. На это последовало длительное «ааа». Тут начали подходить приглашенные, начались бесконечные поклоны, а затем, во главе с начальником полиции, гуськом, все в форме кроме Исида, стали подниматься наверх.

Здесь, в сравнительно большой комнате, на тотами стояло несколько составленных низких столиков, а вокруг них подушки, на которые мы все и стали рассаживаться, скрестив ноги. Солидная хозяйка, в своем великолепном кимоно и молодая японка, повидимому прислужница, начали разносить сакэ и, становясь на колени, разливать в миниатюрные чашечки. Я сидел между Исидой и каким-то незнакомым полицейским. Меня, благодарение Богу, оставили в покое и я пил сакэ, брал палочками кусочки рыбы и жареного карпа, который был очень большой и красовался посредине полицмейстерского стола. Ни китового сала, ни хрящей, ни воробьев я есть не мог. Говорил главным образом хозяин. Исида мне иногда переводил: «Он рассказывает о своих сыновьях. У него два сына. Они в военной школе в Токио. Скоро будут офицерами».

После визита к начальнику полиции Исида пригласил к себе. Он жил с женой в небольшом флигеле таком же как и у других японцев. Нас встретила его жена, маленькая сухая японка. Тут уже сидели Фуджита и еще какой-то японец. Исида сейчас же по телефону вызвал гейш и через несколько минут на рикшах подкатили две прелестные японки, одна «Майя» была особенно хороша в своем красочном кимоно, с ярким цветным оби и пышной, высоко взбитой прической. Начались жеманные поклоны, потом столь же жеманное угощение, а затем танцы. Гейши прошли в соседнюю комнату и с веерами принялись медленно с поклонами двигаться взад и вперед. Потом пели. Майя брала аккорды на сямисен и визгливым, очень высоким фальцетом пела, а остальные ей подтягивали. Исида вообще любил весело проводить время. Накануне мы все получили наградные и теперь Исида кутил. Я всё что по-

лучал посылал домой и жил в общем почти нуждаясь. Велико было мое удивление, когда, получая в конце месяца жалованье я увидел на конверте несколько иероглифов, а против них цифру «4 иены». Это был какой-то вычет. Я спросил Исида — в чем дело? Он объяснил, что это вычет за новогоднее угощение у начальника полиции.

В субботу, после 12 ч. я обыкновенно уезжал в Харбин и в воскресенье, с вечерним поездом, возвращался в Чаньчунь в свой убогий номер. Кроме японского театра — никаких развлечений в Чаньчуне не было. За городом стояли казармы, огороженные высокой стеной. В городе военных почти никогда не было видно. Вся «деловая» жизнь Чаньчуня сосредотачивалась гл. образом на контрабандной торговле опиумом и «живым товаром». Опиум шел из русского Приморья и с юга Китая в Маньчжурию — южную и северную, через Чаньчунь. Японцы не только смотрели сквозь пальцы на торговлю опиумом, но даже не препятствовали существованию опиекурилок в китайском городе — их вполне устраивало, чтобы китайцы себя отравляли. Главными поставщиками опиума были корейцы и русские железнодорожники КВЖД. На этом деле наживались все. Что же касается «живого товара», то спрос на европейских девушек, с началом летнего сезона в Циндао, был всегда очень велик. Дело в том, что в Циндао, бывшей немецкой концессии, каждое лето приходила часть американской тихоокеанской эскадры гл. образом эсминцы. Многочисленные шантаны и бары были полны американскими офицерами и матросами с долларами в карманах. Требовались девушки. Организовали поставку русских девушек несколько человек в Харбине, главным из которых был еврей Бе—ов. Совершенно понятно, что среди русской молодежи в Харбине всегда находился какой-то процент мечтавших о «шикарной» жизни... Вот этим и пользовались торговцы «живым товаром». Они как-то умели находить девушек из нуждающихся семей и принимались их соблазнять великолепной жизнью в Циндао, богатыми иностранцами и пр. Начиналось с того, что покупали им новые платья, чулки, башмаки и затем садились с ними в поезд. Важно было довести до Чаньчуня. Дело в том, что по японским законам девушка, достигшая 14-летнего возраста могла располагать собой, как ей угодно. В Куаньченуцзах проверяли паспорта русские полицейские и поэтому им прихо-

дилось давать крупные взятки, но попадая в Чаньчунь «торговец» с двумя-тремя девушками уже ничем не рисковал и мог свободно ехать дальше. Эти поставщики «живого товара» зарабатывали большие деньги, т. к. за каждую девушку щедро платили.

Между тем Иноуэ начинал высказывать всё большее неудовольствие моими поездками на субботу и воскресенье в Харбин: — «Иноуэ-сан говорит — сообщал мне Исида — что ваша семья должна жить с вами в Чаньчуне. Очень нехорошо жить отдельно!» Я конечно возражал, говорил, что дочери учатся в гимназии, что в Чаньчуне нет квартир, что, наконец, я с этим условием и согласился ехать в Чаньчунь и т. д. Однако японцам бесполезно возражать и что-либо доказывать, если они пришли к какому-нибудь решению. Они будут молчать, ждать, но непременно рано или поздно вернутся к тому, что запало им в голову.

Как то в начале лета, утром, я прошел в управление не с улицы, а через двор. Окна подвального этажа приходились на уровне земли и были открыты. Когда я проходил мимо одного из них, мне послышалось, что где-то внизу, за окном, раздаются какие-то то ли приглушенные стоны, то ли мычание. Я не мог понять в чем дело и, поднимаясь по лестнице в наш «иностранный отдел», раздумывал над этим странным явлением. Затем я спросил Исиду что в подвальном помещении? Он ответил, что там «арестное помещение». Этим дело и кончилось. Я забыл об этом.

Вскоре в Чаньчуне появился некий коммунист Раскин. Раскин приехал из Москвы из Внешторга для ревизии коммерческих агентств КВЖД. Японцы всполошились. Исида беспрестанно повторял — «русский коммунист, это очень интересно!» Тут же Иноуэ, вернувшись от полицмейстера, объявил, что Раскин приглашается на скияки в один из самых шикарных японских ресторанов с гейшами. Исида и я отправились его приглашать. Невысокого роста, в хорошем сером костюме, гладко выбритый, с густыми рыжеватыми волосами, на вид лет 40-45, Раскин производил впечатление веселого и развязного рубахи-парня. Он с восторгом принял приглашение, сказал, что всегда мечтал познакомиться с японской жизнью.

В яркий солнечный день наш русский отдел — Фуджита, Суэока и я, во главе с Иноуэ, поднимались во второй этаж

японского ресторана. В первом жили гейши. Там у стены стояли узкие зеркала, с полочками у самого пола, на котором на подушках, поджав под себя ноги утром сидели подряд гейши и наводили на себя красоту. Они поправляли свою сложную прическу, с которой спали, никогда не распуская волос; положа шею на валик, старательно растирали белила на лице, после чего слегка румянились. Это они делали так искусно, что лица их казались совершенно естественными — свежими и молодыми без всякого признака жизни. Однако, если декольте кимоно слегка открывалось, то выступала желтая кожа шеи и плеч и тогда хорошенькая головка казалась словно алебастровой. Исида поехал за Раскиным. Мы прошли в большую комнату с тотами, все, конечно, без обуви. Вскоре приехал Раскин. Раскин страшно веселился — его всё восхищало. Раздвинули стенку следующей комнаты, отчего получилось большое помещение. Вся наружная стена была сплошным окном из рам с мелким переплетом, через которые лился яркий солнечный свет на тотами. Никаких украшений на подоконниках, лишь несколько карликовых сосен — кривых уродцев с вечно-зеленой густой хвоей, на тотами черные, лакированные низкие столики, вокруг которых подушки. Входят гейши, среди них Майя — этот ресторан и был выбран именно из-за Майи, самой красивой и миловидной гейши. Начинаются поклоны, приседания «Дозо! дозо!». Располагаемся на подушках, скрестив ноги. Раскин никак не может приспособиться — и в конце концов он полулежит. Гейши приносят хибачи с горящими углями, затем блюда со всем, что требуется для скияки. У каждого — чашка риса, сырое яйцо, в виде закуски — ломтики маринованой редьки. Начинается священнодействие: приготовление скияки. Гейши разливают сакэ... На сковороде жарится мясо и очень вкусно пахнет, палочками гейши начинают подкладывать всю остальную приправу. Наконец всё готово — палочками берем еду и обмакиваем в сырое яйцо. Раскин никак справиться палочками не может и ему приносят вилку и ложку. Пьем сакэ. Гейши беспрерывно наливают. Начинается политический разговор. Иноуэ обращается к Исида — последний к Раскину: «Он спрашивает, как после революции жизнь стала лучше у народа?» — «Ну конечно! — восклицает Раскин — какое может быть сравнение, при этом дураке Николае 2-м, мужик жил, как скотина, а сейчас у нас

скоро все грамотные будут!» Как только Раскин сказал: «при этом дураке Николае 2-м» — японцы уставились на меня — я сделал совершенно равнодушный вид. Затем Раскин принялся рассказывать о необыкновенных достижениях во всех областях жизни в СССР. Исида добросовестно переводил, а японцы вбирали воздух и произносили «аа... аа». Раскину чрезвычайно понравилось и скияки и сакэ. Затем подали пиво сакура и начались танцы. Майя и ее подруга изображали танец «Лисичка». Этот танец заключался в том, что одна гейша — охотник, стремится поймать другую — «лисичку». Однако все движения плавные, медленные. «Охотник» приближается — «лисичка» отступает — по мере этих движений, обе начинают постепенно раздеваться. Разматывают оби. Потом сбрасывают кимоно, затем длинную рубашку, под которой оказывается последняя — короткая до колен. Тут «охотник» обнимает «лисичку» и обе опускаются на тотами. «Охотник» на «лисичке» изображает движениями то, что может быть дальше.

Раскин в восторге. Танец кончается. Начинается пение. Майя около Раскина, он ее обнимает. Когда уже начинает смеркаться мы покидаем ресторан — по существу это публичный дом по нашим понятиям, однако у японцев это носит название или чайного домика или ресторана. Раскин совершенно увлечен Майей и остается. Иноуэ говорит что-то Исида. Исида переводит: «Он говорит, что Майя очень интересная гейша, Раскин-сан ее сильно любит!» В его тоне звучит легкий сарказм. Вечером встречаю поезд, затем иду к себе спать. Утром иду в свой иностранный отдел после встречи поезда. Войдя кланяюсь и говорю: «Охайо гозаимас» — что значит доброе утро. Иноуэ, слегка приподняв голову от стола, с каменным лицом, пристально на меня смотрит, кивает головой и произносит: «ааа!» Все остальные сидят в гробовом молчании, уткнувшись в свои бумажки. Фуджита, Суэока что-то пишут. Проходит с четверть часа. Исида говорит: «За вчерашний вечер с каждого из нас по 15 иен». — «Как дорого!», говорю я. «Да, конечно, но было очень хорошо. Сейчас можно не платить, вычтут из жалованья», — успокаивает Исида. Воцаряется опять молчание. Проходит с час. Иноуэ что-то говорит Исида, упоминая Раскина и Майю. Исида смеется и переводит: «Он говорит, что Раскин-сан оставался с Майей всю ночь. Ну, он ей заплатил 100 иен. Ночь с Майей стоит 50, но

он дал больше, она ему очень понравилась». Оказывается из ресторана уже утром сообщили в полицейское управление, как Раскин проводил там время. Около 12 часов звонок по телефону. Подходит Исида и, как всегда отвечают японцы на телефонный звонок, говорит в трубку: «Моси! моси!» и вдруг начинает говорить по-русски: «Аа, спасибо, да, конечно, да, спасибо!» и вешает трубку. Потом обращается к Иноуэ: «Это из агентства КВЖД, просили передать, что Раскин-сан приглашает всех нас к часу дня опять в этот ресторан!» — Иноуэ вбирает воздух, — «...ааа... содэска... содэска!»

Мы снова с гейшами. Раскин уже не стесняется — он в обнимку с Майей. Майя жеманничает, а японцы необыкновенно довольны. На этот раз Майя ведет себя как молодая хозяйка — она приглашает еще гейш и теперь с каждым из нас сидит по гейше, скияки подаются несколько раз. Потом танцы, пение, снова скияки. Игра в «Лисичку» Раскину страшно понравилась, особенно заключительный акт. Японцы в восторге и громко хохочут. Я сижу с Фуджита с одной стороны и с гейшей с другой. «Вероятно всё это стоит не очень-то дешево, Фуджита-сан, как вы думаете?» — «Да, да, конечно, очень дорого», — отвечает он — «Майя дорогая гейша». — Раскин с Майей сидят в конце стола, словно молодожены — Майя поджав ноги, а Раскин — полулежа, положив голову ей на колени. Через день Раскин приглашает наш «русский отдел» на банкет, который он устраивает для всего коммерческого агентства, вечером в русской гостинице «Россия».

Иноуэ, Фуджита, Суэока, Исида и я к 8 ч. приходим. Довольно большая комната со столами буквой «П», накрытыми белыми скатертями. Масса закусок, графины с водкой, бутылки вина и пива. Появляется Раскин, за ним служащие агентства — народу много. Раскин занимает председательское место на поперечном столе, рядом с ним заведующий агентством и его помощник «китподданный» Попов. Здесь же высокий, красивый нач. станции Куаньченуцзы — О-кий. Это офицер генштаба первой мировой войны. Умный, ловкий, совершенно беспринципный человек. В гражданскую войну он служил в Даурии у барона Унгерн-Штернберга и был начальником штаба дивизии, где, как мне говорили зверствовал, но сейчас он умел быть очаровательным. Сидел он рядом с Раскиным, проявлял к нему подобострастное внимание. Раскин го-

ворил речи, поносил царское правительство и русских мужиков, «которые как бараны всё терпели и только рабочий класс сумел сбросить иго царизма». Исида старательно переводил Иноуэ, который был видимо очень доволен и всё время, вбирая воздух, повторял: «...ааа...ааа!» Около полуночи ушел Иноуэ, Фуджита, Суэока, а мы с Исидой остались. Часам к трем было, по обыкновению порядочно пьяных, начались тосты и холуйские выкрики: «За здоровье Сталина!» «За Сталина ураа!»... Тут Исида и я незаметно ушли. На другой день в полицейском управлении было известно, что остаток ночи Раскин провел в японском ресторане с Майей. Дня через два он уехал. Исида сообщил, что Раскин истратил в японском ресторане около 500 иен. «Одна Майя стоила ему больше 200», со смаком произносил Исида. Японцы смеялись, кивали головами, тянули — «ааа!». А китподданный Попов из коммерческого агентства сообщил мне «по секрету», что Раскин стоил агентству около 3 тысяч иен. «Он производил ревизию японских публичных домов весьма старательно, ну и банкет стоил не мало, ведь пили же до утра!»

Между тем, я всё больше начинал чувствовать, что Иноуэ недоволен моими поездками в Харбин. Обещанных командировок не было, а шел шестой месяц моей службы. И вот как-то в понедельник утром, когда я вошел в нашу комнату, после очередной поездки в Харбин, Иноуэ поднял голову от стола и сказал что-то Исида, упоминая мою фамилию. Исида перевел: — «Иноуэ-сан просит вас пройти с ним вниз, он хочет вам показать арестное помещение», — Иноуэ встал и направился к двери. Я пошел за ним. Мы спустились по черной лестнице в подвальное помещение. В небольшом коридоре ходил взад и вперед полицейский. Тут же стоял столик и стул. Две ступени вели в большой проход, по бокам которого — слева и справа помещались камеры. В сущности это были не камеры, а клетки, т. к. они были забраны деревянной решеткой, внизу у пола было квадратное отверстие, которое, как в клетках для птиц было закрыто решетчатой дверцей, поднимающейся кверху. Чтобы войти в эту камеру, надо было стать на четвереньки и пролезть внутрь. На тотами, в этих клетках сидело, поджав ноги по 3-4 человека китайцев и корейцев. С каждой стороны было по 4 клетки. Далее коридор кончался небольшой площадкой — тут за небольшим столиком сидел полицейский, а

двумя ступенями ниже — у полуоткрытого окна во двор, на уровне земли, стояла длинная, деревянная лавка, на треногах, на которой лежал китаец, крепко привязанный веревками к скамье. Он был как-бы забинтован, руки — вдоль тела, привязанные веревкой к скамье. «Операцию» производит китаец, в правой руке он держит резиновую кишку, на конце которой воронка, а другой конец всунут в нос китайца. В левой — у китайца большой жестяной чайник, из которого он льет воду в воронку. Вода через нос вливается в горло и желудок китайца. Когда мы вошли у китайца живот был уже очень вздут — он глухо мычал и временами прерывисто что-то бормотал. Японец, сидящий за столиком с каменным лицом, писал столбцы иероглифов на бланке. В эту минуту я понял какие стоны я слыхал, когда проходил по двору. Иноуэ с минуту смотрит на китайца, потом переводит взгляд на меня — его лицо ничего не выражает: каменное. Я стараюсь сохранять спокойствие и казаться равнодушным. Он поднимается по ступенькам наверх, я за ним. Мы идем мимо клеток, в которых, поджав ноги сидят арестованные — в каждой клетке настолько тесно, что три человека сидят вплотную и вероятно спят, тесно прижавшись друг к другу. Поднимаемся по лестнице во второй этаж. У меня в голове только одна мысль: надо во что бы то ни стало отсюда уходить. Отвратительное, ужасное зрелище так меня потрясло, что я весь день не находил себе места. Между прочим потом, после занятия с. Маньчжурии в 32 г., когда японцы окрепли и почувствовали себя хозяевами, они тот же способ пыток стали применять и к арестованным русским, причем палачами были русские полицейские, находившиеся у них на службе, но в китайской форме. Утвердилась даже ходячая фраза, которую эти полицейские не без хвастовства произносили: «заговорил на втором чайнике!» Надо сказать, что эти пытки японцы старались производить не своими руками, они только «присутствовали» и «записывали». Не все, однако, соглашались выполнять роль палачей. Так например, когда началось наступление советской армии, японцы арестовали в Хайларе еврея Гутмана и его сына и приказали русским полицейским отрубить им головы. Двое отказались несмотря на то, что японцы объявили, что они будут убиты, если не исполнят приказания. Ничто, однако, не могло их заставить совершить это убийство и они тут же были расстреляны. Нашелся тре-

тий, который оказался слабее своих товарищей, проявивших несомненное геройство. Он отрубил головы этим несчастным людям, но и сам тут же был расстрелян японцами. Дочь Гутмана с мужем и второй сын в это время, по счастью, были в Харбине. С Гутманами мы были хорошо знакомы и они нам рассказали всю эту историю. Потом они уехали в Израиль. Такие зверства производились не только в Хайларе, но и в других городах Маньчжурии. Полный разгром застал японцев врасплох.

Теперь я единственно о чем думал — об уходе из полицейского управления. Когда Иноуэ, а за ним и я, вошли в нашу комнату, Исида, Фуджита, Суэока уткнулись в свои бумаги не произнося ни слова. Я, разумеется, прекрасно понял в чем дело: Иноуэ решил «показать» мне как японцы расправляются с «преступниками», чтобы я «на всякий случай» знал!

Вскоре судьба неожиданно послала мне тяжелое испытание, которое в конечном результате было для меня счастливым и изменило всю мою жизнь. Как-то я приехал в одну из суббот домой. Вечером жена мне вдруг объявила, что она пришла к заключению, что мы должны развестись. Я был ошеломлен. Теперь для меня стало ясно почему она так усиленно «советовала» мне взять место в Чаньчуне!

В это время — октябрь 1929 г. — назревал конфликт СССР с Мукденом. Конфликт этот был целиком инспирирован японцами. Они тогда уже решили, что наступил момент захватить КВЖД. Они надеялись полностью остановить движение на дороге и явиться в качестве «спасителей». По распоряжению из Мукдена в Харбине китайцы арестовали советского управляющего КВЖД Иванова, его помощника инж. Эйсмонта, главного бухгалтера, советских членов правления и, посадив их в вагон, отправили в СССР. В ответ на это советское правительство предписало всем служащим дороги с советскими квитанциями — «квитподданные» — оставить свои места, а на КВЖД служащими с квитанциями были почти все, а китподданных, т. е. с китайскими паспортами, к тому времени насчитывалось не более 1.200 чел. Таким образом создавалась такая обстановка, когда, казалось, дорога должна остановиться, чего очень хотели японцы, почему они всячески и старались облегчить положение «квитподданных», покинувших дорогу.

В Чаньчунь хлынули советские «беженцы». В Ямато-отеле поселились такие тузы, как профессор Устрялов, заведывавший центральной библиотекой КВЖД; Дикий, заведующий экономическим бюро дороги; Нечкин — журналист, редактор советской газеты «Трибуна». Более мелкая сошка рассыпалась по городским гостиницам. Но самым знаменитым было появление на Чаньчуньском вокзале пульмановского вагона 1 класса КВЖД с самим советским консулом Малиновским. Лишь только начались аресты, Малиновский немедленно погрузился в вагон со своими сотрудниками и отправился под покровительство японцев. Вагон появился на ст. Чаньчунь рано утром. Японцы пришли в состояние какого-то полного обалдения. Весь наш «иностранный отдел» понесся на вокзал. Прибыв на вокзал, мы увидели вагон Малиновского уже стоящим в тупике, на запасном пути. Сейчас же на соседний путь был продвинут пустой вагон III класса, с открытыми окнами, куда ринулись полицейские и, заняв места у окон, не спускали глаз с вагона Малиновского. Между тем Иноуэ, Исида, Фуджита, Суэока и переводчик из жандармского управления с Яскорским подошли к вагону с другой стороны — со стороны вокзала. Вагон Малиновского безмолвствовал. Я наблюдал эту картину из окна вокзала. Иноуэ с минуту стоял у подножки вагона, видимо, не зная, как быть? Но затем подозвал Исида и Яскорского и стал их подталкивать в вагон. Дальше мне рассказывал Яскорский, неудержимо смеясь, описывая всю эту сцену: «Вошли мы в вагон. Стоим в коридоре. Где купэ Малиновского не знаем. Навстречу проводник. «Где г-н консул?», спрашивает Исида. Проводник показывает на среднее купэ. Подходим к купэ. Иноуэ говорит Исида, чтобы тот постучал. Исида вежливо стучит. Молчание. Стучит сильнее — ничего. Иноуэ начинает сам стучать. Вдруг дверь отодвигается и в щель высовывается голова Малиновского: «Что вам угодно? Оставьте меня в покое!» — говорит он раздраженно. Иноуэ пытается что-то сказать, но дверь быстро задвигается.

Обитатели же Ямато-отеля сидели весь день перед отелем в лонгшезах во главе с Устряловым и гадали что будет дальше, как развернутся события. Исида заявил мне, что с советскими надо быть очень вежливыми и ни под каким видом не выказывать к ним недоброжелательства. «Советские люди очень хорошие!» — неизменно добавлял он. Тем не менее из этого «по-

кровительства» советским гражданам ничего не получилось — во-первых, потому, что не все вняли зову консульства прекратить работу на дороге, а во-вторых, потому, что эмигранты и уволенные раньше служащие КВЖД, не пожелавшие брать совпаспортов, хлынули на службу дороги. Управляющим КВЖД был назначен И-Ли-Чун, китаец с русским образованием, безукоризненно говоривший по-русски и женатый на русской. Взамен ушедших совграждан, сейчас же начался прием эмигрантов и к великой досаде японцев дорога не остановилась. Я хорошо помню, как поздно вечером в первый день «инцидента» — японцы, не сдерживая своего торжества, были убеждены, что поездов из Харбина не будет, дорога станет. Но с большим опозданием, поздно ночью, поезда пошли к великой досаде японцев.

Между тем китайцы сосредоточили в районе Хайлара 60-тысячную армию. Несколько эскадронов советской кавалерии перешли границу, атаковали китайцев. Китайская армия даже не сопротивлялась и панически бежала по дороге, грабя китайские деревни и русские предприятия и железнодорожников. В Харбине среди некоторой, правда небольшой, части эмигрантов, началась паника и бегство в Шанхай. В первые дни, в каждом поезде приходящем в Чаньчунь находилось по несколько человек харбинских эмигрантов. Мы проверяли их паспорта, а они передавали самые фантастические слухи. По их словам в Харбин вот-вот войдут «красные». Все советские в Чаньчуне торжествовали. Устрялов, который очень остро переживал все эти события, успокоился и нараспев, слегка в нос говорил: — «Ну этого надо было ожидать!» Но тут японцы спохватились и заявили Москве, что продвижения советских войск дальше Хайлара не допустят и совершенно неожиданно в Мукдене появился атаман Семенов, а в Чаньчунь приехал его представитель генерал Малакен и его «нач. штаба» ген. Савельев и д-р Голенковский с секретарем Шиловым. Все они остановились в гост. «Модерн» и затем явились в полицейское управление, в русский отдел «представиться». Исида старательно расспрашивал каждого — чем он занимался, зачем приехал в Чаньчунь и т. д. Тем временем на дорогу вернулись советские, во главе с новым управляющим КВЖД Рудым. Вернулись и все ушедшие, а эмигранты немедленно были уволены. Между тем тихоокеанский флот Америки начал маневры у

о-ва Гуама и берегов Китая. На этот раз японцы не рискнули захватить с. Маньчжурию и на дороге воцарились прежние порядки и Семенов также неожиданно исчез, как и появился. «Представители», проев и пропив все отпущенные им деньги, отправились в Харбин. Так закончилась вся эта удивительная авантюра. Между тем лично моя жизнь складывалась запутано и тяжело. Жена настаивала на разводе. Мне следовало быть в Харбине, служба у японцев в полицейском управлении была настолько отвратительна, что я решил уходить о чем и заявил Исида. Он начал было меня уговаривать, но я был непреклонен. Единственно на что я согласился это подождать один месяц, пока они не найдут мне заместителя. Заместитель скоро нашелся — это был всё тот же Яскорский из жандармского управления.

В Харбине, вскоре я встретил мою теперешнюю жену, с которой мы счастливо живем уже 35-й год. В это время в Харбине выходила китайская газета «Гунь-Бао», редактором которой стал Всеволод Иванов — талантливый поэт и журналист, мой большой приятель, человек огромного роста и толщины. Еще когда я уезжал в Чаньчунь он мне предложил быть сотрудником — теперь я стал писать в «Гунь-Бао» постоянно. Что касается «Русского Слова» — эта газета совершенно захирела. Затем я устроился преподавателем истории и географии в лицей св. Николая, основанный в Харбине униатами. В лицее я пробыл почти четыре года. Кончилось мое знакомство с униатами печально: я с ними разбранился.

И вот, когда я расстался с лицеем и оказался «безработным», я неожиданно встретил как-то своего старого знакомого ген. М. Микэ — того самого, которого в 19 г. принимал в Омске, когда он был майором. Он пригласил меня к себе. Жил он в Модягоу — пригород Харбина, в отдельном флигеле, в большой квартире. Микэ спросил меня «что я делаю?» Я сказал, что только что расстался с лицеем св. Николая и теперь пока ничего не имею. — «Ну, в таком случае я могу вас рекомендовать в военную миссию, там нужны служащие» — сказал Микэ. Я его поблагодарил. Затем мы говорили об Омске, вспомнили как принимал японскую делегацию ген. Розанов. Теперь Микэ состоял советником при квантунском ген.-губернаторе. На самом деле, как я узнал потом, Микэ находился в некотором роде в опале, т. к. был в оппозиции к ген. Араки

и движению, которое последний возглавлял под названием «Молодая Япония».

Дня через три, около 3-х часов, когда мы кончили обедать, неожиданно, из военной миссии, на велосипеде, приехал какой-то молодой русский парень и сообщил мне, что меня просят во 2-ой отдел военной миссии, который помещался недалеко от нас на Гиринской ул. в доме б. Шевченко. В Харбине, в двадцатых годах японская военная миссия состояла из нескольких человек во главе с капитаном и одним русским молодым человеком, который хорошо владел японским языком. Через несколько лет военную миссию возглавлял уже полковник и в миссии служило 6 человек русских — все бывшие офицеры, а к 35 году военную миссию возглавлял ген. майор, было больше 30 русских — почти все б. военные и состояла миссия из трех отделов: 1-ый — ведал русскими эмигрантами и «бюро по делам русских эмигрантов», которое японцы учредили, когда заняли Харбин; 2-ой отдел — ведающий разведкой и, наконец, 3-й отдел — пропагандный. Во главе каждого был майор.

Большой четырехэтажный дом на Гиринской улице был весь занят 2-ым отделом военной миссии. Поднявшись на площадку первого этажа я увидел стол, на котором лежала развернутая папка с фамилиями, против которых стояли печатки, которые ставили служащие, приходя на службу. Над столом висел плакат, на котором по-русски, большими черными буквами стояло: «Соблюдайте тишину». Тут же сидел японец — унтер-офицер, очевидно уже знавший о моем приходе, он поднялся и со словами: «Ильин-сан?» пошел на второй этаж, а я за ним. Остановились у двери, он постучал и на возглас «Ай! ай!» — открыл дверь со словами: — «Ильин-сан». За письменным столом сидел лет 35, небольшой японец. На довольно хорошем русском языке он произнес: «Садитесь пожалуйста!», указав на стул у письменного стола. Он сказал, что меня рекомендовал ген. Микэ, что я буду получать 100 иен в месяц и что сейчас придет полковник Кононов, который проводит меня в комнату, где мне надлежало работать и объяснит мои обязанности. С этими словами он нажал одну из многочисленных кнопок на доске, справа от него, и через минуту явился довольно высокий, плотного сложения светлый шатен, на вид лет 45 в довольно поношенном штатском костюме. Японец, об-

ращаясь к нему произнес: — «Кононов-сан, проводите Ильин-сана в 5-ую комнату, где он будет работать». Когда мы вышли в коридор Кононов, протягивая мне руку, произнес: «Полковник Кононов!» Я в свою очередь назвал себя. В пятой комнате, куда привел меня Кононов было два стола, за каждым из которых сидело 4 человека. Перед ними стояли толстые книги в суровых холщевых переплетах с пружинными корешками, в которые вставлялись специальные листы линованной бумаги. Первого кого я увидел это был ген. Касаткин — тот самый ген. Касаткин, который был в Омске, в ставке, начальником военных сообщений и который был предан Колчаком военно-полевому суду. Касаткин сильно изменился — постарел, ходил с палкой, одна нога у него волочилась, была парализована. Он весьма радостно меня приветствовал. Затем началось представление: тут оказались подполковник Муффель — артиллерист, кап. Люц, есаул Михайлов, полковник Зеленый — артиллерист. Затем, Кононов меня повел по другим комнатам, знакомя с сослуживцами. Наконец мне было показано мое место. Я оказался рядом с ген. Касаткиным, напротив сидели Муффель и Люц, а за соседним столом — Зеленый, Михайлов, сам Кононов и кап. Грассе. «Работа» заключалась в том, чтобы из пачки советских газет выписывать все заметки, статьи, сообщения, касающиеся красной армии и все эти сведения систематизировать, заносить на листок, вставлять его в папку и затем составлять доклад, например такой: «Такая-то часть красной армии оказалась в Хабаровске, тогда как раньше она была на Кавказе из чего можно заключить, что она переброшена на Д. Восток, вероятно тогда-то». Каждому из нас ежедневно приносились газеты — одному, например «Тихоокеанская Красная Звезда», другому — «Хабаровская Правда», третьему — «Известия», «Правда», «Коммунист» и т. д.

(Окончание следует)

И. С. Ильин

П. С. В первом отрывке моего очерка «На службе у японцев», в кн. 80, мной была допущена досадная описка. Я написал, что японцы не выговаривают букву «р», вместо которой произносят «л», это неверно, на самом деле как раз наоборот, японцы произносят вместо «л» — «р». Пользуюсь случаем также исправить опечатку: Авдощенков был не Амилий Яковлевич, а Амплий Яковлевич. **И. И.**

ЛЕОНИД КРАСИН

Эти воспоминания о Красине принадлежат Александру Дмитриевичу Нагловскому. В 1936 году в Париже Р. Б. Гуль со слов А. Д. записал его воспоминания о многих видных большевиках: о Ленине, Троцком, Зиновьеве, Красине. О первых трех воспоминания А. Д. были тогда же напечатаны в «Совр. Записках» (кн. 61, 62), но к сожалению с довольно большими редакционными сокращениями. Воспоминания появились под инициалами Н. Н. Воспоминания же о Красине оставались в архиве Р. Б. Гуля и появляются впервые. А. Д. Нагловский был сыном генерала, близкого ко двору. Среднее образование А. Д. получил в Александровском лицее. Высшее в Институте Инженеров Путей Сообщения. Но еще в лицее А. Д. увлекся марксизмом и будучи студентом вступил в с. д. партию, примкнув к большевикам. Ленина А. Д. встречал еще до революции в Женеве, как и многих других главарей большевиков. Во время революции в Петрограде А. Д. был у Зиновьева в «Петрокоммуне» комиссаром «путей сообщения». Позднее А. Д., как образованный человек, владевший всеми европейскими языками был отправлен в составе первой советской делегации в Италию в качестве торгпреда. Но из Европы А. Д. в Россию уже не вернулся. Заграницей он вскоре же порвал с большевиками, был ими объявлен «врагом народа» и поставлен «вне закона». Скончался А. Д. в Париже во время второй мировой войны. РЕД.

Из всех старых большевиков, включая Ленина и Троцкого Л. Б. Красин казался мне всегда человеком наиболее крупным и интересным. До революции 1917 года с Красиным мне встречаться по партийной работе не приходилось, но после революции по своей службе я встречался с Красиным очень часто, в самой различной обстановке и в различные периоды революции, как в мирной, так и в «жаркой» работе, как например, в дни наступления генерала Юденича на Петроград.

Красин несомненно был одним из самых значительных по уму и одаренности большевиков. Правда, во время революции Красина можно было только с большими оговорками назвать большевиком. Задолго до революции отошедший от партии, он и после октября по-настоящему войти в партию ленинцев не смог. Этому мешали явное неверие Красина в эксперимент Ленина с

одной стороны и недоверие к Красину, как большевику, настоящих, правоверных, никогда от партии неотходивших ленинцев, как Дзержинский, Сталин, Зиновьев и др.

Дореволюционная карьера Красина в достаточной степени известна и я ее не коснусь кроме одного никем еще нерасказанного эпизода. Красин был сравнительно редким среди старых большевиков типом настоящего «дельца-коммуниста», сочетавшего знание подполья с уменьем широко, по-американски, с размахом вести крупные дела. Конечно, этот делец не был солидным предпринимателем, это был скорее делец-спекулянт, делец-рвач. Но именно это-то уменье Красина «блефнуть на всю Европу» весьма, в частности, и ценилось Лениным, выдвигавшим Красина на высокие хозяйственные посты.

О том, как началась деловая «американская» карьера Красина мало кто знает. Я расскажу этот случай, происшедший еще перед первой революцией 1905 года. Красин тогда служил аквизитором в московском представительстве Сименса и Шуккерта. Доставал он своей фирме заказы, получал комиссию — должность не Бог весть какая! Но «американец» Красин вскоре сумел доказать свое делячество самым ярким образом. В Саратове городская дума решила строить трамвай. Красин узнал, что переговоры ведутся с конкурирующей фирмой и предложил своей фирме тоже сделать соответствующее предложение. Но фирму Симменс-Шуккерт этот заказ почему-то не заинтересовал. Красин же настаивал перед дирекцией и фирма дала ему наконец прогонные и суточные, чтоб он поехал на место и если представится что-нибудь интересное сообщил. Красин прибыл на место. И тут начинается история первого блефа, выведшего Красина в люди.

В Саратове оборотистый Красин, приехавший представителем мировой фирмы, естественно, обратил на себя внимание. Он сразу же завел нужные знакомства в городской думе, заявив, что приехал с самым твердым решением фирмы во что бы то ни стало добиться передачи заказа ей.

В борьбе же с конкурентами Красин действовал следующим образом. Он остановился в той самой гостинице, что и представители конкурентной фирмы и, любитель кутнуть, свел с ними ресторанное знакомство. Во время одного кутежа Красин, уйдя из отдельного кабинета, «забыл» свой портфель, в котором были все предложения Симменс-Шуккерт, составленные Кра-

синым чуть ли не на сорок процентов ниже предложений конкурирующей фирмы. «Спохватился» о пропаже портфеля и поднял на ноги всю гостиницу Красин не сразу, а только... на следующее утро. Портфель был найден. Но и дело было сделано. В тот же день представитель конкурентной фирмы пригласил Красина пообедать вместе и за обедом стал усиленно предлагать Красину отступное. А Красин играл свою роль дальше, он сказал, что протелеграфирует своей дирекции в Москву.

Телеграфировал он или нет — неизвестно, но Красин получил для своей фирмы 500.000 рублей отступного. И приехав в Москву с этими деньгами кроме хорошего процента за принесенные ни с того ни с сего деньги, получил еще за свое проворство место директора московского отделения Симменса и Шуккерта, на каковом посту и начал действовать дальше, столь же ловко обогащаясь сам и обогащая крупнейшую капиталистическую иностранную фирму.

К моменту революции Красин был уже очень богатым человеком и революция, собственно, ему была совершенно ненужна. Но она случилась. И Красин, ушедший из партии задолго до революции, теперь был вынужден вспомнить «грехи молодости». И не только вспомнить, но и принять участие в «ленинской авантюре», как он в кругу близких людей всегда называл октябрьский переворот.

Этот невысокий, красивый, всегда прекрасно одетый барин чрезвычайно разнился от грязноватых ленинцев. Разница была не только внешняя, но и внутренняя. Вместе с своими аферами Красин сочетал большую начитанность, образованность, знание иностранных языков, знание литературы, интерес к искусству, вообще это был европеец. В обращении он всегда был очень демократичен и приятен, но это опять-таки была лишь европейская форма. По сути своей Красин был человеком очень сухим, холодным, к людям симпатии не имевшим и людьми не интересовавшийся. Его мог волновать только лишь «бизнес». В этом смысле он и должен был проявить свои таланты, когда Ленин привлек его в Смольный для назначения на ответственные хозяйственные посты.

Помню, как Красин, смеясь, рассказывал о своем разговоре с Лениным на тему мировой пролетарской революции. Подсмеиваясь над собеседником, Ленин уверял Красина, что тот ничего уж в революциях не понимает.

— Всё это будет совсем не так. Представьте себе, вы едете в экспрессе, за столиком у вас шампанское, цветы, вы наслаждаетесь с такими же буржуями как и вы сам. Но вот входит кондуктор и кричит: — Die nächste Station — Dictatur des Proletariats! Alles aussteigen!! и Ленин, по словам Красина, заливался хохотом.

Но отношение остальной головки большевиков к Красину было совсем иным. Ленинцы Красина чрезвычайно не любили. Например, отношения Красина и Зиновьева, которые мне часто приходилось наблюдать, были наихудшие; эти люди буквально ненавидели друг друга. Но именно Зиновьев на одном из заседаний Совета Рабочих депутатов, выступив с речью о культурных и технических силах большевиков, красочно представил пролетариату примкнувшего тогда в большевикам Красина.

— Наши враги говорят, что у нас, большевиков, нет сил! Нет, товарищи, у нас есть силы — вот у нас лучший в мире русский инженер — наш товарищ Л. Б. Красин!

И под гром аплодисментов, который вызвал Зиновьев своей ораторской паузой с восклицательными знаками, Красин вышел на трибуну и «представляясь пролетариату» сказал несколько эфектных слов.

Но ненавидел Красина не только Зиновьев. Не преувеличу, если скажу, что также к нему относился весь (за исключением Чичерина) наркоминдел: Литвинов, Воровский, Карахан, Стомоняков, весь коминтерн, все чекисты во главе с Дзержинским и всё армейское, что окружало тогда еще незаметного Сталина. Красин держался исключительно и только дружбой с Лениным и верой Ленина не только в «блеферские», но и в серьезные хозяйственные таланты старого соратника «Никитича».

«Врагом коминтерна» Красин был потому, что убеждал Ленина в том, что тактика «прямого действия» на Западе ошибочна, неверна. Красин хотел «торговать всерьез» и убеждал Ленина в необходимости завязывать с Европой широкие деловые отношения. Коминтернщики же хотели только одного: всерьез и немедленно делать иностранные революции.

Красин развивал перед Лениным своеобразные идеи, что «на Западе всё можно делать деньгами» и предлагал широко впускать иностранные капиталы в Россию, связывая их руки концессиями. Против этой «хозяйственной» точки зрения восставал, разумеется, коминтерн, требовавший на себя, в свое рас-

поряжение, громадные средства на «разжиганье мировой революции».

В те, уже далекие времена, у Ленина одним из пунктов помешательства была «электрофикация». Красин развивал ему и на эту тему в его кабинете какие-угодно перспективы и Ленин назначил Красина первым заведующим «электротрестом».

Уже на этом посту враги Красина подводили под него мины. Но дружба Ленина была крепка и Красин употреблялся диктатором на самые разнообразные роли. Так, в 1919 году в дни наступления Юденича на Петроград, когда казалось, что Петроград будет взят, Красин предложил Ленину план приведения в негодность всех питерских фабрик и заводов. И Ленин командировал Красина в Петроград для выполнения этого плана в случае надобности.

По указаниям приехавшего Красина машины на фабриках и заводах должны были быть приведены в негодность тем, что из них будут вынуты главные части; при чем это приведение в негодность должно было быть сделано так, чтоб с максимальной быстротой можно было их работу восстановить.

Конечно, Красин, развивая Ленину планы электрофикации, приведенья в негодность питерских фабрик и заводов, и торговли с Западом, не «горел огнем революции», как, например, Дзержинский. В Красине было чересчур много скепсиса и наплевательства на всё и вся. И вот когда в Питере числа 22-23 октября, по приказу Троцкого начали было уже проводить эвакуацию и Троцкий хотел отдать приказ о приводе в исполнение плана Красина, оказалось, что в Смольном Красина нет. Где он? Никто не знал. Туда-сюда. Начались поиски, ибо «промедление было смерти подобно». И наконец Зиновьеву пришла в голову мысль, что Красин наверное на Петербургской стороне у женщины, с которой был в связи. Узнали адрес. И я поехал туда на автомобиле. Действительно, на фоне голодного Петербурга этот директор «уничтожения петербургской промышленности», Красин, проводил вечер за шампанским и прекрасным ужином.

Естественно, что многое в характере и действиях Красина приводило в бешенство твердокаменных ленинцев-коммунистов. Но и у Красина не было симпатий к коммунистам. Так, встав во главе НКПС, как человек «только дела», Красин сразу же попробовал опереться на спецов, чем вызвал новое бешенство чекистов во главе с Дзержинским. Они тут же повели атаку на Кра-

сина и атака была не трудна, ибо у дельца Красина была ахиллесова пята: он был чрезвычайно неразборчив в людях, и в НКПС и в Внешторге был всегда окружен спекулянтами разных мастей и темными дельцами.

Одним из таких ударов по Красину был случай происшедший в 1919 году на моих глазах в Петербурге. Туда Красин приехал к Зиновьеву в сопровождении какого-то даже по виду странного человека: европейски-одетый, с прекрасными манерами, с холеной бородой этот господин, представленный Красиным Зиновьеву, как большой специалист-инженер, производил темное впечатление. И каково же было удивление Красина, когда, ничего об этом не сообщая ему, чекисты схватили и тут же расстреляли на Гороховой этого его «ближайшего сотрудника», изобличив в нем действительно агента иностранного государства. Разумеется такая «халатность» Красина была использована его врагами.

В момент заведывания Красина НКПС между ним и Дзержинским установились самые острые отношения. По знаку Дзержинского чекисты хватали сотрудников Красина и виноватых и невинных; задача чекистов была одна: скомпрометировать наркома; расстрелы шли пачками. Пытаясь спасать своих людей от расстрела, а себя от пораженья в этой борьбе Красину оставалось одно: непосредственно обращаться к Ленину. Это был его единственный ход; он его и делал.

Из столкновений Красина с Дзержинским мне запомнилось особенно одно, из-за инженера Названова, схваченного чекистами и обвиненного во взятках; вместе с Названовым чекой было схвачено множество инженеров, техников и служащих внешторга — расстрел грозил сотням людей. Почувствовав, что дело принимает плохой оборот Красин бросился к Ленину, но добиться он смог только одного, чтобы лист осужденных чекой на расстрел был просмотрен самим Лениным. Ленин такой лист получил. И Красин приехал к Ленину в кабинет. В этом листе, как рассказывал Красин, было человек 250. Красин хорошо знал, что все обвинения чекой этих людей ложны, что тут всё дело в междуведомственной борьбе против него. Он убеждал в этом Ленина. Тем не менее рассмотрение «листа» было в высшей степени драматическим. Как рассказывал Красин, в тот момент когда они с Лениным в кабинете просматривали этот список осужденных на казнь и Красин с трудом отвоевывал у Ленина человека за

человеком, из чеки в кабинет Ленина то и дело звонил Дрезжинский, справляясь, когда же Ленин вернет список. Ленин каждый раз оттягивал: «через полчаса», «через четверть часа». Уламывая Ленина два часа Красин продолжал отвоевывать людей, но Ленин шел на это очень неохотно, не желая «обидеть волновавшегося Дзержинского». И Красину удалось отстоять только одиннадцать человек своих близких служащих. Помню, как приехав от Ленина, этот холодный и несклонный к сантиментальностям человек, Красин, крайне взволнованный ходил по кабинету, бормоча: — «ведь это ж черт знает что такое! ведь это же преступление! расстреливают людей ни за что ни про что!»

Таким способом чекисты сводили счеты с Красиным и «красинцами», стараясь расстрелами вокруг наркома свалить его самого с поста. И в конечном счете чекисты, преследуя Красина в каждом ведомстве и на каждом посту, победили его. Я охотно верю рассказам передававшимся среди большевиков о том, что уже долго спустя после смерти Ленина и незадолго до смерти Красина, от него, вызванного в Москву Дзержинский в присутствии Сталина, наставив на Красина револьвер, требовал подписания чеков на лежавшие на имя Красина деньги в иностранных банках. При нраве Дзержинского и при его ненависти к «этому рвачу» это было вполне естественно.

Из этой поездки Красин вернулся совершенно больной и вскоре умер, оставив свою семью без средств. Среди большевиков тогда ходили слухи, что и в смерти его были повинны чекисты.

НОВОЕ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Исследования по истории русской культуры в широком смысле этого слова появляются в самых различных изданиях. Поэтому следить за ними довольно трудно и многие — и не только мелкие — открытия исчезают из поля зрения даже специалистов. Между тем некоторые открытия последних лет представляют значительный интерес и для широких кругов читателей. Позволю себе в нескольких очерках обратить внимание на интересные, а иногда даже «сенсационные» работы последних лет.

Первые очерки я посвящу работам исследователя истории мировой и русской науки, недавно скончавшегося Василия Павловича Зубова (1899-1963). Зубов первоначально занимался историей искусства, но довольно рано, исходя из своих работ по истории архитектуры и перспективы, заинтересовался вопросами истории точных наук. С 1929 года он опубликовал более 200 статей и рецензий, значительная часть которых посвящена истории науки в Западной Европе. Многие из этих работ вышли на иностранных языках в заграничных изданиях. Последняя его книга по истории атомистики вышла в 1965 году уже после смерти автора.

В сравнительно немногих работах Зубов касался истории **русской** науки и его книга по истории русского естествознания 19 века, а особенно ряд небольших статей и заметок представляет большую ценность, так как в них он касается новых или до сих пор недостаточно освещенных вопросов. Таковы его замечания о русских переводах и переработках сочинений Аристотеля в 17 веке, заметки о переведенном еще в 10 веке в Болгарии философско-богословском трактате Иоанна Дамаскина «Источник Знания», который в 16 веке вошел в состав «Великих Четий-Миней» митрополита Макария, таковы его замечания о недостаточно изученном влиянии философских сочинений испанского мистика 13 века, Раймунда Лулия в России.

С сочинениями Лулия познакомился в 17 веке один из украинских странствователей по Европе, попавший в Испанию, на остров Маллорку, где в богословском преподавании пользовались сочинениями Лулия, — таким образом эти сочинения попали в Киевскую Духовную Академию, затем в Москву, ими увлеклись и старообрядцы, их выдающийся «профессор», Андрей Денисов, пользовался философскими трактатами Лулия, преподавая в старообрядческой Академии «на Ветке», в далеких лесах северной России.

В 1950 году Зубов напечатал в непериодическом сборнике «Историко-математические исследования» (том III) статью об «Одном древне-русском памятнике 15 века». Эта статья, правда, не решает окончательно всех поставленных в ней вопросов, но во всяком случае указывает на интереснейшую страницу из истории древне-русской философской литературы.

Статья Зубова касается древнерусского перевода произведения арабского философа Аль-Газали, жившего в 11-12 вв. (1059-1111), преподававшего в Багдаде, затем в Сирии (в г. Суфи). Аль-Газали принадлежал к тем арабским мыслителям, которые восприняли традиции древне-греческой науки и передали их средневековой Европе. Как оказывается, не только Западной Европе, но и России.

Среди древне-русских текстов 15 века есть ряд трактатов, переведенных с древне-еврейского. Ими историки литературы занимались сравнительно мало. Два таких перевода даже напечатаны: это псевдо-аристотелевский трактат «Тайная Тайных» и «Логика Афиасафа». Известный петербургский ориенталист П. Коковцев приписывал сначала эту «Логику» арабскому философу Аль-Фараби, жившему полтораста лет до Аль-Газали. И только когда киевский студент С. Л. Неверов издал «Логику» на основе одного ее списка, Коковцев, ознакомившись с ее текстом установил, что это произведение Аль-Газали или вернее первая часть его книги «Устремления философов» («Макасид аль фаласифа»). Напечатанным текстом никто ближе не занялся, так как в западной истории философии отношение к ней было довольно пренебрежительное, как к неоригинальной компиляции. Это мнение в настоящее время решительно отвергнуто и «Логика» Аль-Газали «реабилитирована».

Сведения о существовавших в переводах с древне-еврей-

ского дальнейших древне-русских рукописных произведений оставались не весьма ясными. Одно из них было во всяком случае переводом с древне-еврейского дальнейших частей «Макасид». Отсутствие интереса к этим произведениям основывалось на представлении, что их язык был никому непонятной «тарабарщиной»: конечно, он в корне отличался от философского языка древне-русской по преимуществу богословской и исторической литературы, переведенной с византийского греческого языка.

Перед исследователями стояли значительные трудности: перевод на древне-русский язык был сделан не с арабского оригинала, а с древне-еврейского перевода; произведения Аль-Газали существовали по крайней мере в трех древне-еврейских переводах. Для изучения древне-еврейских переводов было необходимо не только знание древне-еврейского и арабского языков, но также и хорошая осведомленность в истории философии. Переводы с древне-еврейского приписывались «секте» 15 века так наз. «жидовствующих». Так что для исследователя необходимо было и знание истории церкви.

Зубов — не ориенталист, но он нашел возможности, подходя к памятнику так сказать «со стороны» установить несколько весьма важных фактов и указать пути дальнейшим исследователям.

О «жидовствующих» мы знаем очень немного, а главное исключительно от их врагов. От Иосифа Волоцкого, за суждениями которого вряд ли можно признать какую-то, даже весьма умеренную, степень объективности и справедливости, и вряд ли также минимум понимания чуждых ему идей. Еще меньше мы узнаём от другого современника «жидовствующих» — новгородского архиепископа Геннадия. Кстати и самое имя «жидовствующие» было дано «сектантам» их врагами и только после полного разгрома секты. К ней примыкали, однако, в Новгороде и Москве представители духовенства и она нашла сочувствие в близких к московскому двору кругах: среди жидовствующих был дипломат Федор Курицын и даже по всей видимости невестка Великого князя московского Иоанна Третьего, Елена. После суда над «еретиками» в 1504 году в Москве и Новгороде было сожжено несколько представителей «секты». О суде над ними мы ничего не знаем. Да даже если бы и сохранились протоколы процесса, то в них, вероятно,

было бы не больше правдивых сведений, чем в более поздних протоколах процессов против таких «еретиков», как верный сторонник Нила Сорского Вассиан Патрикеев или афонский монах Максим Грек, приглашенный в Россию для переводческой работы и оставшийся в ней до смерти, долгие годы в тюремном или монастырском заключении — и ставший значительным русским писателем. Обвинения обоих в «еретичестве» основаны на мелочах, недоразумениях и прямом извращении истины обвинителями. Религиозных произведений «жидовствующих» не сохранилось, если не считать **по всей вероятности** сделанных ими переводов с древне-еврейского таких книг Ветхого Завета, которых в то время еще не было в славянском переводе (или перевод которых был к тому времени утрачен; как напр. «Книга Руфь»). Перевод Псалтыри с древне-еврейского (оформленный по еврейскому образцу разделением на группы псалмов, так называемые «параши»), возможно, по предположению о. Г. Флоровского, был изготовлен евреями для их соплеменников не изучивших древне-еврейского языка, но знавших язык славян, среди которых они жили: евреи в Чехии также пользовались иногда вместо древне-еврейского старо-чешским языком. На долю «жидовствующих» оставались среди доступных нам памятников лишь уже упоминавшиеся философские произведения, затем приписывавшиеся им без достаточных оснований «гадательные» и «суеверные» книги. К последним относили долгое время загадочную книгу «Шестикрыл», пока историк русской астрономии Д. О. Святский не установил, что это просто таблицы лунного движения, необходимые для вычисления дня празднования Пасхи.

Враги жидовствующих упрекали их в том, что они приняли еврейскую обрядность, затем обвиняли их в отрицании почитания святых, в отвержении молитв за умерших, в утверждении, что молиться можно везде, а не только в церкви (что истолковывалось, как отрицание богослужения), наконец утверждали, что они отрицали божественность Христа. Насколько эти упреки были основательны, сказать трудно. Во всяком случае соблюдение еврейской ритуальной обрядности вряд ли было возможно для людей живших среди православного общества (тем более, что, как упомянуто, к жидовствующим принадлежали представители духовенства и низшего клира). Молитвы за умерших евреями вовсе не отрицаются, напротив: в

синагоге есть лицо, специальностью которого является чтение молитв за умерших, при этом не только за умерших евреев, но и за иноверцев, в том числе за христиан.

Неясность учения и деятельности жидовствующих не помешала русским историкам литературы и культуры в 19 веке принимать на веру все сомнительные свидетельства и считать жидовствующих или еретиками или «рационалистами 15 века» или находившимися под влиянием западно-европейского ренессанса «религиозными скептиками». Прогрессивным и «просвещенным» журналистам 19 века существование таких «прогрессивных элементов» в обществе древней Руси казалось, конечно, положительным фактом. Между тем все эти предположения построены на песке: напр. влияние ренессанса можно было обосновать только на том факте, что те же или подобные произведения арабской научной и философской литературы в 16 веке печатались в латинских переводах в Италии. Но трактат Аль-Газали был переведен на латинский язык еще в 12 веке, а «Тайная Тайных» — была распространенным на латинском языке произведением во всяком случае в 13 веке.

Только в последнее время заметили, что приписываемые жидовствующим религиозные воззрения сходны вовсе не с догматами иудейства, а гораздо больше с мнениями некоторых радикальных групп чешских гуситов. Об этом писал В. Строев, указавший на возможную связь московских «еретиков» с гуситами в Венгрии (как раз в Венгрию и ездил с дипломатическими поручениями Федор Курицын). Я поддержал мнение Строева указанием на один латинско-хорватский источник о гуситстве. Кажется, раньше всех говорил о возможной связи жидовствующих с гуситами Р. Якобсон. Влиянием гуситов могли объясняться и особый интерес «жидовствующих» к Ветхому Завету и высокая оценка его, а это могло быть одним из оснований обвинения «сектантов» в «жидовстве».

Для ближайшего ознакомления с Ветхим Заветом (а в то время русская Библия была «неполной» отсутствовали «исторические книги») русские мнимые «еретики» могли привлечь ученых евреев, и благодаря общению и сотрудничеству с ними могли наряду с религиозными произведениями (которые при преследовании «секты» были уничтожены) возникнуть и переводы философских текстов. В «Макасид» затрагиваются также

и богословские вопросы. Но возможно и иное объяснение возникновения переводной литературы с древне-еврейского.

В. П. Зубову удалось прежде всего установить два важных факта. И об этих его «открытиях» стоит сказать.

Зубов впервые **серьезно** отнесся к спискам древне-русского перевода трактата Аль-Газали. Списков этих сохранилось по крайней мере пять, т. е. списков имеющихся в доступных и каталогизированных библиотеках и архивах. Число «пять» указывает на то, что рукописей в свое время было гораздо больше: вероятно около 20-25-ти, — так можно утверждать, если исходить из установившихся на Западе и в России оценок числа утраченных списков на основании числа сохранившихся. Первое важное «открытие» Зубова при работе над списками было, что их язык **для читателей того времени** не был такой «тарабарщиной», как полагали старые исследователи и что рукописи переписывались и сохранялись не только в силу какого-то почти «суеверного» почитания старых рукописей вообще, независимо от их содержания. В одном из изученных им списков древне-русского «Макасид» Зубов увидел на полях записанные неизвестным читателем пояснения философских терминов перевода терминами, взятыми из перевода третьей философской части «Источника Знания» Иоанна Дамаскина, о котором мы упоминали выше. Так например к названиям десяти «категорий» Аристотеля (основные десять наиболее общих понятий в философии Аристотеля) соответствующие названия из перевода Дамаскина. Именно разнообразие философской терминологии (в отличие от твердо установившейся богословской) в древне-русской литературе привело меня (в статье о «Философии Платона в древней Руси», написанной около 1930 г.) к сомнениям в возможности понимания и усвоения читателями имевшихся в древне-русской литературе (11-14 веков) сведений о Платоне: в каждом новом произведении почти все понятия носили иные наименования! Оказывается были читатели, преодолевавшие эту трудность и усваивавшие сквозь покров новой терминологии смысл нового, им до тех пор незнакомого текста. Зубовым даны первые указания на существование таких читателей.

Но каков был все же перевод? Зубов — не ориенталист и не мог сравнивать древне-русский текст с древне-еврейским или арабским. Ему оставался косвенный путь: сравнение древ-

не-русского перевода с латинским. Старый латинский перевод был переиздан еще в 1933 году и точность его в общем не подвергается сомнению. Прежде всего надо было установить значение древне-русских терминов, «непонятность» которых и привела к объявлению языка перевода «тарабарщиной». Но Зубову удалось установить значение всех терминов в трех, изученных им и довольно значительных по объему и трудных по содержанию отрезках текста. Термины оказались даже не особенно чуждыми современному русскому или другим славянским языкам, хотя значение их часто отличается от современного. Приведу примеры: «угол острый», «угол широкий» (теперь тупой), «в силе» — потенциально, «в деле» — актуально, что поймет каждый философски-образованный русский, «тычка» — точка, «плоть» — тело (в физическом или геометрическом смысле), «обоймище» — объем, «образ» — форма. От современного отличное значение имеют напр. такие термины, как «разумение» — мнение, «простор» — поверхность, «самость» — сущность или субстанция; некоторые термины необычны с точки зрения русского языка — «снур» — линия, «привод» — причина и т. п.

После установления значения терминов Зубов мог сделать перевод старо-русского текста на современный русский язык. Текст оказался совершенно понятным, несмотря на то, что Зубов соблюдал строение отдельных фраз и порядок слов. Вот примеры текста в переводе:

Поскольку разум делит субстанции на телесные и бестелесные, а изо всех субстанций только тело постигается чувственно, философы должны начинать с толкования определения и состава его (тела).

Зубов выбрал для перевода и исследования (и напечатал **впервые** довольно крупные отрывки древне-русского текста) места трактата, посвященные сравнительно **трудным** и **сложным** вопросам, что объясняется и его собственными научными интересами: 1) определение геометрических понятий (эта часть трактата Аль-Газали является своего рода комментарием к геометрии Евклида), 2) вопрос о бесконечной делимости пространства и тел, 3) о проблеме бесконечности. И что же? За весьма немногими исключениями текст оказался не только понятным и ясным, но и соответствовал латинскому переводу, во всяком случае по смыслу, а по большей части и по изложению. Это — второе «открытие» Зубова представляет собою

важнейший шаг в нашем знакомстве с духовной культурой Руси 15 века.

Стоит процитировать еще несколько отрывков:

Определение прямого угла и точки:

Прямые углы получаются из двух линий: одна лежащая, другая — стоящая прямо на ней, не склоняясь ни в ту ни в другую сторону.

Точка не имеет измерений. Если бы она имела измерение, она была бы линией. А если бы линия имела ширину, она была бы поверхностью. А если бы поверхность имела глубину, она была бы телом.

Различные взгляды на сущность телесного бытия:

Многие расходятся в этом (вопросе), однако нельзя установить истину, не разобравшись в том, какое из мнений истинное. Мнений на этот счет существует три. Первое: говорят, что тело состоит из частей неделимых ни мыслью, ни физически. Другие говорят: тело не является сложным, но простым, единосущностным; ни в действительном бытии его, ни в понятии нет количества. Третьи говорят, что тело состоит из материи и формы.

Аль-Газали доказывает, исходя из учений античных философов, что тело не состоит из атомов — неделимых частей. Точно также он доказывает, что бесконечно-большие тела и бесконечное пространство невозможны, — при этом он опирается на Аристотеля и своего знаменитого современника и соплеменника — Авиценну. Нас интересует тут не вопрос, правильны или ошибочны его доказательства, но только ясность его языка и изложения: они убедительно показаны Зубовым на многочисленных цитатах. Приводимые Аль-Газали аргументы заканчиваются словами:

Тем самым доказана невозможность бесконечного расстояния в наполненном или пустом пространстве.

Древне-русский переводчик мог понять древне-еврейский текст и передать его понятными словами. Многие термины ему пришлось изобретать и он употребляет эти новые слова последовательно и осмысленно для передачи математических и философских идей.

Конечно, исследование Зубова требует дополнения и продолжения: понятность текста и его соответствие латинскому переводу доказаны Зубовым. Но следует ожидать исследования древне-еврейского текста, лежавшего в основе древне-русского перевода. Какой из трех древне-еврейских переводов лег в основу древне-русской обработки? Насколько удачна пе-

редача этого древне-еврейского текста в древне-русском переводе? Грамматическая структура древне-еврейского языка ведь существенно отлична от структуры индоевропейских языков, в том числе и славянских. Наконец должен быть проверен перевод в целом, а не только передача отдельных, хотя бы и особенно трудных мест. Тогда выяснится перевел ли переводчик произведение в целом или он делал какие-то пропуски и сокращения. Зубов указал, что в обработанных им частях перевода есть пропуск в том месте, где Аль-Газали говорит о различных воззрениях на сущность телесного бытия: в латинском переводе за упоминанием о «неделимых» частицах тел следует такое продолжение, отсутствующее в древне-русском тексте:

некоторые называют их атомами. Они назвали так эти единства и неделимые субстанции, и говорили, что тело состоит из этих атомов.

Надо в этом случае выяснить: была ли эта фраза в тексте Аль-Газали или она была дополнением латинского перевода или же она была опущена в древне-еврейском переводе и т. п. Это все — обычные проблемы исследования перевода. В некоторых случаях даже мелкие расхождения перевода и оригинала могут дать интересные указания на своеобразие мышления переводчика и т. п.

Важнее всего — установить, понимал ли переводчик свой древне-еврейский оригинал, всегда ли он передавал его правильно, затем выяснить, каковы были списки перевода, в особенности — работали ли переводчики механически или же им был доступен смысл текста. Зубов не поставил вопроса о месте перевода. В переводе есть слова, указывающие на возможное польское влияние (снур, привод и т. п.). Возникает вопрос, не связан ли язык переводчика с традициями польского языка? Правда в то время польский литературный язык еще не достиг высокой степени развития; возможны и влияния чешского языка, в 15 столетии имевшем уже богатую научную и изящную литературу. С философским словарем славянского перевода уже упоминавшегося «Источника Знания» Иоанна Дамаскина терминология древне-русского Аль-Газали не имеет ничего общего. В 13 веке возник в Сербии перевод философско-богословских произведений приписывавшихся Дионисию Ареопагиту (так наз. «Ареопагитики»), в 15 веке этот перевод по всей вероятности уже был известен в России, в 16 веке ми-

трополит Макарий включил его в октябрьский том своих «Великих Четий Миней». Но и со словарем славянского перевода «Ареопагитик» древне-русский «Макасид» не имеет точек соприкосновения. Об этих вопросах мне придется писать в специальных органах. Но я не могу заменить работы специалиста-слависта со знанием семитских языков.

«Сенсацией» я считаю «открытие» Зубовым осмысленного философского текста на Руси 15 века. Это открытие в корне противоречит установившимся представлениям о весьма низком уровне образованности Московской и Новгородской Руси 15 века, уровне, который Г. Г. Шпет назвал «невегласием». Оказалось, что какому-то — хотя бы и узкому — кругу читателей могли говорить устами перевода древне-еврейского Аль-Газели — Евклид, Аристотель и Авиценна. Исследователям представлялось, что и перевод «Источника Знания» Дамаскина был в это время уже непонятен и что читатели понимали и усваивали в лучшем случае только богословские рассуждения автора. Это оказалось неверным.

Возникает еще один вопрос: была ли философская литература, древне-русская литература 15 века, приписываемая жидовствующим, действительно продуктом их деятельности и можно ли связывать переводы этих произведений с влиянием гуситства? Становится всё более вероятным, что переводы возникли из чистого интереса к научным проблемам. После падения Византии нужно было искать иные источники научного знания. И какие-то круги — не обязательно «жидовствующие» — нашли этот источник в еврейско-арабской учености, правда, уже устаревшей, но всё еще вполне ценной. Ответ на вопрос или по крайней мере материал для нового ответа о роли жидовствующих в возникновении философской и научной литературы в 15 веке на Руси дает другая работа Зубова, сообщающая о пожалуй еще более «сенсационном» открытии (и также не замеченная специалистами, в особенности за границей), о которой я буду говорить в одной из следующих статей.

Дмитрий Чижевский

ПРОТИВ ДУХОМОРОВ И ДУХОМОРСТВА

Под «духоморами» мы имеем в виду людей, питающих, в теории или на практике, тайно или явно, вражду к духовному началу в человеке. В этой вражде к духу обычно никто не сознается. Тем не менее, в поступках, мотивах, теориях и теорийках таких людей проступает всегда вражда к духовному началу в человеке.

Понятие «духа» — одно из самых трудных и спорных понятий в философии, несмотря на то, что здесь имеется в виду, по существу, самое главное в человеке, — то, что делает его человеком. Дух непосредственно дан нам в сознании единственности и неповторимости нашего «я». Но, как говорил Фихте, многие люди готовы считать себя скорее куском лавы с луны, чем своим «я». Если бы Фихте жил в наше время, он наверное бы сказал, что многие готовы считать себя сплетением рефлексов и комплексов, сложным «компютером», но только не духовным существом.

Дух можно предварительно определить как нашу самость, обладающую свободой и направленную на ценности высшего, сверхличного порядка (как в положительном, «божественном» так и в отрицательном «демоническом» смысле).

Все режимы, основанные на подавлении свободы, могут служить примерами организованного «духоубийства» или гонений на дух. При этом властители этих режимов могут быть сами не бездуховны, а одержимы скорее злым духом.

Это отнюдь не значит, конечно, что среди коммунистов или бывших фашистов нет и не было честных и по своему хороших людей. Но беда в том, что при тоталитарных режимах, когда беспощадность и лицемерие, так сказать, вменяются в обязанность, — даже потенциально прекрасные люди поневоле портятся, становясь, прямо или косвенно, причастны духу зла.

Но вопрос о вражде к духовному началу в человеке нельзя, конечно, сводить к одной политической плоскости. Это было бы крайним сужением проблемы, да и сами тоталитар-

ные режимы возникли вследствие одержимостей «бесчеловечными идеологиями», — вследствие моральной или духовной слепоты.

Ясно, что и при самом демократическом строе всегда находится достаточно людей, в которых духовное начало или спит или направлено на зло. Но демократический строй всё же предохраняет от эксцессов коллективной одержимости или от проявлений зла во всегосударственном масштабе. Что уже много.

Но центр проблемы «духоморства» заключается в другом. Подобно тому, как есть вещества и токсины, вредящие телу и могущие привести даже к смерти организма, — подобно этому есть идеи и эмоции, вредно отражающиеся на душевной и духовной жизни. Отрицательные идеи и эмоции наносят вред душевному или духовному здоровью, и в пределе могут отравить или убить человеческий дух.

В данной статье мы имеем в виду не столько отрицательные эмоции или желания, сколько духовно-самоубийственные идеи. Имя подобным отрицательным идеям — легион. Мы остановим наше внимание лишь на некоторых актуальных лже-идеях.

Все они сводятся, в основном, или к отрицанию свободы и самобытности духа, или к отрицанию образа Божьего в человеке (выражая ту же мысль в ее «обмирщенной» формулировке — к отрицанию достоинства человеческой личности). Это и есть, философски говоря, отрицание духовного начала в человеке.

Эти две основные лже-идеи — **отрицание неповторимой самости в человеке и отрицание наличия высших ценностей,** на которые наше «я» должно быть (идеально) направлено, — будучи проведены на практике, приводят обычно к печальным или даже страшным результатам.

Начнем с отрицания свободы. Большей частью отрицание свободы воли (в теоретическом плане) скрывается под невинной внешностью философского детерминизма, особенно распространенного в 19 веке. Можно, конечно, привести ряд серьезных доводов в пользу детерминированности воли (как и в пользу ее свободы). Что поражает при этом, это то обстоятельство, что не только «умствующие обыватели», но и многие ученые большей частью не отдают себе отчета во всех тех вы-

водах, к которым обязывает последовательно-продуманный детерминизм (прежде всего — к отрицанию нравственной ответственности).

Но философский детерминизм — сравнительно безобидная форма вражды к духу. Это скорее — слепота к духу, чем вражда к нему. К тому же, обычно философские детерминисты на практике признают реальность нравственной ответственности, опять-таки в силу некой «мудрой непоследовательности».

Дело становится хуже, когда предпринимаются прямые покушения на свободу человеческого духа, притом отнюдь не во имя философского детерминизма. Мы имеем в виду ставшие в некоторых странах правилом случаи, когда люди, исполненные духовного горения или духовно ищущие, подвергаются осмеянию, общественному остракизму и, в пределе, косвенным и прямым гонениям.

Не нужно тратить доказательств на то, что подобные явления особенно присущи тоталитарным режимам. Гонения на верующих в Советском Союзе, принимающие теперь форму закрытия храмов, лишения верующих социально-экономических привилегий — слишком известны (хотя многие на Западе упорно закрывают глаза на эти духовно-отвратительные явления).

В сталинское время проводилась организованная кампания террора против духовно-независимых писателей, художников и т. п. Жертвами этого террора стали многие выдающиеся поэты и писатели как Мандельштам, Борис Пильняк, Н. Клюев и другие. В хрущевское время была организована травля против Пастернака — и не только за его «Доктора Живаго».

В этом отношении на Западе, конечно, господствует полная свобода. Здесь никто не подвергается даже косвенным гонениям за свои религиозные или философские убеждения. Но на Западе духу грозят иные опасности. Прежде всего слишком высокая оценка современных технизированных материальных благ, что приводит к самоугашению духовного начала в человеке. Дело, конечно, не в том, что материальное благосостояние вообще, и пользование телевизорами, автомашинами и прочим вредит духу. Наоборот, преодолевая пространство и время, современные технизированные блага могут способствовать расширению круга общения и, вообще, горизонтов ино-

формации, не говоря уже о развлечениях и отвлечениях, в которых также нуждается человек.

Дело здесь заключается в другом — **в фетишизации технизированных благ,** а также в том искусном воздействии на подсознание потребителей, которое оказывают современные средства рекламы, внедряясь таким образом, в сферу свободы личности.

Слишком многие люди на Западе становятся, сами того не сознавая, пешками и объектами применения манипуляций, которые проделывают над ними «мозговые тресты» гигантских коммерческих концернов. На эту тему хорошо пишет Эрих Фромм: — «Как потребляем мы современные блага? Начнем с еды и питья. Мы едим, в сущности, безвкусный хлеб, мало питательный... мы едим его потому, что он стимулирует представления о его «белости» и «свежести». Фактически, мы едим свою фантазию и мы потеряли контакт с реальным хлебом, который мы вкушаем. Наше горло, наше тело почти исключаются из акта потребления... Мы пьем «ярлыки». С бутылкой кока-кола мы пьем картинку, изображающую красивых мальчика и девочку, которые пьют этот напиток на рекламной картинке. Мы пьем «освежающий перерыв в работе», мы пьем, соучаствуя в американском обычае. Менее всего мы пьем нашим горлом. Всё это становится еще фиктивнее, когда мы потребляем вещи и товары, реальность которых основывается на фикциях, творимых при помощи рекламной кампании, как, например, в случае «здорового» мыла или зубной пасты, а приобретя последнюю модель Форда, мы становимся в наших глазах в авангарде современной технической цивилизации, само же пользование автомобилем как бы отходит на задний план...»

Таким образом, вокруг современных технизированных благ, которые мы потребляем и которым поклоняемся, создается целый спектр магических фикций, причем цель этой магии — придавать большой ореол материальным благам. Это — идолопоклонство материальным благам, со своими обрядами. Коротко говоря, Западу грозят — не гонения на дух, а проституция духа во имя вящего приобретения материальных благ «последней моды», — грозит, образно говоря, самоугашение духа за мягким креслом перед телевизором.

Конечно, мы говорим сейчас не о сильных, а о духовно-слабых сторонах западного образа жизни.

Духовная жизнь на Западе никогда не умирала в лице лучших ее представителей. Многие находили в себе силы идти против течения в периоды самого неприкрытого засилия практического материализма. Теперь же, когда полет первого советского Спутника вызвал на Западе здоровый шок и заставил мобилизоваться интеллектуально-технически, распространенное раньше в Америке полупрезрение к «интеллектуалам» («яйцеголовым») сменилось своего рода культом интеллектуализма. Духовная жизнь не ограничивается, конечно, интеллектом, и, в частности, снобистический интеллектуализм в каком-то смысле есть всегда духовное извращение. Но характерно, что дух, получавший еще не так давно жалкие подачки от «жизни», начал теперь занимать почетное место в иерархии социальных ценностей Запада.

Здесь нужен небольшой пояснительный экскурс. Занимая верховное место в иерархии ценностей, дух сам по себе лишен мощи. Жизнь, сама по себе, слепа и руководится инстинктом. И только дух организует жизнь. Но дух живет за счет жизни. В известном смысле мозг можно рассматривать как разросшийся паразит организма. Но всё-таки мозг управляет ходом жизни и сообщает ей высшую целеустремленность. Отчужденный от жизни дух может стать врагом живой жизни, ибо он «подавляет» естественные влечения. Но временное подавление влечений неизбежно ради осуществления лежащей впереди цели.

Так или иначе, дух в человеке неизбывен, так как человек является человеком, а не только высшим животным, именно в силу наличия в нем души и духа. Дух без души был бы бездушен, как это нередко бывает. Душа без духа была бы лишена разумного и волевого руководителя. Именно душа соединяет дух с «жизнью».

* * *

Одним из самых характерных проявлений современного «духоморства» представляется явление, которое можно назвать «пан-политизмом». Сущность его сводится к стремлению оценивать всякое явление духовной жизни — морали, философии, литературы, искусства, — под углом зрения определенной иерархии ценностей. В своих крайних проявлениях, подобный пан-политизм доходит до утверждения, что вся духовная жизнь

есть только «надстройка» над социально-политическим базисом.

Эта тенденция, не чуждая и некоторым направлениям в демократических странах, видна во весь рост в тоталитарных идеологиях. Так, в суждениях марксистских критиков начала двадцатых годов нередкостью было встретить утверждения, что Пушкин был «продуктом дворянско-помещичьей культуры», что «Записки из подполья» Достоевского — выражение идеологии «мелко-буржуазного индивидуализма» и т. п.

Общеизвестно, что сейчас в советской критике принято, наоборот, всячески возвеличивать Пушкина как русского национального поэта, одушевленного стремлением к свободе. Что же касается Достоевского, то, хотя его идеология всё еще и объявляется «реакционной», всё же теперь подчеркивается и сила его художественного гения.

Эта переоценка объясняется, однако, не столько волей к объективности, сколько патриотическим курсом советской компартии, взятым с целью политически укрепить коммунистическую идеологию патриотическим цементом. Однако, мораль, например, до сих пор объявляется «классовой» или «деклассированной», с добавлением, что мораль рабочего класса — прогрессивна, а мораль буржуазная — реакционна. При этом совершенно теряется из виду общечеловеческий характер морали, лишь видоизменяемой, но не определяемой классовой принадлежностью ее носителей.

И символизм и абстрактное искусство, например, до сих пор объявляются продуктами «деклассированного» сознания, или явлениями упадочничества. А религия прямо объявляется «опиумом для масс», пережитком средневекового или буржуазного сознания. О том же, что сам коммунизм представляет собой особую форму религиозного сознания, конечно, никогда не говорится.

С немецким национал-социализмом дело обстояло еще проще и грубее: на такого великого поэта как Гейне или на такого замечательного писателя как Кафка, был наложен запрет исключительно потому, что они были евреями. По этой же причине, начисто отрицался и психоанализ.

Конечно, в пан-политизме есть своя, но очень маленькая, доля правды: всякое явление духовной жизни происходит в определенной общественной среде и имеет свой социально-по-

литический аспект. Но вся беда заключается в присущей тоталитарным идеологиям тенденции «свести» все явления духовной жизни к их социально-политическому аспекту, объявляемому их сущностью. Нечего и говорить, что при этом совершенно игнорируется автономия этических, эстетических и религиозных ценностей.

Пан-политизм является одним из самых ярких и самых характерных симптомов той вражды к духу, в которой заключается сущность «духоморства». При этом сами пан-политические «духоморы» часто бывают отнюдь не бездуховны. Вражда к духу представляет собой духовное явление с отрицательным знаком. Поскольку дух в человеке неискореним — бунт против духовного начала совершается силами самого духа. Но — ложно направленного, злого духа, подрывающего корни собственного бытия.

В силу присущей ему анти-духовной тенденции, пан-политизм неизбежно приводит к отрицанию общечеловеческих ценностей, он всегда кончает делением спорящих на два непримиримых лагеря — на «мы» и «они».

Поэтому пан-политизм представляет собой болезнь современного сознания. Причем эта болезнь, в силу тенденции к упрощению проблем, присущей пан-политизму, обладает известной долей заразительной силы. Пан-политизм — одно из самых опасных проявлений «духоморства».

* * *

Одну из наиболее наглядных форм дегуманизации человеческих ценностей представляет собой то явление современной индустриальной культуры, которое можно условно назвать «пан-коммерциализмом». Мы имем в виду слишком хорошо всем известное конкретное явление — тенденцию оценивать все виды труда и творчества прежде всего по их денежной «стоимости», по их «котируемости» на рынке вкуса и потребления.

В применении к труду, имеющему отношение к массовому производству, это — вполне естественное следствие самого духа индустриальной культуры. Но в применении к творческому труду, подобный пан-коммерциализм представляет собой, конечно, анти-духовное явление (мы сознаем, что известная доля «коммерциализма» в оценке труда деятелей культуры, конечно, неизбежна).

Но в этом «пан-коммерциализме» до недавнего времени существовала, а, отчасти, еще существует, своего рода непоследовательность. Даже с точки зрения иерархии коммерческих ценностей: труд учителя, профессора, ученого, писателя и т. п., расценивался в большинстве случаев дешевле, чем труд, скажем, квалифицированного рабочего. Это — непоследовательность, ибо педагоги и ученые являются двигателями культурного прогресса, включая научно-технический прогресс, имеющий также огромную коммерческую ценность. Уже в силу этого, педагоги и ученые, заслуживали бы высокого вознаграждения за свой труд. Между тем, при неписанной системе «пан-коммерциализма», многим творчески одаренным людям, или ученым, обладающим солидными знаниями, приходится нередко «продавать» свои таланты и знания не на интеллектуальном, а на «массово-производственном» поприще.

За последние годы положение в этом отношении значительно улучшилось и на интеллектуалов больше не смотрят с полупрезрением. Но интеллектуалы всё еще не занимают приличествующего им места в иерархии социальных ценностей.

* * *

Одним из самых показательных современных проявлений вражды к духу (в теоретической области) является **стремление к механизации духа,** причем механизации, оснащенной всеми достижениями современной электронной техники. Есть влиятельные философы, со всей серьезностью стремящиеся убедить себя и других в том, что человеческий мозг — всего лишь сложная электронно-вычислительная машина, причем добавляется (с некоторым основанием), что электронные машины в ряде функций превосходят живой мозг. А Норберт Винер отказывается вообще видеть принципиальную разницу между электронной машиной и мозгом.

Отсюда рождается стремление создать такие электронные машины, которые бы могли не только заменить человеческий мозг, но и превзойти его во многих важных отношениях.

Этим стремлением современная техника обязана своим исключительным достижениям. Компютеры применяются теперь не только в военной промышленности и в службе связи, но и вообще в области массового производства. Услугами этих

машин во всё возрастающей степени пользуются врачи, психотехники, экономисты, специалисты по рекламе и т. д.

В настоящее время происходит новая индустриальная революция, основанная на автоматизации производства. Но автоматизация производства стала возможной именно благодаря электронной технике. Изобретение и совершенствование электронных машин имеет такое же эпохальное значение, какое имело в свое время изобретение и развитие механических машин.

В основе этого технического прогресса лежит, конечно, не вражда к духовному началу, а, наоборот, стремление найти новые эфективные пути подчинения материи человеческому духу. Но это, в высшей степени положительное явление современности имеет свою оборотную сторону: на практике сами люди начинают рассматриваться как объекты манипуляций электронных машин, что является естественным следствием принимаемой многими бессознательно или сознательно на веру предпосылки о том, что человеческий организм, и мозг в особенности, есть не что иное как электронная машина необычайной тонкости и сложности. Отсюда вытекает культ «электронных мозгов». А это приводит к утонченной механизации самого образа мышления. Одним из проявлений этой механизации мышления является сверх-бюрократия, слепая к индивидуальной живой человеческой личности, к ее запросам, к реальным нуждам.

Давно было замечено, что бюрократия — неизбежный спутник массовой индустриализации. Автоматизация производства, проводящаяся в настоящее время, еще больше способствует дальнейшему росту бюрократизации, заслуживающей приставки «сверх». В известной степени бюрократизация не только неизбежное, но и прогрессивное явление: — как иначе брать на учет все сложные функции современной жизни и выполнителей этих функций — конкретных людей? Идеальная цель бюрократии — содействовать наилучшему распределению функций учета и оценки работников всех почти областей современной цивилизации.

Но на деле слишком часто реальные функции работников искажаются при бюрократическом «взятии их на учет». В результате получается **засилие бюрократических фикций над реально производимыми операциями и функциями.** В силу это-

го засилия фикций нередко продвижение получают лица, наименее этого заслуживающие, в то время как действительно ценные работники «замораживаются» и их реальным способностям не дается должного применения. Это искажение достигает нередко чудовищных размеров в силу бюрократического произвола. Ибо бесконтрольные контролеры слишком часто имеют возможность безнаказанно проводить свою «линию», диктуемую отнюдь не объективными соображениями. Электронные машины, применяемые в бюрократическом аппарате, имеют дело с бюрократическими фикциями, достаточно часто не соответствующими действительному положению вещей.

Но вернемся к основной теме — дегуманизации человека, являющейся следствием культа «электронных мозгов», — нового мифа о человеке как об **электронном гомункуле.**

В этом мифе есть своя доля (но только доля) правды: человеческий мозг в каком-то смысле есть **также** утонченная система рефлексов и комплексов, что особенно видно в области низших функций мозга — вычислительной и ассоциативной. Функции эти, действительно, в ряде случаев могут с большей эфективностью заменяться электронными машинами.

Но в иерархии человеческой личности вычислительные способности и даже ассоциативная память подчинены высшим функциям выбора цели и средств ее осуществления. Это, в свою очередь, предполагает **усмотрение ценности цели и творческую инициативу,** т. е. атрибуты человеческого духа.

В человеке низшие (биологические) функции подчинены высшим функциям целенаправленности. Творческое начало в человеке, в силу своего определения, несводимо к тем функциям, с помощью которых осуществляется заданная или выбранная цель. Это видно из таких, сравнительно, простых, примеров, как творение музыкальных композиций или из исполнения пианистами, скрипачами, дирижерами, музыкальных произведений.

Конечно, всякому профессиональному пианисту необходима тренировка, овладение техникой рояльной игры. Но публика особенно ценит тех пианистов, которые помимо техники, умеют возбудить в слушателях эмоции, выражением которых является данная композиция. Рихтер и Горовиц, например, помимо их изумительной техники, умеют «заражать» слушателей своей игрой — вызывать в них не только восхищение техни-

ческой стороной исполнения, но и эмоционально приобщать слушателя к эмоциям, одушевляющим данное произведение. При этом каждый выдающийся пианист интерпретирует данную композицию по своему, он «интроецирует» (проецирует во внутрь) дух данного произведения, в своем индивидуальном преломлении, воспроизводя творческий акт композитора.

Никакая музыкально-электронная машина не может совершать этих высших функций — индивидуально интерпретировать композицию. Она может в лучшем случае исполнить композицию идеально технически или скопировать интерпретацию композиции определенным пианистом.

Вообще, только низшие, «рефлекторные» функции органических явлений поддаются механизации. Механизировать высшие функции личности — невозможно.

В силу этой именно причины, цель, преследуемая, например, машинным переводом — идеальный (синтаксически и идиоматически) перевод, совершаемый посредством вычислений, производимых машиной (как бы переключением с десятеричной системы на иную) — принципиально недостижим. Ибо язык есть органическое целое, а не сумма слов, выражений, вообще, речевых функций. Для хорошего перевода требуется понимание духа обоих языков — способность, которой может обладать лишь человек, вжившийся в целостную культуру данных языков. Язык есть прежде всего «Логос» — смысл, выраженный в звучащем или написанном слове. Проникнуть в смысл возможно лишь путем интеллектуального и эмоционального всматривания, то есть, посредством духовного акта.

Современная же механизированная лингвистика в своих крайних формах начисто отрицает категорию смысла (отрицает «Логос»). Поэтому можно сказать, что она представляет собой именно одно из проявлений «духофобии».

(Во избежание недоразумений — мы говорим о засилии механизированной лингвистики, а не выступаем против нее. Механизированная лингвистика является одним из достижений современного языкознания, оправданным уже тем, что в языке есть внешний, механический или поддающийся механизации слой — слова, основные структурные связи и т. д.)

На наш взгляд, относительный успех мифа о человеке как об «электронном гомункуле» объясняется вовсе не рациональными, а скорее иррациональными причинами.

Здесь имеет место (подсознательная, может быть) **замена цели средством:** мечта об овладении человеком функциями, до сих пор выполнявшимися посредством индивидуальных усилий.

Эта цель полусознательно заменяется превращением этих функций (то есть, средств) в самоцель, что приводит на практике к слепоте, к невидению духовного начала в человеке, к его «электронной дегуманизации».

* * *

Что касается этической области, то «духоморство» здесь проявляется прежде всего в подмене **индивидуальной совести — социальным конформизмом.** Эта тенденция получила свое самое яркое (и страшное) проявление в тоталитарных режимах, в которых, в качестве высшей цели постулируется анонимное благо данного сообщества, и ради этой цели — все средства позволены. Цель тоталитарных режимов в области этики заключается в подмене индивидуальной совести — коллективной псевдо-совестью не только послушных, но и активно-содействующих «общему делу» моральных роботов. Этой цели тоталитарные режимы с их динамизмом в значительной мере добиваются, — путем массовой индоктринации и вызывания своего рода коллективных одержимостей. Этим объясняется жертвенность моральных роботов, и, в частности, такие отвратительные явления, как культ доносительства.

Но и на Западе дело с этикой не обстоит благополучно. Хотя здесь нет официально санкционируемого стремления «перековать» внутренний мир человека (как это делается в тоталитарных государствах), — тенденция к этическому конформизму проявляется и на Западе, хотя в гораздо более мягких формах.

Вообще говоря, тенденция к конформизму в известной степени неизбежна в условиях нашей массовой, сверх-индустриальной культуры. Ибо эпоха массовой продукции и гигантских концернов требует выработки некоего социально-этического общего знаменателя. Для достижения этой цели имеются два пути — **солидаризация и конформизм.** Но путь конформизма наиболее легкий. Ибо солидаризация предполагает гармоническое взаимодействие внутренне-свободных индивидов, то есть, требует целенаправленных этических усилий. Конформизм же выражается в социально-этической стандартизации.

Ранее Запад особенно гордился своим индивидуализмом. Теперь, хотя индивидуализм всё еще продолжает быть официальной философией жизни на Западе, — он потерял, вместе со своими отрицательными чертами, также многие из положительных сторон. В настоящее время де факто на Западе практикуется этика социальной корректности, что само по себе — положительное явление. Но социальная корректность (подсказываемая необходимостью социальной координации в условиях массовых сообществ) слишком часто понимается на практике не как дополнение, а как замена индивидуальной совести. Ибо индивидуальная совесть в нередких случаях требует мужества идти «против течения».

Неписанным главным этическим правилом на Западе, вообще говоря, становится неписанный же лозунг — «всё позволено, что не противоречит юридическому закону», или, еще хуже — всё позволено, что не влечет за собой угрозы привлечения к суду.

Этическое воспитание практически почти отсутствует на Западе. В то же время, в тоталитарных государствах культивируется (часто, правда, не достигая цели) так называемое «морально-политическое единство» данного сообщества, в котором есть этический элемент, но который, опять-таки означает социальную «стрижку под одну гребенку», то есть явление антиэтическое.

Именно в силу вопиющего недостатка этического (а не социального только) воспитания на Западе, столь высокий процент молодежи (конечно, всё же не большинство) становится на путь безудержной погони за «возбуждениями» и совершает бессмысленные иногда преступления.

От прежнего индивидуализма осталась худшая его сторона — «право на произвол». Лучшая же его сторона — мужество быть самим собой, культ индивидуального своеобразия, всё более заменяются конформизмом. В своей книге «Здоровое общество» Эрих Фромм указывает на то, что стремление «быть как все» вовсе не означает моральности. Ибо в обществе, даже современном, общепринятая социальная иерархия ценностей во многом расходится, а иногда даже противоречит этической иерархии ценностей. В самом обществе могут господствовать моральные предрассудки.

Мы уже упоминали, что главные признаки духовного бы-

тия, это — внутренняя свобода и образ Божий в человеке (для неверующих — наличие в человеке чувства собственного морального достоинства). Но когда свобода понимается как произвол, ограниченный социальным конформизмом, и когда совесть понимается как следование общепринятым социальным (а не моральным) стандартам, то это и означает этическое «духоморство», то-есть — тенденцию к угашению духовного начала в человеке.

Нигде «духоморство» — вражда к духу — не проявляется с бóльшей силой и в своей самой непосредственной форме, как в области религии, разумеется, в отрицательной его форме — как атеизм. Современный атеизм имеет три главные формы — так называемый «научный» атеизм, далее — воинствующий атеизм и, наконец, характерный скорее для части интеллектуальной элиты атеизм во имя свободы человеческого духа.

Сущность научного атеизма сводится к тому, что логика разума и достижения современной науки, как наук естественных, так и гуманитарных, якобы, несовместимы с религиозной верой, которая для таких атеистов равнозначна суеверию. Подобный, «научный» атеизм (скажем в скобках) пользуется в настоящее время меньшим успехом, чем во времена Фогта и Молешотта, когда было популярным всё объяснять исключительно материальными причинами. Ибо твердыня материалистов — Материя, в свете достижения современной атомной физики, оказалась лишь особой формой энергии. Говоря словами Джинса и Расселя, «материя исчезла под руками физиков, превратившись в сгустки энергии или в «пучок диференциальных уравнений».

Детерминизм — объяснение «всего» материальными причинами, теперь также подорван изнутри, особенно после принятия большинством физиков «принципа неопределенности» Шредингера. Согласно этому принципу, невозможно одновременно определить скорость и местонахождение материальных частиц, и поэтому «скачки» внутри-атомных частиц предсказуемы лишь с бóльшей или меньшей вероятностью, а не с необходимостью. Это открывает широкие двери убеждению, что в основе материи лежит духовное начало (пусть на низшей стадии своего развития) и что это духовное начало обладает чем-то аналогичным свободе воли. Таким образом, та крепость, исходя из которой материализм совершал свои, когда-то по-

бедоносные, вторжения в область духа, оказалась взорванной изнутри.

Всё это сильно подрывает претензии научного атеизма. Но от научного атеизма остался один его важный элемент — рационализм — вера в постижимость всего посредством комбинации рациональных понятий.

Поскольку же религиозная вера направлена на Источник и Высшую Цель всякого бытия — Бога, и эта «альфа и омега» не вмещается в плоскость рациональных понятий, приспособленных к познанию явлений, а не «вещи в себе», — постольку религиозная вера с необходимостью сверх-рациональна. Открыть глаза религиозно-слепым людям, поэтому, очень трудно — для этого необходима «мистическая интуиция».

Тем не менее, позиции научного атеизма, как мы уже указали, сильно подорваны в наше время, и популярность его не слишком прочна. Атеизм переживает свой собственный «кризис безбожия».

Воинствующий атеизм находится в еще худшем положении, хотя и празднует свои триумфы внешне, поскольку за его спиной в тоталитарных государствах стоит большая сила — аппарат государственной власти. В тоталитарных государствах выкорчевываются все религиозно-мистические понятия, что, конечно, способствует росту атеизма. Но есть много данных полагать, что эта цель — обезбожение человека, достигается далеко не полностью.

Несмотря на лишение верующих социально-экономических привилегий и несмотря на закрытие многих храмов в СССР, истинно верующие выдерживают эти испытания с редким мужеством, напоминающим духовное горение первых христиан. Мало того, в СССР есть, повидимому, немало «анонимно верующих» (даже среди партийцев), которые стремятся крестить своих детей и даже заглядывают, при безопасном случае, в церковь. Кроме того, религиозная вера не всегда выражается в церковных формах.

На Западе против религии, разумеется, не ведется организованных кампаний, и на верующих не производится никакого давления. Число верующих всё увеличивается, храмы никогда не пустуют, что дало повод говорить о «религиозном возрождении», по крайней мере, в Америке. Но Западу в ре-

лигиозном плане грозят иные опасности — прежде всего религиозное равнодушие и «формальная религиозность».

Вопрос о бытии или небытии Божьем мало кого волнует, религиозная вера заменяется отдаванием религиозной дани «на всякий случай». Религия оказывает всё менее действенное влияние на социальную и индивидуальную жизнь на Западе. Как говорит уже цитированный нами Эрих Фромм: «Верит ли или не верит человек нашей культуры в Бога, с психологической точки зрения больше не составляет большой разницы. В обоих случаях современный человек большей частью не занят вопросом о Боге или о смысле своего собственного существования. Подобно тому, как братская любовь была заменена безличной корректностью, так и Бог превратился в анонимного директора Вселенной, которой «завел» вселенскую машину, (в которой вы играете отведенную вам роль), но с которым у вас нет никаких личных отношений».

Фактически, подавляющее большинство современных людей «не имеет времени для Вечности». Ибо время можно «взять на учет», Вечность же — неизмерима.

Остается еще сказать несколько слов об атеизме во имя человеческих ценностей. Этот род атеизма, как мы уже упоминали, распространен в некоторых кругах современной интеллектуальной элиты, особенно — среди экзистенциалистов. Сущность его сводится к утверждению, что человеческое достоинство и сама иерархия моральных ценностей несовместимы с признанием бытия Божьего в силу того, что человек тогда понимается как «раб Божий» т. е., как внутренне несвободное существо, и что Божий произвол (благодать) нарушает, якобы, критерии моральной оценки, совершаемой свободной человеческой совестью.

В основе такого атеизма лежит обожествление человека, правда, иное, чем у Ницше. Современные интеллектуальные атеисты отдают себе отчет в хрупкости человеческого существования во враждебном человеку мире, куда он не по своей воле «вброшен». По формулировке Гейдеггера, человек есть «в своем бытии невластный бог». Пусть человек в своей внешней судьбе нередко становится игралищем природных и социальных стихий — говорят такие интеллектуалы — всё же совесть его должна быть неотчуждаемой, неподвластной даже Богу.

Внутренне человек сам творит или должен творить свою

судьбу. Что же касается пресловутого «рабства человека у Бога», то атеистические интеллектуалы должны были бы помнить, что по христианскому учению Бог сотворил человека свободным существом, дав ему в качестве путеводной звезды совесть, которая, однако, без этических усилий человека может заснуть и даже атрофироваться. Такого рода интеллектуально-этический снобизм довольно распространен в интеллектуальных салонах Западной Европы и Америки, и в более грубой форме — среди «битников».

Но подобное самообожествление (пусть в его современной, декадентской форме) этически и психологически несостоятельно. Ибо совесть не есть некий непогрешимый этический атрибут личности — совесть есть **орган познания религиозно-моральных ценностей,** — или приобщения к этим ценностям. Будучи оторвана от идеальных объектов своей направленности, совесть лишается этической путеводной звезды и может легко вырождаться в псевдосовесть. Как говорил Достоевский: — «Совесть без Бога есть ужас. Она может довести человека до самых ужасных преступлений».

Говоря же психологически, подобное самообожествление, пусть с современно-экзистенциалистскими оговорками, способствует развитию интеллектуальной гордыни, вырабатывая в человеке морально-отрицательные черты. С нашей точки зрения «атеизм во имя высших ценностей» несостоятелен ни этически, ни психологически.

Итак, «духоморство» в тоталитарных странах проявляется в воинствующем атеизме, в эксперименте безрелигиозного воспитания, на Западе же — в равнодушном или благодушно-формальном отношении к религии. Разумеется, как на Востоке, так и на Западе есть твердое в вере меньшинство, закаленное испытаниями. Все формы «духоморства» имеют своим источником и прообразом анти- или вне-религиозное духоморство. В Евангелии сказано «духа не угашайте». Поэтому основным условием борьбы с духоморством является духовное горение. Если оно есть, — «всё остальное приложится». И даже сомневающиеся найдут, в конце концов, путь к Богу, ибо подлинное сомнение всегда есть сомнение ради Истины.

Часто сомнение поэтому даже предпочтительней слепо-догматической веры, или слепо-догматического неверия. Луч-

ше сомневаться, чем принимать бытие Божие на веру, но лучше верить в Бога, чем сомневаться в Его бытии.

Осатанение человека или превращение его в социально-электронного робота являются неизбежными результатами стремления искоренить духовное начало в человеке. Это искоренение совершается силами самого духа, но — отчужденного от себя или злого духа.

Но мы полагаем, что духовное начало в человеке — неискоренимо, хоть оно и может принимать уродливые, извращенные формы.

Сергей Левицкий

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН

IN MEMORIAM

Хотя Федор Августович Степун скончался в возрасте 81-го года, кончина его поразила его друзей и учеников своей неожиданностью. Потому что, подобно Гёте, он, казалось, был окружен некой аурой потенциального бессмертия. Федор Августович принадлежал к натурам типа Платона, Микельанжело и Гёте, которые своего апогея достигают лишь в старости. Убедительным свидетельством этого является его монументальный труд о русском символизме, вышедший в конце прошлого года по-немецки под названием «Mystische Weltschau». Вместе с чрезвычайно содержательными томами его воспоминаний «Бывшее и Несбывшееся», эта книга представляет собой духовное завещание Степуна — сумму его духовного опыта, накопленного в течение всей его духовной, душевной и умственной жизни: опыта философского, прочувствованного эстетически и преображенного религиозно.

Здесь не место подробно говорить о вкладе Степуна в области философии, литературы, социологии и политики, тем более, что я уже дважды (в 1962 г. в Oesterreichische Osthefte и в 1965 г. в St. Vladimir's Quarterly) характеризовал сделанное им в этих областях. Я ограничусь поэтому несколькими личными воспоминаниями. К этому меня побуждает не только просьба редактора этого журнала, но и то, что я был не только учеником, долголетним собеседником и сотрудником Ф. А. Степуна но, некоторое время, и его личным секретарем. Я познакомился с Федором Августовичем в 1946 году, когда он еще жил не в Мюнхене, а в Тегернзее, куда переехал, потеряв перед тем при бомбардировке Дрездена всё свое имущество. Тогда, как и мы все, он был занят устройством своих житейских дел, работал над третьим томом воспоминаний, и предпринимал первые шаги к получению снова профессорской кафедры. Как известно, в 1937 году он был уволен национал-социалистическим правительством из числа профессоров Дрезденского Высшего Технического Училища, как он однажды с язви-

тельной усмешкой мне сказал, по причине «неисправимой русскости, жидофильства, и склонности к религиозному мракобесию».

Уже задолго до нашей первой личной встречи я знал о нем и хотел с ним познакомиться. Еще гимназистом, одержимый любовью ко всему русскому, я проглотил его книгу «Письма прапорщика-артиллериста», вышедшую в очень хорошем переводе по-немецки в 1929 году. Студентом мюнхенского университета я близко познакомился с одним коллегой из Дрездена, сыном профессора Высшего Технического Училища, хорошо знакомого со Степуном. От этого приятеля слышал я о Степуне много характерного, в том числе и анекдотического, что помогло образу его в моем воображении стать более отчетливым.

В лицо впервые увидел его я в доме нашего общего друга, ставшего впоследствии очень известным врачем. Степун меня поразил: в нем было что-то львиное, при этом благосклонное, приветливое, открытое; глубокая серьезность соседствовала с милой шутливостью, глаз иногда прищуривался, лукаво подмигивал. Это был с головы до пят русский барин, но вместе с тем несомненно и ученый, одновременно и человек с некоторыми чертами театральности, — светский человек, офицер и хороший наездник. Тогда как раз он вел переговоры с баварским министерством просвещения о получении университетской кафедры. Естественно, что кандидатура его вызывала некоторые возражения. Уж слишком отличался он от узкого специалиста, которыми изобилуют университеты. Интересы его были «слишком» многообразны. К тому же, к профессуре пришел он не обычным путем, а минуя некоторые этапы. Недаром он сам о себе сказал: «Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания». Именно сочетание нескольких элементов: — его «калибра», его большого обаяния, и его научной известности — всё это вместе привело наконец к тому, что Степун

был назначен профессором мюнхенского университета по кафедре истории русской мысли.

Вся профессорская, столь плодотворная деятельность Федора Августовича стояла под знаком этой необыкновенной многогранности. Думаю, никто из его студентов и слушателей никогда не забудет часов, давших им такое духовное обогащение: часов, когда, затаив дыхание, они подпадали под обаяние его речи. Я регулярно посещал два его курса: курс «Социологии русской революции», который у него разрастался до размеров Россиеведения, и курс по русскому символизму, обнимавший не только искусство, но и метафизику и религиозную философию. Эти лекции о символизме тоже вырастали в широкий показ и глубокое осмысление того столь богатого духовно периода русской культуры, который получил название «Серебряного века». Мне навсегда запомнилось, с какой необычайной выразительностью он рисовал облик Владимира Соловьева; казалось даже, что покойный философ внезапно оказывался среди нас и сам прислушивался к заклинаниям Степуна, вызывавшим его из гроба.

Лекции Федора Августовича привлекали всегда так много слушателей, что он читал в одной из самых больших аудиторий. На эти лекции записывалось множество студентов со всех решительно факультетов, вовсе не сдававших у него зачеты; но немало было и внеуниверситетских слушателей, приезжавших послушать Степуна. Слава Степуна, как оратора и лектора, одного из наиболее популярных ораторов Германии, началась именно в университете. Он был один из самых блестящих лекторов, когда-либо читавших в мюнхенском университете Людовига Максимилиана.

Что-же так привлекало молодежь — да и людей других возрастов — к Федору Августовичу? Прежде всего ясное ощущение, что здесь перед слушателями стоял не чиновник от науки, сухо и педантично информирующий их о тех или иных научных данных, а человек, глубоко и взволнованно убежденный в правоте своих слов. Человек, не просто изучивший свой предмет, а экзистенциально и творчески с ним связанный. То, о чем говорил Степун, переставало быть просто предметом обсуждения; оно, как живое, непосредственно представало перед глазами слушателей во всей своей полноте. Кто

слушал лекции Степуна о России, ее культурном и духовном развитии, об исторических ее судьбах, тот может сказать словами Уланда:

«Deines Geistes hab' ich einen Hauch verspürt».

Было бы неверно думать, что лекции Федора Августовича всегда были исполнены жреческой торжественности и пафоса. Нет, он превосходно умел оживлять изложение шутками, иронией, анекдотами; он был мастером неожиданных формулировок, поражавших своей меткостью и нередко остроумием. Он отлично, с большой естественностью и стилистической свободой изъяснялся и по-русски и по-немецки. В речи его соединялось и лирическая задушевность и научная точность и энергический пафос. Немецкий его язык был окрашен свойственной русским немцам, трудно определимым акцентированием, что увеличивало впечатление от его докладов и лекций, тем более, что говорил он чуть-чуть театрально. Надо было его видеть, как он стоял перед слушателями со своим выразительным лицом актера и вместе барина, лицом и профессора и философа — в красном жилете, обтягивавшим его импозантную фигуру... Я вспоминаю один публичный диспут по вопросам модернистского искусства, состоявшийся в 1947-ом году под открытым небом на террасе одного отеля в баварских альпах. Степун был один из главных докладчиков и спорщиков. Один известный мюнхенский историк искусства и критик несколько раз пытался, опровергнуть метафизическую аргументацию Степуна доводами логического позитивизма, и это понемногу стало раздражать Федора Августовича. В конце концов, «встав в позицию», с белой гривой развеваемой ветром и широко расставив руки, он крикнул своему оппоненту: «Но, дорогой коллега, — логический позитивизм, это всего лишь монументальное безумие!» Это не было, конечно, неопровержимым возражением против хитроумных доводов его противника. Но каждый из присутствующих, хоть сколько-нибудь знавший Степуна, почувствовал: это были слова не столько философа, сколько человека, который еще гейдельбергским студентом в семинаре Виндельбанда с русской страстностью восстал против сведения последних вопросов человеческого бытия на уровень частной метафизики; человека, который не хотел позволить отнять у себя путем логических софизмов

величайшее человеческое право, ставить вопросы, на которых ответа нет.

Мне вспоминаются также многочисленные дискуссии, которые и я и другие, вели с Федором Августовичем — в частном порядке или публично — по политическим и социальным вопросам. Его заинтересованность этими проблемами осталась живой до последних его дней. Его политическая позиция русского христианского демократа, с первоначальным тяготением к правому крылу партии социал-революционеров, общеизвестно. Недаром всю свою жизнь был он почитателем Бунакова-Фундаминского. В Веймарской Германии он был близок к позиции религиозных социалистов типа Пауля Тиллиха. Менее известно, что после падения нацизма, Степун в своих политических взглядах эволюционировал и — скажу это, рискуя быть неверно понятым, — эволюционировал «вправо». Конечно во время «Третьего Райха», он был убежденный русский оборонец, ибо с полным основанием считал, что ни у кого нет меньше прав, освобождать мир от большевизма, чем у Гитлера. Но одно было ему ясно — именно то, что он так точно формулировал в известной своей фразе: «Национал-социализм был наспех импровизированной кровавой нелепостью — большевизм был и остается страшным по своим последствиям безумием!» После того, как коричневый призрак, к счастью для всех, наконец исчез, Федор Августович опять занял позицию «оборончества». Но то, что теперь необходимо было оборонять, была на этот раз — Европа, восстающая из развалин и нуждавшаяся в новой организации. Это не значит, что Федор Августович всё делил только на белое и черное и Европу представлял только в светлых красках. Нет, он ясно сознавал все слабые стороны запада в области и моральной, и социальной, и политической, и военной, и не переставал обличать и предупреждать. Его книга «Bolschewismus und christliche Existenz» яркое тому доказательство. И голос его не оставался гласом вопиющего в пустыне. Когда правительство федеральной республики Германии к его восьмидесятилетию наградило его высшим знаком отличия, это было актом признания не только его научных заслуг, его деятельности публициста и писателя, но и его роли как воплотителя совести своего времени.

Я позволю себе сказать, что я, как и некоторые другие, не

всегда был согласен с политическими взглядами Степуна. Та идеализация роли русской радикальной интеллигенции, которой он не был чужд до конца, мне представлялась необоснованной. Я не мог разделить его мнение, что Февральская революция была победой передовых университетских сил над реакционной бюрократией. Читая в его книге «Из писем прапорщика-артиллериста» заключительные слова: «...будто есть сведенья, что в Петрограде революция... О, если бы это оказалось правдой!», я всегда думал, что редко когда в мировой истории момент для свержения существующего строя был выбран так неудачно. Часами мы спорили с ним об этом и не приходили к согласию. Всё-таки, с удовлетворением отмечаю, что и в своих политических воззрениях Федор Августович был совершенно свободен от догматизма, и нередко признавал правоту противника. Да, он был убежден в том, что старое монархически-сословное общество со всеми его недостатками и достоинствами должно было погибнуть; но редко случалось мне услышать от историка, политика, социолога столь верные слова о непреходящем значении аристократических культурно-общественных ценностей. И редко когда убежденный демократ исполненный чувства социальной справедливости, находил столь верные слова об истинном монархизме, как культе помазанника Божия. Здесь лишний раз проявилась его способность вживаться в мировоззрение, чуждое ему, или даже прямо противоположное его собственному. Эта широта воззрений, сочетавшаяся с моральной устойчивостью и с даром превосходно излагать и свои и чужие взгляды, имела одно очень характерное последствие. Федор Августович был приглашен для чтения ряда лекций на темы современности перед группой немецких офицеров при штабе НАТО в Версале. То, что он, русский философ, был намечен наставником немецких военных в союзной Франции, Степун считал одним из немногих добрых знамений нашего времени.

Именно как русский человек, столь близко стоящий к германской культуре, он был как немногие, призван к тому чтобы говорить немцам о смысле их исторических судеб. Мы знаем всю сложность вопроса о том, на кого падает, и в какой мере, ответственность за нацистский режим. Подобный вопрос встает и относительно большевизма. И вот, следует отметить, что Степун ощутил моральное право, совершенно открыто,

заговорить на эту щекотливую тему — в начале второго тома «Бывшего и Несбывшегося»: «'Октябрь' родился не после 'Февраля', а вместе с ним, м. б. даже и раньше его... Чья вина перед Россией тяжелее — наша ли, людей 'Февраля', или большевистская — вопрос сложный. Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его исполнители, а духовно зрячие служители добра».

Разумеется, это утверждение связано со всем религиозным миросозерцанием Степуна, миросозерцанием трагическим в своей основе и именно поэтому подлинно глубоким. Он понимал, что человек не должен грешить, но что, с другой стороны, в этом мире многое представляет такой клубок добра и зла, что для спасения добра грех иногда является необходимостью и долгом, как ни странно это с богословской точки зрения. Во всяком случае, от всякого толстовства Федор Августович был очень далек. В своем романе «Николай Переслегин» он говорит: «...жизнь в этике без остатка не растворима... на дне всякого этического раствора остается мутный осадок: нравственный долг греха. Ей-Богу-же этот осадок не моя выдумка. О нем, как о глубочайшем религиозном корне трагического измерения жизни свидетельствуют, как один человек, все величайшие историки человечества, все трагики — от Эсхила до Достоевского». И он считал, что как русские кадеты и умеренные социалисты, так и германские демократы и порядочные консерваторы потерпели поражение потому, что они не нашли в себе этой трагической смелости совершить грех, убаюканные иллюзией «неуклонного морального прогресса» человечества. Разумно судить в сложных вопросах политической действительности и общественной нравственности Степун мог, в особенности благодаря своей духовной трезвости, своей зрячести, своему здоровому реализму (который очень хорошо уживался в нем с философским и религиозным идеализмом). Недаром он нередко говаривал: «Ничто так не мешает видеть как точка зрения». Эта внутренняя свобода была связана с его пониманием истины, пониманием, коренившимся в его глубокой религиозности. Его представление об истине не было похоже на фаустовское стремление к познанию, как мы это видели еще у Лессинга, у которого в одной притче мыслитель просит Бога даровать ему не владение истиной, а лишь неустанное стремление к ней. Степун, напротив, следовал словам

евангелия от Иоанна: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Нет сомнения, что эта укорененность в таком понятии истины и сделала его столь светлым душевно, столь уравновешенным и внутренне гармоничным — качества, которые в нем люди так ценили и любили.

С некоторой опаской подхожу я к кое-каким воспоминаниям интимно-личного характера. Я должен избежать пристрастности и излишней сентиментальности, к которой меня могла бы склонить его долголетняя отеческая дружба. Его смерть я воспринял почти как утрату отца. Скажу лишь, что его душевные, интеллектуальные и моральные качества располагали к нему людей самых разных характеров и взглядов. Он был также большим мастером в искусстве общения с людьми; и в этом общении с людьми его жена, незабвенная Наталия Николаевна, была ему, как и во многом другом, верным помощником. Он был человеком большого обаяния, большой приветливости. Он как бы излучал благоволение. Многие приходили к нему со своими заботами и тревогами, и он всех бесконечно терпеливо выслушивал, всегда стараясь помочь, и не только словом, но и делом. Он был очень общителен, по-русски и по-барски широко гостеприимен, любил и сам бывать в гостях, брал от других, но сам давал так много взамен, что после его ухода хозяева дома чувствовали себя обогащенными.

Конечно, и Федор Августович не был чужд некоторых слабостей. Иногда он раздражался. Но гнев его был обращен не против злых, а против зла. Он слишком хорошо знал, что человек есть падшая тварь, нуждающаяся в сострадании. Личность человека оставалась для него священной и в самых несовершенных воплощениях.

Порою кое-кто заговаривал о той черте характера Федора Августовича, которую тот или иной был склонен называть тщеславием. Надо признать, что в натуре его была некоторая доля театральности, актерского позирования. Никто не знал об этом лучше, чем он сам. И бывало, что он сам над этой своей чертой иронизировал. Он сознавал, конечно, что черта эта может помешать его развитию как человека. И как упорно боролся он против этого своего недостатка, видно в частности из его автобиографического романа «Николай Переслегин», где он жестоко восстает на себя самого, чтобы подавить в себе искушение к нарцисстическому самолюбованию. И ведь,

некоторая склонность к актерству вызывалась не желанием кого-то обмануть, не желанием притвориться тем, кем он в действительности не был. Это было лишь средством усилить действие тех качеств, которые он в себе развивал, и усилить доходчивость тех своих мыслей, идей и чувств, которые он хотел сообщить окружающим. А в более узком плане он, как «прирожденный художник своей жизни», естественно стремился к некоторой театрализации как средству для более полного воплощения своего я.

Я думаю, с этой театральной его одаренностью связано и его блестящее уменье вести разговор, его редкостное дарование «causeur'a» всегда сыпавшего острыми словами, блистательными афоризмами. Этим его даром увлекательной устной беседы вероятно объясняется и то, что в молодости он сравнительно мало писал. Его творчество было устным — оно проявлялось в разговорах, в беседах, в лекциях.

Только после того как нацистское правительство лишило его кафедры и принудило к молчанию, он написал свою замечательную автобиографию, за которой последовал целый ряд других значительных работ: новое переработанное издание его книги о театре и кино, «Bolschewismus und christliche Existenz», «Dostojewskij und Tolstoj (Christentum und soziale Revolution)», отдельная книга о мышлении Достоевского, том литературных очерков «Встречи» и, наконец, его большой труд о русском символизме.

Все эти книги почти также захватывают читателя как «захватывала» его устная речь. От них трудно оторваться. И не важно, написаны они по-русски или по-немецки и согласен ли читатель со всем, что Степун говорит. Невозможно не поддаться обаянию той духовной силы, которая, как электрический разряд наэлектризовывает читателя. В чем же коренится эта его власть над умами? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить словами из романа «Николай Переслегин»: «Теперь, когда те дни с их священными, с утра освещенными, зимними аудиториями, с их тихими вечерами над впервые открытыми страницами Платона или Шеллинга, с их отчаянием понять, высоко в горах над городскими огнями, как этот мир мое представление, когда он со всех сторон окружает меня такой прочной устойчивостью и древнею мудростью, так далеко отошли от меня, — теперь когда десятилетнее общение с памят-

никами науки и искусства уже успело породить в моей душе ту профессиональную развязность (так называемую научную объективность), с которою церковные сторожа снимают во время богослужения нагар со свечей, и я уже вполне владею высоким, но и грустным искусством не заглушать биением собственного сердца звучания мира, — теперь я бы с величайшею радостью отдал всё мое знание и всё мое умение за дифирамбический восторг тех моих ранних 'младенческих' дней».

Нет, возразим отчасти Николаю Переслегину: — никогда не научился Федор Августович этой печальной цинической ловкости рук, свойственной многим ученым, жонглирующим понятиями. Зная, что этот «цинизм», эта безучастная беспристрастность необходима для научного познания, он, тем не менее, никогда не забывал непосредственно человечного во всей его индивидуальной неповторимости и экзистенциальной конкретности. Подобно великим французам XVII века он соединял в себе высшую духовность со светскими манерами, и совмещал, как мыслитель, отзывчивость на всё человеческое с научной точностью взгляда и формулировок. Так удалось ему, на этом действительно высоком уровне, примирить субъективное с объективным. В наше время это почти никому не удается. И вот почему мне хочется о нем сказать словами, сказанными Наполеоном о Гёте: «Voilà un homme!».

Вечная ему память!

Андрей Штаммлер

О ВОЗМОЖНОСТЯХ АГРАРНОГО НЭПА

Самой острой и нерешенной проблемой коммунистического «строительства» была и остается проблема сельскохозяйственного производства. Почти все коммунистические страны (в том числе большинство и тех, которые до переворота были аграрными, с избытком сельскохозяйственной продукции) сейчас вынуждены закупать хлеб в ненавистных «капиталистических» странах.

Одиннадцать лет искал Н. Хрущев правильного пути подъема сельского хозяйства СССР. Наговорил и насоветовал за эти годы целый восьмитомник под заглавием «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства». В нем собраны докладные записки, речи и доклады Хрущева с сентября 1953 года по март 1964. Теперь эти скрижали аграрных заповедей и заклинаний перешли из «основополагающего документа сельскохозяйственного строительства» в разряд изымаемой и нерекомендуемой литературы. И это собрание сочинений и импровизаций остается не только памятником бахвальства и просчетов гениально-посредственного партийца, но и обвинительным актом советской аграрной политики.

Не удалось осуществить партии «обязательное условие построения коммунизма», прокламированное в программе КПСС, утвержденной XXII съездом партии: — «создание наряду с могучей промышленностью процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства».

В чем же дело? Усилий, людских жертв, разбитых карьер было чудовищно много. Семилетка, которая должна была уже в какой-то части разрешить задачу обгона Соединенных Штатов по изобилию плодов земных, оказалась по некоторым отраслям сельского хозяйства движением вспять. А по закупкам на мировом хлебном рынке зерна СССР начала конкурировать даже с коммунистическим Китаем, где, как известно, сельское хозяйство «народных коммун» находится в самом плачевном состоянии.

Но разве Хрущев в одиночку строил коммунизм на селе

в течение последних лет? Разве с ним бок-о-бок не стояли брежневы, косыгины, полянские, подгорные, мацкевичи, которые единогласным восторгом принимали хрущевские решения по «подъему» сельского хозяйства?

После сентября 1953 г. достаточно хорошо стали известны все прошлые и настоящие беды, все трудности советского села. Начиная с овечкинских «Районных будней» о положении на селе было написано много талантливых, откровенных и разоблачающих очерков. Вспомним очерки Троепольского, Солоухина, Абрамова, Винниченко, Черниченко, Алексеева, Дороша, Яшина, Тендрякова...

Такие произведения, как «Районные будни» В. Овечкина, «Думы о коммунизме» М. Винниченко, «Дождь пополам с солнцем» Дороша, — были яркими вехами в показе трудностей дороги советского села.

Авторы говорили откровенно, не приглушенно. Они не лукавили и показывали деревню такой как она есть. И всё же, они не могли сказать **всю правду.** Они не договаривали до конца, не делали полных выводов и советовали только частичные, профилактические меры по улучшению положения.

Они видели грех в МТС. Винниченко прекрасно написал о двух хозяевах на земле. Что ж, колхозы получили в коллективную собственность сельскохозяйственные машины. Но проку — никакого. Находили выход в укрупнении колхозов, ожидая, что богатые колхозы потянут вверх присоединенные к ним, бедные. И статистику подогнали. Стало больше колхозов-миллионеров. Арифметика простая: — было шесть колхозов с денежным доходом, примерно, по двести тысяч рублей каждый — при укрупнении стал один колхоз с миллионным доходом. Но рядовому колхознику ничего от этого не прибавилось, ибо сложение бедности не создает богатства.

Потом вошла в моду совхозизация. Как никак, в совхозе трудится аграрный рабочий, а не колхозник. Здесь тебе и нормированный рабочий день, и твердая зарплата по тарифу, и социальное обеспечение, и страхование. По всем статьям совхозы — это «более высокая степень социализма», но, увы, это только видимость.

«В лице совхозов был создан невиданный в мире тип сельскохозяйственного производства; Советский Союз явился подлинным знаменосцем и носителем новых путей развития сель-

ского хозяйства», — с пафосом писали авторы сборника «Сельское Хозяйство СССР».

Одно время совхозизация шла полным темпом. Началась организация совхозов на колхозных землях. «Совхозы организованные на этих землях, — писалось в том же сборнике, — показали свою большую жизнеспособность и дали государству значительное количество товарной продукции». Если мы возьмем статистику, опубликованную после выхода в свет упомянутого сборника (1958), то она как будто полностью поддерживает теорию бо́льшей экономической выгодности совхозного производства по сравнению с колхозным.

В 1958 году было 6.002 совхоза, в 1964 г. — 10.075. Накануне семилетки за совхозами числилось 56,9 млн. га посевных площадей, а в 1963 — 89,7 млн. га, удельный вес соответственно поднялся с 30% до 44%. Выросли совхозы, поднялась и их доля в товарной продукции. Если в 1958 г. они сдавали и продавали государству 38% всего получаемого им зерна, 10% картофеля, 29% овощей, 27% скота и птицы, 23% молока, то в 1964 году соответственно поднялись и все цифры. Зерна теперь сдали 52%, то-есть, опередили колхозы. Картофеля было сдано 30%, овощей 57%, скота и птицы — 42%, молока 40% от всего количества соответствующих продуктов, заготовленных государством.

Не только количеством по отдельным видам товарной продукции, но и дешевизной ее по сравнению с колхозной отличается совхозное производство, как заверяют нас официальные источники. «Совхозы дают государству хлеб значительно дешевле, чем хлеб, полученный от колхозов», — утверждают авторы сборника «Сельское хозяйство СССР».

«В совхозах более высокая производительность труда, чем в колхозах», — уверяет Н. Симонов на страницах другого сборника («Экономическая программа строительства коммунизма», 1964). По всем статьям совхозы будто бы бьют колхозы. Приведу еще одну цитату из статьи Симонова: «Это (совхозы) ведущие социалистические предприятия в деревне, призванные служить для колхозов образцом передовых, научно обоснованных, экономически выгодных методов ведения общественного производства, высокой производительности труда. Они служат образцом для колхозов в организации труда, в использовании земли и сельскохозяйственных машин, в прак-

тическом применении достижений передовой сельскохозяйственной науки и т. д.»

Я привел только несколько выдержек, подтверждающих это, якобы, безоговорочное и единственное утверждение о превосходстве совхозной системы над колхозной. Но оно дано и в политической экономии социализма, и в решениях и резолюциях съездов и пленумов ЦК КПСС. Попробуйте в таких условиях, не имея никаких других цифр кроме официальных, прийти к выводу, что мы имеем здесь дело с недобросовестной интерпретацией фактов, с подгонкой цифр т. е. с прямым очковтирательством?! На самом же деле всё это именно так и есть. И все эти махинации делаются только для того, чтобы спасти догму, чтобы «доказать превосходства государственного сельскохозяйственного сектора» не только — над индивидуальным хозяйством, — но даже и над колхозным.

А то, что мы имеем здесь дело с подтасовкой, это самым наглядным образом показано в статье Г. Лисичкина — «Гектары, центнеры, рубли», опубликованной в девятом номере «Нового Мира». Думаю, что это наиболее убедительное разоблачение систематического обмана, преднамеренного скрытия правды об экономических результатах совхозного производства.

Конечно, Лисичкин не ставит себе целью дискредитировать советский строй. Ни в коей мере. Он вполне осторожно, и, я бы сказал, даже с партийных позиций говорит о коренных недостатках советской сельскохозяйственной системы. Он проникнут желанием указать лучший путь развития социалистического сельского хозяйства. И отнюдь не его вина, что приводимые им факты и его критика статистических махинаций разоблачают гораздо большее, чем только отдельные недостатки и просчеты в экономике аграрного производства СССР.

В своей статье «Гектары, центнеры, рубли» Лисичкин прежде всего критикует основы догматического положения, что совхозная собственность «высшая», а колхозная — «низшая». По его справедливому замечанию совхозы вовсе не самостоятельные придприятия, а только — ячейки одного суперсовхоза. «Но и этот супергигант не что иное, как своеобразный цех некоего суперкомбината, вбирающего в себя предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства». Поэтому и решение всех вопросов принадлежит не отдельному предприя-

тию, не совнархозу, «являющемуся лишь тысячной долей этого огромного суперхозяйства, а центральному руководству (Госплану, министерству, комитетам) возглавляющему этот суперкомбинат».

И дальше Лисичкин отмечает, что совхоз без одобрения «сверху» не может решить ни одного вопроса — ни хозяйственного, ни штатного, ни по строительству и т. п. «Иное дело колхозы, — пишет он. — Здесь каждое хозяйство — законченное, самостоятельное предприятие. Вопросы простого и расширенного воспроизводства решает каждое отдельное хозяйство. В этом отношении колхозная собственность действительно находится на более низкой ступени обобществления, чем, скажем, совхозная... Но так ли уж это плохо?» — восклицает автор.

И тут, отвечая на этот вопрос, Лисичкин неожиданно и смело ссылается... на опыт американской автомобильной промышленности и на свидетельство другого советского экономиста, В. Терещенко, который занимался изучением проблемы децентрализации предприятий «Форда» и «Дженерал Моторс».

«В данном случае, — пишет Лисичкин, — не грех оглянуться и на опыт Запада, потому что наш собственный опыт тоже говорит в защиту децентрализации. Ведь и в развитии совхозов чрезмерная централизация стала, на наш взгляд, серьезным тормозом. Примеров тому можно было бы привести множество».

Лисичкин приводит один совершенно разительный пример. В колхозах и совхозах Белгородской области до недавнего времени производство мяса было убыточным. А у десяти сахарных заводов этой области ежегодно без пользы пропадало 2,5 млн. тонн жома. На предложение создать откормочные пункты на базе заводских отходов откликнулись колхозы. Быстро были найдены кредиты и строительные материалы.

«Результаты не замедлили сказаться, — пишет Лисичкин. — Производство мяса стало высокорентабельным даже при старых ценах (себестоимость центнера 44,7 рубля, а цена — 116,2 рубля)».

«Чтобы сделать то же самое в совхозах, — говорил первый секретарь Белгородского обкома КПСС тов. Н. Васильев, — потребовалось не менее десяти лет на переписку, согласование, увязки».

Помимо бóльшей степени обобществления совхозы от колхозов отличаются тем, что вся их экономическая жизнь регулируется директивами, перепиской и поддерживается бюджетными ассигновками. А так как совхоз — бюджетная организация, то он «получает то, что просил, при чем ему почти безразлично, по каким ценам отпускается тот или иной материал или оборудование, точно так же, как безразлично, по каким ценам будет сдана заготовителю его собственная продукция».

И Лисичкин объясняет почему финансовая сторона мало беспокоит совхозную администрацию: «Ведь если у совхоза не хватает средств, чтобы выкупить то, что ему занаряжено, то вышестоящие организации переведут сюда деньги со счетов тех хозяйств, где они окажутся. Так что проблемы денежных средств в совхозе по сути нет. Поэтому здесь нет и экономической необходимости разумно заказывать технику или какие-либо материалы».

И автор приходит к выводу, что «такие категории товарного производства, как деньги, цена, торговля, кредит, спрос и предложение, на экономику совхозов не оказывают сейчас существенного влияния, хотя внешне, формально всё это сохранено».

Несомненно с колхозами положение иное. Лисичкин справедливо отмечает, что развитие колхозов «целиком зависит от использования механизма товарно-денежных отношений», что «свою производственную деятельность они строят на использовании закона стоимости». В этом он видит второе принципиальное отличие колхозов от совхозов.

Когда-то Сталину принадлежало последнее слово в развитии теории марксизма-ленинизма. И Сталин ввел понятие «высшей» совхозной и «низшей» кооперативно-колхозной собственности. В 1958 году на февральском пленуме ЦК КПСС Н. Хрущев заявил, что постановка вопроса о том, какая форма социалистического сельского хозяйства, колхозная или совхозная, более соответствует задачам строительства коммунизма, была ошибочной. Но на практике дискриминация колхозов как «низшей» формы остается непреложным фактом до наших дней.

Перейдем теперь к самым важным выводам Лисичкина, идущим полностью вразрез с официальной точкой зрения на преимущества той или иной формы обобществленного сельского хозяйства. Лисичкин утверждает, что для получения бес-

пристрастной, объективной картины надо сопоставлять сравнимые колхозы и совхозы, в то время как «часто экономически крепкий совхоз сравнивают со слабым колхозом и делают весьма далеко идущие выводы».

Сам Лисичкин сопоставляет сравнимые колхоз и совхоз Красногвардейского района Крымской области и добавляет, что «сравнения, проведенные в других сопоставимых хозяйствах Крыма, обнаруживают ту же тенденцию», тенденцию лучшей работы колхозов, чем совхозов при равных условиях. Ту же картину отмечает и Вологодское статистическое управление. Далее он ссылается на обобщенные данные других экономистов, которые «подсчитали, что совхозы страны в настоящее время, несмотря на более высокую техническую вооруженность, получают с каждого гектара земли меньше валовой продукции, чем колхозы, да и в расчете на сто рублей вложений труда и средств выход продукции в совхозах ниже». Оказывается, что «не в пользу совхозов и показатели себестоимости, исчисленной по сопоставимой денежной оценке оплаты труда».

По мнению Лисичкина нынешнее состояние совхозов тормозит эфективное использование тех богатств, которыми они владеют. Об этом свидетельствует отношение работников совхозов к труду, земле и технике. В подтверждение этого Лисичкин приводит объяснение председателя колхоза «Дружба народов» И. Егудина доказывающее лучшие производственные отношения в колхозах.

«В совхозе, — говорил Егудин, — рабочий день начинается в восемь часов, но лишь к девяти человек добирается в поле, к своему месту работы. А часов в пять уже можно кончать и идти домой. В нашем же колхозе, особенно летом, работы начинаются в шесть утра. И до восьми вечера, а иногда и дольше трудятся люди... Специфика сельского хозяйства требует иного подхода к нормированию рабочего времени, тем более что зимой напряженность сельского труда резко падает».

«Видимо, — объясняет Лисичкин, — здесь действуют какие-то объективные причины недостаточно еще понятные и изученные». В Советском Союзе, конечно, эти действительные причины никто и не пытается выяснить, хотя они вовсе не так уж сложны. Общеизвестно, что особенности сельскохозяйственного производства не позволяют относиться к труду на

земле, как к труду на заводе — от гудка до гудка. Земля требует рачительного, живого отношения к себе. В совхозе же всё обезличено. Совхозный работник — наемный рабочий, а не крестьянин. Правда, и колхозник — государственный батрак, а не крестьянин, но его интересы всё же ближе к земле.

Вот как характеризует разницу между работниками совхоза и колхоза Лисичкин: «...в колхозе оплата труда тесно связана с конечными результатами производства, с объемом и себестоимостью продукции. Общий фонд оплаты формируется здесь как часть валового дохода, то есть как часть вновь созданного коллективом продукта, поступающего на нужды производственного и личного потребления». — «Чтобы получить высокую оплату труда, колхозники должны думать не только о том, чтобы добросовестно выполнить свою работу, набрать больше норм на своем участке, но должны в первую очередь беспокоиться об общем успехе хозяйства. Иначе будет много трудодней, а делить на них будет нечего».

Такого положения по мнению Лисичкина в совхозе нет. И в подтверждение этого он пишет: «Фонд оплаты формируется здесь (то есть в совхозе) как среднеарифметическое от расценок за выполнение отдельных норм на отдельных операциях. Его размер, следовательно, совершенно не зависит от оптимальной структуры хозяйства, от эфективности капитальных и других затрат, от себестоимости производимой продукции. Короче говоря, фонд оплаты здесь не зависит от размеров валового дохода, то есть ликвидируется всякая зависимость между тем, какой прибавочный продукт создается данным коллективом, и тем, что этот коллектив получает. Поэтому в ином знаменитом совхозе рабочие получают такую же оплату в расчете на человеко-день, как и в соседнем убыточном совхозе, который на рубль затрат дает государству раз в пять меньше продукции, а государство еще и перекрывает его же убытки».

Всё, что говорит Лисичкин о совхозах целиком справедливо. В отношении же колхозов он, конечно, несколько идеализирует условия их работы.

К доводам в статье Лисичкина, которые нельзя не отметить, относится, несомненно, и всё направленное против существующих концепций политической экономии социализма. Лисичкин пишет: «наша политэкономия почему-то считает всякий труд, затрачиваемый на государственном предприятии, об-

щественно необходимым, и эта теоретическая предпосылка служит основанием к тому, что предприятию оплачивается любое количество затраченного труда». А «из-за этого общество вынуждено оплачивать не только действительно полезный труд, но и тот, что вложен в овощи, которые сгнили в совхозе, в скот, который пал по недосмотру.... Тем самым общество, — поясняет Лисичкин, — невольно стимулирует любые затраты, не считаясь с их экономическим эфектом».

О колхозах же Лисичкин пишет так: «В колхозах оплачиваются не любые затраты, а только те, которые зафиксированы в ценах. Вот почему здесь куда больше стремления к экономному расходованию труда и техники, особенно если уровень цен создает реальные условия для хозяйствования. Ведь и в совхозах не все затраты общественно необходимы — значит, их оценка также, очевидно, должна производиться через посредство цены». — «Мы пытаемся игнорировать эти закономерности в нашей хозяйственной практике, — заявляет Лисичкин, — и они жестоко мстят нам за это, потому что нынешний уровень производства еще не позволяет перейти к той схеме хозяйствования, которую нам хотелось иметь».

Какую же схему хотелось иметь? На этот вопрос Лисичкин не отвечает, да и не должен: ведь вопрос идет об аграрных фабриках, о полной перестройке аграрного производства по схеме, данной еще Марксом, который, как известно, презирал «идиотизм деревенской жизни». Вот в угоду этой мертвой догме советские коммунисты больше сорока пяти лет и ломают деревенскую Россию.

В своей статье Лисичкин рассматривает и вопрос о перерастании колхозно-кооперативной собственности в общенародную, который поставлен в программе партии. Программа говорит: «Экономический расцвет колхозного строя создает условия для постепенного сближения, а в перспективе и слияния колхозной собственности с общенародной в единую коммунистическую собственность» («XXII съезд КПСС», стенографич. отчет, т. III, стр. 285).

Лисичкин вносит некоторую ясность в этот вопрос. «Если под общенародной собственностью понимать лишь ту, что преодолела товарные отношения и перешла на систему прямого продуктообмена, то, как видим, — справедливо отмечает он, — ни совхозная, ни колхозная собственность до этого еще не

доросли. Не тот уровень производительности». И далее: «Если же под этим понимать лишь то, что и следует понимать, то есть отношение к собственности, не впутывая сюда вопроса о судьбе товарно-денежных отношений при социализме, то между кооперативно-колхозной собственностью и общенародной уже сейчас нет никакой разницы».

Это свое заявление Лисичкин обосновывает ссылкой на академика С. Струмилина, который характеризовал неделимые фонды колхозов как общенародную собственность.

Известно, что сейчас в СССР пробуют строить новую экономическую политику, учитывая законы товарно-денежного обращения, используя такие экономические рычаги как прибыль, процент на капитал и т. д. Лисичкин приводит примеры, которые показывают, что как только нарушались законы товарного производства, в сельском хозяйстве начинался спад. Если же принимались экономические меры, которые учитывали законы стоимости и если сельскохозяйственные цены назначались государством с таким расчетом, чтобы они были выгодны колхозникам, тогда наступал известный перелом к лучшему.

Плохая работа колхозов, убыточность совхозного производства, в конце концов, сводятся по Лисичкину к тому, что мероприятия партии принимались с нарушением закона стоимости и товарно-денежных отношений, которые по его справедливому замечанию «действуют и тогда, когда их не признают» — «действуют против людей, пытающихся строить экономику на основе собственных точек зрения и желаний».

Некоторые высказывания Лисичкина по вопросам экономической теории очень ценны тем, что он прямо указывает, что все те экономические концепции, которые кладут сейчас в основу экономической политики на ближайшее пятилетие, раньше (а некоторыми экономистами и до сих пор) рассматривались как элементы капиталистической экономики. — Лисичкин приводит такой взгляд некоторых экономистов: «Будь в социалистическом обществе только один собственник, никаких товарных отношений в нем не существовало бы». Сейчас же власть расширяет товарные отношения, то есть идет вспять, следовательно к расширению капиталистических форм в советском понимании этих политэкономических концепций.

Также обстоит и с вопросом о переосмыслении закона

стоимости. «Когда заходит речь о сознательном и широком использовании закона стоимости в нашей хозяйственной практике, то это почти автоматически вызывает, мягко выражаясь, настороженность и недоверие» — утверждает Лисичкин и приводит весьма знаменательную фразу: — «Чем же наша экономика будет тогда отличаться от капиталистической? — возмущаются даже самые эрудированные экономисты». И Лисичкин продолжает: «У нас до самого недавнего времени, а нередко и по сей день попытки использовать прибыль, кредит, торговлю, процент на капитал и так далее некоторые товарищи готовы рассматривать чуть ли не как возрождение капитализма...» Сам Лисичкин к этой категории экономистов не принадлежит. Он считает, что советскую экономику отличают не экономические законы и категории, а то, что в демократических государствах «используются-то они в интересах узкой группы собственников», а «прибавочный продукт в СССР идет ...всем трудящимся и только им», и тут Лисичкин, разумеется, ссылается на самого Ленина («Ленинский сборник», XI, стр. 381-82).

Ссылка на Ленина сделана, конечно, для вящей убедительности, но она ничего не меняет в главном, то-есть, в том: — то, что раньше осуждалось как чуждое явление для социалистической экономики, теперь осваивается и даже перелицовывается в терминологическом отношении. Так, например, в самом начале дискуссии о предложениях Либермана не только писалось о рычагах капиталистической экономики, но и назывался среди них, как необходимый для освоения советской экономикой — процент на капитал. Выражение это употребляет и Лисичкин. Но это уже анахронизм. Сейчас появился субститут — «плата за основные фонды». Причем уже доказывается, что с процентом на капитал это «плата за основные фонды» ничего общего не имеет. Некий В. Ракитский, в десятом номере журнала «Вопросы Экономики», пишет: «Новое для нашей экономики является категория платы за основные фонды и оборотные средства (плата за фонды). Буржуазные экономисты поспешили отождествить плату за фонды с процентом на капитал и объявить в этой связи о якобы происходящем «отходе от марксистской идеологии» (стр. 129; в кавычках выражение из «Тайм» от 12 февраля 1965 г. стр. 21).

Есть у Лисичкина и еще одно интересное положение. Он нашел известную тождественность в применении планирования

в советских и капиталистических условиях. Он пишет, что «в понятие планового хозяйства можно вкладывать два совершенно различных смысла». Цитирую далее: «Один из них очень близок нам, и с его методологией мы уже достаточно знакомы — это когда плановость понимается как отказ потребителю в праве выбирать продукты из ограниченного их запаса», что «дорого обходится обществу». Этот метод негативного планирования, названный покойным академиком Немчиновым «карточным рационированием», в капиталистическом мире применяется только во время войны, когда возникает нужда в рационировании, в плановом распределении дефицитных материалов. Но то, к чему прибегают в индустриальных западных странах в силу форс-мажорных условий войны, советская экономика применяет в мирное время как регулярное принудительное планирование.

А какой же второй смысл планирования? «В социалистическом обществе государство может активно влиять на изменение и совершенствование главных пропорций развития народного хозяйства», — пишет Лисичкин. Это — прогрессивный, положительный характер планирования. Но разве он не свойствен и государствам не коммунистического мира? Нет, Лисичкин этого не утверждает. Он признает, что «и в капиталистических странах экономисты понимают значение общественного планирования основных перспективных пропорций». Надо к этому добавить: не только понимают, но и опережают в этом отношении советских плановиков. Советский Союз только теперь копирует топливный баланс США, в котором преобладают прогрессивные виды горючих материалов — нефти и природного газа. На Западе значительно раньше начали переходить в железнодорожном транспорте на дизельную и электрическую тягу, намного быстрее внедряется применение пластических масс и химического волокна. Советские плановики пока только подражают и заимствуют пропорции, которые складываются в народном хозяйстве передовых демократических стран мира.

Если контрольные цифры советских перспективных планов с большим интересом рассматриваются западными экономистами, то, отнюдь не для того, чтобы научиться находить главные пропорции народного хозяйства. Вот, например, книга трех американских авторов — Г. Ландсберга, Л. Фишмана и

Дж. Фишера, — «Ресурсы США в будущем», в которой рассматривается перспектива развития Америки к двухтысячному году. Эта книга переведена и изучается как руководство для будущих плановых наметок в СССР.

Лисичкин достаточно объективен в оценках западной экономики. Для него не секрет, что и в индустриальных странах Запада «государство берет на себя развитие тех отраслей, которые не могли бы расти на основе действия одного закона стоимости, когда руководствуются стремлением к максимальной прибыли на вложенные средства». В качестве примера он приводит развитие радиоэлектроники, атомной энергетики в США за счет государственных дотаций или непосредственно на государственных предприятиях.

В заключение, говоря о статье Лисичкина «Гектары, центнеры, рубли», я хочу остановиться на одной злободневной идее — на идее некого нового Нэпа, прокламированной на мартовском и сентябрьском пленумах ЦК КПСС в 1965 году. Если нынешнее руководство партии, или те, кто его сменит, не отклонятся от этого курса, то СССР действительно мог бы вступить в эру — некого своеобразного нэпа наших дней.

Лисичкин приветствует и принимает эту новую экономическую политику. К оценке положительного значения новых веяний в экономической мысли он подходит с точки зрения расширения товарно-денежных отношений. За подкреплением он обращается, конечно, к Ленину, который прозорливо, одним из первых в период военного коммунизма понял провал попытки замены механизма товарно-денежных отношений прямым продуктообменом. И дело не в «прозорливости» как таковой, а в том, что Ленин **решился** на крутой поворот, «изменив сразу принципы, методы социалистического хозяйственного строительства в связи с переходом на новую экономическую политику», ибо полный утопизм экономических догм марксизма, вынесенных в кабинетном творчестве, — оказался чересчур очевиден.

Лисичкин считает, что для определения Нэпа как хозяйственной системы необходимо не упускать из виду, что в те годы административно-директивный метод распределения был заменен коммерческим расчетом, регулированием товарообмена — чисто рыночной конъюнктурой спроса и предложения.

Известно, что Нэп протянулся почти до года «великого

перелома», то есть перехода на сплошную коллективизацию и на форсирование индустриализации за счет ограбления всех слоев населения. Тогда теоретически опять воскресли порочные методы свертывания товарообмена, снова стали игнорировать и преодолевать требования объективно существующего рынка, нацеливаясь на коммунистический способ продуктообмена. Жизнь показала всю иллюзорность утопий коммунистического распределения при современном способе производства.

Хрущев колебался между требованиями реальной жизни и программными догмами. И еще раз привел хозяйство СССР к тяжелому кризису. Новая экономическая политика требует и новых теоретических установок. О них пишет Лисичкин, о них пишут и говорят в экономических институтах. Проводятся диспуты, совещания. Но трудность заключается в том, что догматики принимают за ересь новые концепции в модернизируемой политической экономии социализма. А не догматикам надо доказывать, что нет возврата к капиталистическим категориям и принципам, что нет «блудных сынов» политэкономии, что экономические рычаги — прибыль, рента, процент на капитал, — всегда признавались детьми законного брака теории с практикой. Поэтому сейчас, пожалуй, больше усилий направляется на борьбу с «буржуазной интерпретацией хозяйственной реформы в СССР», чем на разработку правильных постулатов новой экономической политики.

В заключение Лисичкин возвращается к животрепещущим вопросам организации сельскохозяйственного производства. Улучшить положение по его мнению можно дальнейшим расширением товарности производства и приравнением колхозов к совхозам при решении всех вопросов снабжения и производства. Только, став на точку зрения товарности сельскохозяйственного производства, можно выработать такие объективные критерии, которые противостояли бы субъективизму, что, по его мнению, создается искусственным делением сельских хозяйств на «высшие» и «низшие» формы.

Лисичкин выступает против нынешней системы планирования заготовок и закупок сельскохозяйственной продукции. Он ратует за переход «к свободной контрактации всех продуктов». Но страхуясь от неожиданностей, он говорит, что можно было бы на какой-то срок сохранить планы задания лишь по зерну.

Много внимания он уделяет и защите свободной контрактации, считая, и вполне справедливо, что административное планирование с помощью директив, менее эфективно, чем экономическое планирование. Он не раз употребляет узаконенный в последнее время термин — «экономическое планирование», под которым подразумевается — планирование при помощи цен, прибыли, материального стимулирования и других экономических рычагов. Он пишет: «при экономическом планировании центр внимания переносится на изучение цены, рентабельности, ее географии, на изыскание путей для ускорения комплексной механизации того производства, развитие которого сдерживается».

Лисичкин не плохо знает экономику старой России. Так он напоминает тем, кто думает, что социализм придумал доведение планов заданий до хозяйств, что «в 1914-1916 годах в России до уездов также доводились планы по производству и продаже хлеба при стабильных государственных ценах на него».

Экономическое планирование при отказе от заданий по поставке государству привело бы к улучшению структуры производства — таков смысл выступления Лисичкина. Хозяйства производили бы то, что им выгоднее, а это вызвало бы удешевление продукции. Но для этого надо снять ограничения в свободе торговли сельскохозяйственными продуктами.

Очень правильна, но пока еще еретична мысль Лисичкина — повысить роль Центросоюза в продаже аграрной продукции. «Но тогда необходимо, — добавляет Лисичкин, — возродить коммерческую сущность этой наиболее разветвленной организации, самой природой созданной для осуществления продуктообмена между городом и деревней».

В снабжении деревни техникой, удобрениями и другими материалами также требуется не распределение, а продажа и притом по ценам спроса и предложения, что по его мнению обеспечило бы рациональное использование техники в сельском хозяйстве. Конечно, более сильные хозяйства тогда забили бы экономически маломощные. И Лисичкин предвидит этот вопрос: «А как же экономически слабые хозяйства?» Но этот вопрос он считает скорее эмоциональным, чем трезвым. Разным хозяйствам нужна разная «обувь». Если хозяйство не подготовлено к использованию техники, то ни тракторы, ни

удобрения, ни механизмы для доения, ничто не может помочь, в то время как крепкие хозяйства получили бы от них выгоду. Поэтому он и считает, что «свободная продажа техники, удобрений, химикатов колхозам и совхозам на равных началах позволила бы более разумно, чем сейчас, распределить средства между хозяйствами».

Заключая свои соображения о путях подъема сельского хозяйства СССР, и справедливо отмечая, что решение сельскохозяйственных проблем находится в тесной связи с общим совершенствованием экономических отношений и бóльшим использованием товарных отношений, Лисичкин дает такое резюмэ: «...путь к увеличению производства сельскохозяйственной продукции пролегает не через искусственное противопоставление колхозов и совхозов и форсирование перевода ряда колхозов в совхозы, он — в том, чтобы последовательно развивать и тут и там товарные отношения, укреплять демократические принципы управления производством, совершенствовать принцип распределения по труду, добиваться максимального и гармонического сочетания моральных и экономических стимулов».

На мой взгляд очень существенный пробел в дельных предложениях Лисичкина по подъему сельскохозяйственного производства заключается в том, что он полностью обошел вопрос о личном хозяйстве рабочих, служащих и колхозников. Можно предполагать, что он сделал это умышленно, чтобы здесь не спотыкнуться. Но ведь без правильной политики в отношении приусадебного хозяйства и личного скотоводства советских граждан не может быть в целом решена проблема повышения производства сельскохозяйственной продукции. Да и проблема социального переустройства деревни тесно связана с правильным решением проблемы — единоличного хозяйства. Несомненно, чтобы быть последовательным в развитии товарно-денежных отношений, большая свобода торговли сельскохозяйственными продуктами должна быть распространена и на личное хозяйство. Если оно дает более дешевое молоко и мясо, овощи и фрукты — не надо тормозить его. Те немногие уступки, притом вынужденные, которые сейчас даны личному хозяйству — это только полумера, от которой власть, конечно, постарается отказаться, как только общественное сельское хозяйство станет крепче на ноги. Но это область будущего.

В заключение хотелось бы сказать, что если нынешние экономические веяния будут осуществляться практически, то может быть и в самом деле наступит некий неонэп. Только верится в это с трудом.

А. Иванов

СОВЕТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

I

В 1965 году в международной обстановке не произошло сенсационных событий. Тем не менее этот год может, в известном смысле, оказаться переломным. Именно в этом году начали привыкать к положению, которое еще несколько лет тому назад казалось мало возможным и которое почти никто из специалистов по международной и советской политике не предвидел. Положение это сводится к тому, что, несмотря на свою военную и промышленную мощь, Советский Союз перестал играть в большой международной политике одну из тех руководящих ролей, которую играл в прошлом и на которую, в виду обширности своей территории и своего положения, он вправе претендовать.

Активность советской внешней политики как-то перешла из большой сферы в малую. Энергия руководства партии и правительства с некоторых пор направлена на периферию, правда, важную, но всё-таки на периферию. Советскому руководству удалось добиться значительных успехов в области упорядочения отношений со своими социалистическими спутниками в Европе и, за исключением Китая, даже в Азии. Процесс отхода, «высвобождения» этих спутников, происходивший в предыдущие годы и грозивший в некоторых странах, в случае углубленного развития, дойти до полного разрыва, в последние пятнадцать месяцев, приостановился.

Не менее существен и другой успех, но опять-таки периферийного характера. Советскому Союзу удалось отвоевать старые и завоевать некоторые новые позиции среди «социалистических» и экономически-неразвитых стран Азии, Африки и коммунистических партий и революционных движений Латинской Америки. Этому успеху Москва, в большой степени, обязана, во-первых, Китаю, во-вторых, общему процессу «по-

правения», который произошел в этих странах. Своей несуразной демагогической политикой, Китай содействовал своей же изоляции, с одной стороны, и усилению СССР, с другой. Своим вмешательством в их внутренние дела, Китай отдалил от себя целый ряд стран в Африке. Из-за невозможности выполнить данные обещания экономического характера, Китай восстановил против себя Кубу. Своей неспособностью реагировать на разгром многочисленной прокитайской компартии в Индонезии, Китай доказал, что за его революционными фразами скрывается боязнь действий. Китай тут, как и в некоторых других случаях, оказался в роли «бумажного тигра».

Всё это «поправение» пошло на пользу Москвы. Полковник Бумедьен, сместивший амбициозного Бен Беллу, не лезет в большие вожди и не ставит себе утопических целей. Пример событий в Индонезии и Алжире подействовал, повидимому, отрезвляюще и на других правителей «третьего» мира, которые в прошлом пытались лавировать не только между западным и коммунистическим миром, но и между Пекином и Москвой. Среди этих стран явно стало намечаться желание больше заниматься собственными делами и меньше освободительными и объединительными задачами, от осуществления которых они, разумеется, формально не отказались. Все они чрезвычайно нуждаются в западной и советской помощи, а не в революционных тезисах и платформах. «Поправение», установка на узко-национальные и локальные дела усилили влияние Москвы и изоляцию Пекина.

К этому надо прибавить еще одно: успешное завершение конференции в Ташкенте. Индийско-Пакистанское соглашение, если оно окажется прочным, является ударом по Китаю и успехом для Советского Союза. Соглашение мешает осуществлению экспансионистских планов Китая, давая возможность Индии концентрировать свои силы, главным образом, для преодоления китайской опасности.

Но, как сказано выше, все эти успехи периферийного характера, ибо их результаты ограничиваются консолидацией позиций СССР в коммунистическом мире, преимущественно, в его борьбе с Китаем. Совсем другая картина предстает нам, когда мы пытаемся анализировать внешнюю политику СССР в отношении Запада. Если не считать флирта с Францией, который может оказаться весьма эфемерным, и неудачную попыт-

ку оторвать от Запада Турцию, Советский Союз на западном фронте не проявил за последний год сильной инициативы. Здесь Советский Союз как бы нейтрализовал себя; здесь иммобилизм стал его отличительной чертой.

Надо сказать, что эта черта проявилась не только в 1965 году. Она была ощутима и раньше. При Хрущеве, однако, она маскировалась его словесным авантюризмом. Заменившее же его коллективное руководство прибавило к осторожности действий и осторожность слов. «Субъективизм» Хрущева был, как там принято выражаться, заменен «научным» подходом нового руководства.

Ничто, может быть, не подтверждает снижения роли Советского Союза в большой политике с такой убедительностью как известная «программная» речь американского военного министра Мак Намары на последней сессии совета министров держав Атлантического пакта в декабре 1965 г. Нельзя забывать, что Северо-Атлантический пакт и вышедший из его недр Северо-Атлантический Союз были созданы в 1949 году, в первую очередь, как союз западных стран, объединенных сознанием необходимости защиты от наступательной политики Советского Союза. В течение многих лет этот Союз главную свою опасность и угрозу видел в усиливающейся мощи СССР и соответственно строил свои стратегические и политические планы. И вот на семнадцатом году своего существования, на совещание участников этого оборонительного Союза против СССР приходит авторитетнейший представитель державы, которая и в прошлом и в настоящем была и остается его центральной осью, главным инспиратором и основной военной силой, и в своей «программной» речи... почти полностью эту угрозу игнорирует.

Не упоминая ни СССР ни другие европейские коммунистические страны, Мак Намара красноречиво говорит об опасности со стороны Китая, у вождей которого, по его мнению, «дела не расходятся со словами». Заявив, что Китай тратит на военные расходы десять процентов своего национального дохода (цифра огромная для бедной страны, особенно, если сравнить это с Индией или Пакистаном, которые тратят от одного до трех процентов), Мак Намара предсказал, что через два года Китай будет располагать небольшим запасом атомных бомб и ракетами радиуса среднего действия. В 1975 году Ки-

тай будет, согласно данным Мак Намары, иметь межконтинентальные ракеты, которые смогут бомбардировать Европу и США. Указав на существование огромной постоянной китайской армии, Мак Намара предложил своим коллегам и министрам изучить следующие три вопроса: 1. Намерен ли Китай в ближайшие двадцать лет расширить свое господство в Азии, Африке и Латинской Америке? 2. В случае положительного ответа, в какой мере тогда будут затронуты кровные интересы США и их союзников? 3. Если эта экспансия является враждебной в отношении Запада, что может последний сделать для ее предотвращения?

Оставляя в стороне вопро о правильности вышеприведенной оценки существующего положения вещей и о прогнозе относительно будущего, характерным, мне кажется, в этой речи является перемещение, в сознании руководителей США, иерархии опасностей. Врагом номер один перестают быть коммунистическая Россия и ее европейские союзники; ими становятся коммунистический Китай и его сущие и потенциальные союзники в Азии, Африке и Латинской Америке.

Чем же объясняется это перемещение иерархии опасностей в сознании американских руководителей? Почему они думают, что относительная пассивность советской внешней политики и некоторое ослабление ее агрессивности в отношении Запада, являются феноменом не временным, а как бы постоянным и неотвратимым?

Ответы на эти вопросы следует искать в разных плоскостях. Большую роль в изменившемся взгляде на Советский Союз играет, надо думать, не только так называемое установившееся «равновесие террора», которое по общему мнению делает большую атомную войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами невозможной, но также и происшедшее за последние годы изменение соотношения военной мощи в пользу Америки. Немалую роль в «переоценке» советской опасности сыграла, повидимому, и реакция Советского Союза на решимость Америки противостоять коммунизму не только словом, помощью, оружием и советниками, но и прямым военным участием американских вооруженных сил.

Некоторая советская пассивность в отношении Запада может также быть объяснена целым рядом явлений имеющих ме-

сто в коммунистическом лагере вообще и в Советском Союзе, в частности. Китайско-советский конфликт, требуя концентрации энергии и сил для отражения китайских нападок и интриг, должен, по логике вещей, привести к ослаблению советского давления на Запад. С другой стороны, не исключена возможность, что Советы ослабили это давление не по необходимости, а по расчету. Углубление войны в Азии путем всё большего втягивания двух своих главных антагонистов США и Китая — может Советам казаться выгодной политикой дальнего прицела.

При попытке объяснения советского поведения по отношению к Западу нельзя сбрасывать со счетов и целый ряд других явлений, принявших особенно отчетливые очертания в последние годы. Идеологический вакуум или эрозия коммунизма так заметно отражающаяся в советской печати; экономические трудности, о которых свидетельствуют и официальные цифры и заявления советских руководителей; политический кризис власти, затрудняющий принятие решений в больших и спорных вопросах — все эти явления не могут не оказывать влияния и на цели и на методы советской внешней политики. Возможно, что значение этих явлений преувеличивается некоторыми западными советоведами, но их наличие и влияние отрицать или игнорировать невозможно.

Некоторые из этих явлений, в своей совокупности определяющие советскую и внешнюю и внутреннюю политику, заслуживают более пристального рассмотрения. В первую очередь, это должно касаться вопроса о соотношении сил между Америкой и Советским Союзом.

Вопрос этот, разумеется, обсуждается в соответствующих специализированных западных журналах. Нужно сказать, что с некоторых пор многими западными специалистами признается военное превосходство Америки. В политических сферах, однако, считают, что это превосходство всё же не нарушает обоснованности концепции о равновесии террора. Атомное оружие России до того велико и разнообразно, что большая война с ней, даже в случае усиления ее возможного противника, остается маловероятной. Вопрос о превосходстве должен поэтому ставиться не столько в военной, сколько в экономической и других плоскостях.

В этом смысле показательна появившаяся недавно знаменательная статья в парижской газете «Ле Монд». Показательна и знаменательна эта статья по двум причинам: во-первых, по ее содержанию и по характеру той газеты, в которой она появилась; во-вторых, из-за реакции на эту статью советских властей. «Ле Монд», как известно, газета весьма доброжелательная по отношению к СССР. Статья, о которой идет речь, была озаглавлена «В мире есть только одна великая держава» и принадлежала эта статья перу недавно вернувшегося из Советского Союза публициста Ренэ Даверна.

Пытаясь сравнивать США и СССР, автор начинает статью с утверждения, которое, по его мнению, уже не подлежит сомнению. «Экономический и политический кризис, переживаемый сейчас Советским Союзом, глубоко меняет международное соотношение сил, ибо одновременно с кризисом в СССР, Соединенные Штаты выделяются своим несравнимым могуществом во всех областях». Останавливаясь подробно на экономических трудностях Советского Союза — необходимость закупать зерно, на которое тратятся валюта и золото, нужные для приобретения машин, — автор пишет: «Россия отдает себе отчет в том, что она всё более и более отстает от Америки ...тридцать миллионов советских колхозников и совхозников производят гораздо меньше, чем семь миллионов американских фермеров...» Публицист наиболее авторитетной французской газеты, которая в прошлом часто была склонна преувеличивать советские экономические и другие успехи, сейчас пишет о «всё усиливающемся параличе советской экономики». Или еще более образно: «Негибкая доктрина заставляет Советский Союз пользоваться лестницей, когда Америка пользуется лифтом... Доктрина сослужила службу в прошлом для развития элементарной индустриализации; доктрина становится помехой, когда в порядке дня стоит вопрос об усовершенствовании экономики».

Москву эта статья, повидимому, сильно задела. Воспользовавшись весьма необычной процедурой, советский официальный представитель агентства «Новости» опубликовал в той же газете огромную статью, в которой он пытается потоком «неопровержимых» цифр, фактов и цитат опровергнуть утверждения и выводы Даверна.

II

Конечно, обладание военным и экономическим превосходством в эпоху возможной атомной войны не является абсолютным критерием силы. Нужна еще решимость, готовность этой силой воспользоваться. Никогда эта зависимость между силой и решимостью не была так тесно связана как в наше время. По сложившимся условиям, Соединенным Штатам выпало на долю стать «демократическим жандармом всего мира»; не одного континента, а именно всего мира. Америке приходится преграждать продвижение коммунизма и в Азии, и в Европе, и в Латинской Америке, и в Африке. Америка обречена на глобальную политику и глобальную защиту, ибо никто другой этой защиты, в наличных условиях, взять на себя не может и не хочет.

Можно спорить о том, является ли Вьетнам тем подходящим местом, где Америка должна была организовать оборону от наступающего китайского коммунизма; весьма возможно, что по целому ряду внутренних и стратегических причин Вьетнам таким местом не является. Кто может, однако, серьезно отрицать то, что если бы Америка ушла из Вьетнама, ей бы не пришлось через некоторое время столкнуться с аналогичным положением в Тайланде, в других странах Юго-восточной Азии, на Филиппинах и, наконец, в Индии? Кто, с другой стороны, будет серьезно отрицать, что уход Америки из Вьетнама или Азии вообще, не подорвет в корне не только престиж Америки, но и всю систему защиты Европы. Действительно, уход американских вооруженных сил из Вьетнама был бы для Германии и других европейских стран (защита которых покоится на американской атомной мощи) доказательством, что на защиту Америки полагаться нельзя, ибо Америка своих обязательств не выполняет. Германии и другим европейским странам ничего бы тогда не оставалось как добиваться сближения с Советским Союзом на советских условиях. В Вьетнаме Америка, следовательно, обороняется не только от китайского коммунизма, но косвенным путем и от возможного наступления коммунизма на других континентах. Странно, что многие люди, критикующие американское вмешательство во Вьетнаме, этой азбучной истины не понимают.

В дни, когда пишется эта статья, трудно не только что-либо предсказать о возможном развитии конфликта, в который, в той или иной степени, втянуты все крупные мировые державы, но даже истолковать недавние политические инициативы этих держав. Я думаю, что Вашингтон, не исключая возможности компромиссного мира, готов, в случае отказа противной стороны, к усилению и расширению войны. Во всяком случае, мирное наступление сопровождается, как и следовало ожидать, посылкой новых американских войск и новыми бомбардировками Северного Вьетнама.

Какие цели преследовала и чем окончилась миссия Шелепина в Северном Вьетнаме? Этот вопрос окутан непроницаемой тайной. Официально советская миссия имела целью заверить Сев. Вьетнам в готовности Советского Союза оказывать своему социалистическому собрату максимальную помощь, не только морально-политическую, но и военную и экономическую. Красный Китай, однако, не перестает утверждать, что действительной целью Шелепина и его делегации было склонить Сев. Вьетнам к компромиссу, перемирию и миру.

Никто из простых смертных, разумеется, не знает есть ли хоть крупица правды в этих китайских сообщениях. Надо, однако, сказать, что в американской печати, в частности, в «Нью Йорк Геральд Трибюн» кое-какие надежды действительно возлагались на Шелепина. Полагали, что влияние Москвы, в противовес Пекину, будет умеряющим. Но после возвращения Шелепина, когда Москва отклоняет все предложения о советском посредничестве во Вьетнаме, главные вопросы попрежнему остаются невыясненными: — будет ли Москва «целиком и полностью» поддерживать Хо Ши Мина в его невыполнимом требовании об уходе американских войск? Пытается ли Москва своей поддержкой Хо Ши Мина, усилить позиции Сев. Вьетнама в случае возможных переговоров или она действительно готова поддерживать Ханой до победного конца?

Не более ясны истинные, а не демагогические намерения Китая. Решили ли китайские руководители воевать во Вьетнаме только до последней капли крови вьетнамского солдата и партизана или они действительно готовы, как они это в последнее время заявляют, полностью сами влиться в войну, даже если последняя будет атомной? Наконец, каковы в создавшихся теперь условиях планы Хо Ши Мина и руководителей Вьет-

нама? Будут ли они продолжать ставить на безнадежную карту Пекина или согласятся на переговоры, с целью добиться компромисса?

III

Все эти вопросы остаются актуальны независимо от дальнейшего развития войны во Вьетнаме. Ведь вопрос идет не только о Вьетнаме, а о настоящих и будущих отношениях между треугольником США — СССР — Китай. В предвидимом будущем едва ли можно надеяться на длительную нормализацию отношений между Китаем и Америкой. Чтобы отказаться от продвижения коммунизма в наиболее уязвимых местах некоммунистического мира — Азии, Африки и Латинской Америки — китайские руководители должны перестать быть коммунистами. С другой стороны в создавшихся условиях едва ли можно ожидать, что Соед. Штаты откажутся от своей роли защитника демократического мира.

Чем дальше тем менее вероятно примирение между Москвой и Пекином, хотя такая возможность не должна считаться совершенно исключенной. Это примирение кажется мало вероятным потому, что помимо доктринальных ссор между этими двумя колоссами существует, по крайней мере в будущем, много оснований для конфликтов национального, геополитического и другого характера. Исключенным такое примирение нельзя считать, ибо новые условия могут создать и новую перегруппировку сил и союзов; конфликты, которые нам сейчас кажутся острыми и неразрешимыми, могут в результате новых условий, отойти в небытие. Пример советско-югославского конфликта и его последующих перипетий должен в этом смысле служить предостережением.

Из всех возможных вариантов политической переориентации внутри треугольника наиболее заманчивым и для многих наиболее вероятным остается вариант политического и даже военного союза западных держав с Советским Союзом. По логике вещей, такой союз был бы направлен против Китая, ибо его главной целью было бы задержать большевизацию и китаизацию стран Азии и других континентов.

Рассуждения на эту тему не ограничиваются одними досужими спекуляциями западных публицистов. В более осторожной форме они нередко проникают и в высказывания запад-

ных политических деятелей. Так, например, лорд Шальфонд, британский министр и руководитель делегации своей страны по разоружению, заявил в своей речи от 18-го января, что будущее человечества зависит от умения Запада и Советского Союза найти общий язык для разрешения наиболее неотложных проблем. Предостерегая от «упрощенного» отношения к Сов. Союзу, как к стране, с которой у Запада якобы нет больше политических и идеологических разногласий и с которой, следовательно, Запад мог бы заключить военный союз, министр тем не менее считает, что в ближайшее десятилетие Китай может изменить мировое соотношение сил. «В семидесятых и восьмидесятых годах», заявил лорд Шальфонд «действительная опасность будет исходить не со стороны Эльбы, а из Азии и Африки».

Взгляд на Советский Союз, как на возможного, в ближайшем будущем, союзника Запада и, в первую очередь, США, нам действительно кажется упрощенным. Чтобы не принимать чаемое за сущее, надо, во-первых, избегать смешения непосредственных целей советской власти и отдаленных гипотетических опасностей, которые могут возникнуть в результате возможных «диалектических» и геополитических процессов. С первыми — непосредственными целями и нуждами — советская власть, как кстати, и любая другая власть, очень считается и ими руководится; вторыми — отдаленными — она нередко пренебрегает.

С точки зрения непосредственных нужд и целей, китайская агрессивная политика в Азии может даже для советских властей считаться полезной и соответствующей общим интересам коммунизма. Активная китайская помощь революционным движениям — будь то во Вьетнаме, Венецуэле или Конго — «занимает», пригвождает Америку, заставляет ее разбрасывать и растрачивать свои силы и (что бы ни говорил президент Джонсон) мешает построению того американского «великого общества», которое может в эпоху мирного сосуществования разных социальных систем оказаться убийственным конкурентом социализма советско-китайского образца. Китайская революционная активность дает возможность советскому руководству посвящать свои силы внутренним делам и ограничиваться в Европе той пассивностью, о которой мы уже говорили.

Это не сговор и не разделение труда; тем не менее, не-

смотря на взаимную вражду, деятельность одних и других «объективно» направлена к одной цели. Конечно, в президиуме КПСС задумываются о будущем. Но даже цитируемые выше Мак Намара и лорд Шальфонд предвидят серьезную китайскую опасность только в семидесятых и восьмидесятых годах. Кроме того, не надо забывать, ибо это весьма существенно, — при всем его разложении и ревизионизме московское руководство состоит всё же из коммунистов, оперирующих иными понятиями и видящих многое в другом, отличном от Запада, свете.

Для резкого изменения ориентации внешней политики страны нужны обычно не только внешние предпосылки но и внутренние. Коллективное руководство, находящееся сейчас у власти, неспособно предпринять радикальное изменение ориентации ни внутри, ни во вне. Для такой операции нужна власть, обладающая большой свободой в действиях и широкими возможностями маневрирования. Сталин мог в 1939 году, ведя антифашистскую кампанию в печати и продолжая военные переговоры с Англией и Францией, сделать поворот на сто восемьдесят градусов и заключить договор с Гитлером. Но то был Сталин, обладавший неограниченной властью и фактически ни перед кем не ответственный. Позволительно думать, что если бы Сталин должен был считаться с каким-то коллективным руководством, которое могло бы его отстранить, он бы этого договора заключить не мог. По сравнению с единоличной диктатурой сталинского типа, обладающей возможностями почти неограниченного нажима и террора, коллективное руководство является для населения режимом более приемлемым и человечным. Но одновременно оно менее действенно. За восемнадцать месяцев, истекших со времени смещения Хрущева, режим коллективного руководства доказал свою относительную жизнеспособность. Очень возможно, что из-за боязни возрождения нового культа личности и его последствий, теперешний режим будет жизнеспособен и в будущем. Надо думать, что члены коллективного руководства хотят жить, а не только выживать в виде исключения, как Микоян. Но эта жизнеспособность, в советских условиях, куплена ценой известного бессилия и иммобилизма.

Коллективное руководство, если оно таковым действительно является, неизбежно себя парализует именно потому,

что оно коллективно. Оно повидимому относительно едино в вопросах оборонительного характера, в основном давно решенных; таковым является повидимому, конфликт с Китаем. Но совсем другие условия необходимы для такого радикального решения как союз с Западом. Для этого нужно освобождение от предвзятостей и догм, и такое изменение мышления, на какое **коллективно** теперешнее руководство, нам кажется, неспособно. **Предположительно,** на это мог бы быть способен диктатор, обладающий почти неограниченной властью и каким-то путем от догм освободившийся.

Современный режим в России страдает от новой органической противоречивости. Возврат к единоличной диктатуре чреват опасностью возврата к новой разновидности сталинизма; коллективное руководство, таящее в себе элементы бессилия и догматизма, неспособно провести те изменения большого размаха, в которых страна и мир настоятельно нуждаются. Неспособность коллективного руководства провести действительные реформы, а не какие-то бесперспективные полумеры, вроде пресловутого «либерманизма» или какого-то «нового» статута в колхозах, доказывает, что выбор, перед которым стоит эта власть, небольшой: — застой или террор.

Д. Анин

БИБЛИОГРАФИЯ

КН. ЕВГЕНИЙ ТРУБЕЦКОЙ. *Умозрение в красках.* Три очерка о русской иконе. ИМКА-Пресс. Париж. 1965. (164 стр.)

За последние десятилетия вышло много интересных книг и работ о православной иконописи вообще и о русской в частности. «Открытие иконы», начавшееся на переломе двух столетий продолжается и постепенно распространяется и на Запад. Но мне думается, что несмотря на это все увеличивающееся изобилие «иконоведения» три лекции, прочитанные в Москве во время первой мировой войны кн. Е. Н. Трубецким и теперь переизданные в Париже, не только не устарели и не утеряли своего значения, но могут во многом помочь и специалистам. Кн. Е. Трубецкой таким специалистом не был. Он был философом и его замечательная книга «Смысл жизни», как и двухтомное «Миросозерцание В. Соловьева», занимают почетное место в истории русской философии. Его статьи об иконах — статьи *любителя,* но в глубочайшем смысле этого слова: того, чьей любви открывается внутренний смысл любимого. Для кн. Трубецкого икона не отрываема от того духовного мира и духовного опыта, которые она выражает, но этот духовный опыт — для него — не «объект» научного изучения: это и его духовный опыт, его вера, его «умозрение». Икона выражает его религиозный опыт и потому его истолкование иконы такое сильное и не стареющее. С этой точки зрения особенно замечательны первые два очерка «Умозрение в красках» и «Два мира в древне-русской иконописи». Третья статья «Россия в ее иконе» посвящена почти целиком попытке начертать «русское сознание» исходя из иконы.

В этой книге удивительно еще и другое. Она была задумана как нечто «злободневное», как ответ на трагедию и зло войны, нашествия и т. д. Но вот на сорок девятом году большевизма эта книга оказывается необыкновенно «актуальной» и сейчас: «Если в самом деле вся жизнь природы, — пишет кн. Трубецкой, — и вся история человечества завершаются апофеозом... злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить» На этот вопрос и отвечает, по мнению кн. Трубецкого, русская икона. И тогда, в эпоху, когда создавалась эта икона — «звериное царство приступало к народам всё с тем же вековечным искушением: 'все сие дам тебе, егда поклонишься мне...' Всё древнерусское религиозное

искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу — видение иной жизненной правды и иного смысла мира». И зло и искушение злом всё еще с нами — отсюда поразительная актуальность этой книги.

Прот. Ал. Шмеман

ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. *Православие.* Очерки учения Православной Церкви. ИМКА-Пресс. Париж. 1965. 403 стр.

Эту книгу покойный о. С. Булгаков написал в 1932 г. для издания по-французски в полупопулярной серии «Les Religions»; книга имела большой успех, позднее была издана и по-английски. На русском языке она выходит впервые. Известно, что богословская система о. С. Булгакова, изложенная им в целом ряде книг и статей, вызвала горячие споры и даже обвинения его в ереси некоторыми православными богословами. Споры эти продолжаются и сейчас. Но каково бы ни было отношение к богословским взглядам о. С. Булгакова, эту книгу нужно признать очень ценной, действительно одним из лучших «введений» в Православие, как «целое» — по полноте, вдохновению, глубине и одновременно простоте изложения. В русской церковной литературе всегда был удивительный разрыв между научным богословием, недоступным для большинства читателей не богословов и популярными религиозными изданиями, находившимися очень часто ниже приемлемого уровня. Книга о. С. Булгакова удачно зарывает этот ров и ее можно горячо рекомендовать каждому, кто интересуется «сущностью» православия.

Прот. Ал. Шмеман

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. *Собрание сочинений в двух томах.* Том первый. Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступ. статьи Кларенса Брауна, Г. П. Струве и Э. М. Райса. Inter-Language Literary Associates, Вашингтон, 1964. Стр. 553.

Первый том этого собрания сочинений Мандельштама — поистине драгоценный подарок читателю. Можно себе представить, как будут в России рвать эту книгу из рук, и кое-кто там наверное даже многое из нее перепишет из тех немногих экземпляров, которые дойдут до советского читателя. В СССР тоже хотели издать Мандельштама, но это предприятие отложено на неопределенное время. Первое собр. сочинений его тоже было опубликовано в Америке, и под редакцией тех же лиц (Чеховск. изд-во, 1955).

Мандельштам — большой поэт: волшебная флейта русской поэзии. Мне, как и многим другим, прежде казалось, что он навсегда останется поэтом для немногих, для поэтов. Едва ли это так —

преграда между ним и широкими читателями преодолима и уже преодолевается (как это верно утверждает Струве).

Мандельштама часто вдохновляли книги, картины, здания, музыка, сама поэзия, но настоящий, первичный источник его вдохновения — в его душе, одушевляющей все «предметы» культуры. Не боясь преувеличений, можно сказать, что «он несколько занес нам песен райских», подслушанных им не где-то на небе, а здесь, на земле. В метафизику он не углублялся, к лермонтовскому небу не тянулся.

Но люблю мою бедную землю,
Оттого что другой не видал...

Писал он еще в юности, в 1908 г. И как светло-воздушна и нежно-прекрасна его обреченная бедная земля, хотя бы и в эпоху сталинщины. Стоит только вспомнить эту его «здравицу»:

За музыку сосен Савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин...

Казалось, бы, что хорошего в бензине! Но здесь всё предельно облегчено, — свободно от земного притяжения, и стихи эти звучат райской песнью. У Мандельштама не было диапазона гения, не было высокой мудрости Пушкина или Моцарта, но есть в его искусстве пушкинско-моцартовские качества, — качества присущие свету. Есть они и у «малого» поэта Батюшкова, и у Мандельштама было с ним особенное «избранное сродство». То, что Мандельштам о Батюшкове писал, применимо и к нему самому: он тоже принес из открывшегося ему рая —

Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Но в короткой рецензии никакой настоящей характеристики Мандельштама развернуть нельзя, да и не нужно.

Редакторы Струве и Филиппов включили в это новое издание многие стихи, еще нигде не опубликованные или же «затерянные» в мало известных журналах. Теперь, благодаря им, мы больше знаем о Мандельштаме 30-х г.г. Я из тех «староверов», которые отдают предпочтение более ранним его стихам и, при этом не в «Камне», а в сборнике «Тристиа». Но зато именно в годы террора его голос иногда звучал особенно пронзительно, подымался до какой-то запретно-высокой ноты. Дыхание захватывает от этих его стихов:

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать.

Кажется, здесь промелькнула одна из последних его ласточек. Эта быстрая птица и прежде была для него — я не сказал бы «символом» поэзии — а самой поэзией, его музой (Воронеж, 1937).

Другие его стихи, написанные в том же году, и тоже в Воронеже, звучат как эпитафия:

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски —
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.

Вот опять зазвучал для нас посмертный голос Мандельштама и мы надеемся, что его литературное наследство еще не исчерпано.

Трудно писать его биографию, как будто жил он не в 20-м веке, а скажем — в 12-м. Всё же Струве удалось собрать по кусочкам разные данные о его жизни, о его мученической смерти в пересыльном лагере, во Владивостоке, 27 декабря 1938 г. Заметим, что описанный Г. Ивановым эпизод с чекистом Блюмкиным нашел частичное подтверждение в недавно опубликованном сб-ке документов Чека. Казалось бы, ничего героического в характере Мандельштама не было, а вот пошел он к Дзержинскому жаловаться на чекиста, а в 30-х г.г. написал эпиграмму на Сталина. Старое интеллигентское выражение «он высоко держал знамя» вполне применимо к Мандельштаму хотя и был он прежде всего русским поэтом, а не русским интеллигентом.

Очень содержательна редакторская сводка критической литературы о Мандельштаме. Все примечания к стихам — на академическом уровне (так, как они делались до революции, напр., в изданиях сочинений Лермонтова или Боратынского).

Прекрасно написано английское предисловие Кларенса Брауна. Кое-что в этом очерке совпадает с его интересной речью на вечере Мандельштама в Нью Йорке, 13-го марта 1964 г. (опубликованной по-русски в 80-й кн. «Нового Журнала»). Интересна его общая характеристика творчества Мандельштама, хотя, по-моему, он и преувеличивает значение *пустоты* в его поэзии. Браун очень тонко разбирает одно из самых воздушных и волшебных созданий Мандельштама — его «Соломинку». Ему удалось расшифровать упоминаемую там Саломею — это княжна С. А. Андронникова, в замужестве Гальперн (и теперь проживает она в Лондоне). Другие имена Соломинки, устанавливает Браун — это Серафита, героиня Бальзака, а Лигейя и Ленора явились из мира Э. А. По. Но настоящая героиня этого стихотворения, по-моему, не та или другая дама, литературная или реальная, а поэзия, муза (*блаженные слова*). В целом же, статья Кларенса Брауна — м. б. лучший американский очерк о русской поэзии. Всё подсказано любовью-пониманием к Мандельштаму и проверено эрудицией, фактами.

Э. Райс в статье «Творчество Мандельштама» высказывает ряд интересных мыслей, но не всегда их обосновывает. Голословно его сближение учения аббата Бремона о чистой поэзии с творчеством Мандельштама. Но более убедительно то, что он говорит о медиу-

мизме Блока и об активности Мандельштама, который был «полностью мобилизован для завоевания небесного дара».

В поэзию Мандельштама не раз врывалась политика (и война, и революция, и сталинщина), но я бы не назвал, как это делает Райс, его стихи политическими. Всякая политика у него всегда перелита в лирику, чего нельзя сказать о многих — именно политических стихах Тютчева или о пушкинских стихотворениях «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». Наконец, где вообще политика в стихах Константина Кавафиса? И какая «радость мира» в средневековой мексиканской скульптуре? К тому же, в наши средние века в Мексике средневековья не было и нет никакой «радости» в Орлином Рыцаре или в майянских масках умирающих. Эти и некоторые другие заявления Райса ничем не обоснованы. Но и его очерк подсказан любовью к Мандельштаму. Интересна его расшифровка мандельштамовского стихотворения «Ламарк».

В заключение, хочется еще раз высказать благодарность Г. П. Струве и Б. А. Филиппову за их прекрасного и изящно изданного Мандельштама. Ждем выпуска тома второго.

Юрий Иваск

АННА АХМАТОВА. *Сочинения. Том 1.* Редакция, вступ. статьи и примечания Г. Струве и Б. Филиппова. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

Это — первый том двухтомного собрания сочинений А. А. Ахматовой. Уже судя по нему нетрудно увидеть, что это двухтомное издание произведений Ахматовой будет самым полным из всех, когда-либо выходивших. Нельзя не отметить прекрасное внешнее оформление издания, а также подбор портретов Ахматовой — Юрия Анненкова, Амедео Модильяни, Н. Альтмана, С. Сорина, Н. Тырсы.

Любопытно, что почти одновременно с этим зарубежным изданием, в СССР тоже вышел (как говорят, расхватанный с молниеносной быстротой) однотомник стихов Ахматовой. Советский сборник тоже недурно оформлен и тщательно отредактирован. Редактор сов. издания Минна Дикман имела возможность пользоваться не только первыми изданиями стихов Ахматовой, но и рукописными материалами и советами автора. В этом несомненное преимущество сов. издания перед зарубежным. Но в то же время «положение обязывает», и в СССР даже самый серьезный редактор поневоле становится цензором тех, кого он редактирует. Вот почему, например, для всего цикла стихов Ахматовой о терроре («Реквием») в сов. издании места не нашлось. Кроме того и другие стихи Ахматовой напечатаны в прежнем, цензурой искаженном, виде. Например, в известном стихотворении 1917 г. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких

ждал» — нет всей первой строфы. Тот же след партийной цензуры остался и на других стихах Ахматовой.

То, что и «Реквием» полностью вошел в зарубежное издание, и другие стихи Ахматовой напечатаны здесь, конечно, без всяких цензурных искажений является основным и несомненным преимуществом этого издания перед советским. Не говоря уже о том, что зарубежное издание гораздо полнее.

В советском издании нет ни вступительной статьи, ни каких бы то ни было примечаний. И это сразу подчеркивает ценность текстологической работы, беспристрастно и тщательно проделанной, Г. Струве и Б. Филипповым. К стихам Ахматовой ими даны ценные примечания. В основу расположения материала Г. Струве и Б. Филиппов положили волю самой А. Ахматовой, что тоже является большим достоинством этого издания. Это пожелание, как издавать ее стихи, было напечатано Ахматовой в «Литературной газете» 24 ноября 1945 г.

Что касается вступительной статьи Г. Струве, то она представляется развернутым продолжением данных примечаний и содержит полезный справочный материал. К сожалению, другая вступительная статья — Б. Филиппова — вызывает некоторое недоумение своим тоном, мало подходящим к поэзии Ахматовой. Но как бы то ни было, это издание нужно с полным основанием отнести к лучшим и наиболее полным из всех существующих.

Когда вчитываешься в этот том прекрасных стихов Ахматовой, видишь, как были справедливы некоторые давние мнения о ее поэзии. Например, Софии Меликовой-Толстой и Леонида Гроссмана. С. Меликова-Толстая, поэтесса и тонкий знаток античной литературы, еще во времена первой мировой войны, видела в поэзии Ахматовой редкостный поэтический дар, говоря, что Ахматова достойна занять в мировой лирике такое место, какого, со времен Сафо никто не занимал. А Л. Гроссман в двадцатых годах писал об Ахматовой, как о достойной преемнице Пушкина и Блока.

В целом, вашингтонское издательство сделало большое и ценное дело, прекрасно издав полностью стихи нашего прославленного поэта Анны Ахматовой. Отметим, что оформление книги, выполнено с большим вкусом художником С. Голлербахом.

Вяч. Завалишин

С. Л. ФРАНК. *Из истории русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го века.* Антология. Посмертная редакция В. С. Франка. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

В декабре 1965 года, как известно, исполнилась 15-я годовщина со дня смерти С. Л. Франка. Очень удачно поэтому, что вашингтонское издательство опубликовало еще одно произведение Семена

Людвиговича — его антологию из произведений русских мыслителей конца 19-го и начала 20-го века. Надо сказать, что подбор авторов сделан Франком очень удачно, такой подбор говорит и о широте взглядов составителя и прекрасно представляет всех выбранных авторов. Кроме того, Франк предпослал книге ценное введение и дал перед произведениями каждого автора не менее ценные краткие характеристики избранных им философов.

В антологию вошли: Л. Толстой — «Что такое религия и в чем сущность ее?»; Н. Федоров — «Супраморализм или всеобщий синтез»; Вл. Соловьев — Из «Чтений о богочеловеке»; Д. Мережковский — Из предисловия к книге «Религия Л. Толстого и Достоевского»; В. Розанов — Отрывки из книги «Темный лик»; Е. Трубецкой — Отрывок из книги «Смысл жизни»; Л. Шестов — «Наука и свободное исследование»; Вяч. Иванов «Anima»; о. П. Флоренский — Отрывки из «Столп и утверждение истины»; о. С. Булгаков — «Божественная София»; Н. Лосский — «О творении мира Богом»; Н. Бердяев — «Два понимания христианства» и С. Франк — «Человек и Бог».

Таким образом книга эта дает широкой читающей публике хорошую возможность ознакомиться с многими интересными мыслями представителей русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го века.

Лев Закутин

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО. *«Паруса»*. Стихи. Изд. «Русская Книга». Вашингтон. 1965.

Небо сегодня как будто светлее
И голубее, чем было вчера.
Зеленью нежной вскипают аллеи
И распускаются как веера.

Всюду цветенье и счастье простое,
Город в сиянье, в движенье, в тепле.
Как я свободен и молод весною,
Как хорошо мне на этой земле.

Этим стихотворением открываются «Паруса» Юрия Терапиано. Недавно, в 1963 году, вышли его «Избранные стихи» и вот уже осенью шестьдесят пятого года появились «Паруса» — сборник новых стихов. Новых, не только по времени, но и по своей сути и тональности новых в творчестве Ю. Терапиано — стихи, вскипающие «зеленью нежной и распускающиеся как веера», стихи, в которых Терапиано действительно «свободен и молод». Даже свободнее и моложе, чем в «Избранных стихах», хотя многие из них написаны лет тридцать тому назад. В «Парусах» появилось что-то новое, трудно определимое. Это не только мое мнение, но и мнение Г. Адамови-

ча. Не могу отказать себе в удовольствии привести цитату из его отзыва: ...«Замечательно, что в стихи Терапиано теперь нет-нет и вплетается что-то легкое, можно бы сказать крылатое».

Да, именно, легкое, крылатое, какое-то «волнение души». То «волнение души», которое Эдгар По считал необходимым в лирических стихах. «Волнение души», к сожалению так редко встречающееся у поэтов уже не молодых.

Вряд ли прежде, в «Избранных стихах», возможно было, например, такое явление Дианы-Охотницы в Люксембургском Саду, полное безудержного движения и динамики:

Закинув руку за плечо,
Стрелу ты ловишь из колчана,
Вздыхающая горячо,
Разгоряченная Диана.
Ты мчишься в каменном кругу
Одежд вскипающих как пена,
И как виденье на бегу
Сверкает легкое колено.
Такой стремительный полет,
Такая легкость пред глазами,
Что будто бы весь сад плывет,
Летит, кружится вместе с нами...

«Прочтя «Паруса», — говорит Георгий Адамович, — «перечитав их затем раз и другой, задержавшись на той или иной странице, невольно спрашиваешь себя: о чем эти стихи? Ответить не легко, хотя и нет сомнения, что ответ существует. Но потому-то эти стихи представляют собой истинную, своеобразную, несколько приглушенную поэзию, что содержание ее неотделимо от нее самой. Оно везде и нигде, т. е. оно во всем сборнике, если взять его, как нечто целое, но его не найти ни в одной отдельной строчке или строфе».

О чем эти стихи? — спрашиваю и я. — О чем вообще стихи? О жизни, о смерти, о любви и одиночестве, о нереальности реальности, о реальности нереальности, об изгнании. — О том, по формуле Кокто, «Jusqu'ou on peut aller trop loin» в поэзии?

Г. Адамович считает, что Терапиано «вернее других уловил веяние времени, ближе подошел к таинственному, неповторимому и неисчерпаемому их содержанию». И это правильно. Это очень современные стихи, полные щемящей жалости и нежности не только к прошлому и настоящему, но и к будущему.

Хотя Терапиано не напускает в стихи метафизических туманов, стихи его всё же уводят нас в другой план своею особенной приглушенной музыкой, ритмом и подбором таких иногда слов, которые вдруг начинают казаться особенными. Это стихи с подводным течением, у них как бы второе дно, в котором скрыта их сокровенная

суть. Они как будто кончаются последним словом последней строки — последней точки, как и все настоящие стихи.

Читая и перечитывая их, вспоминаешь и свою жизнь —

Ту жизнь, которой не было всерьез,
Изгнания печальные приметы...
И вдруг в руках — мильоны красных роз,
Как чудо роз святой Елизаветы.

Адамович цитирует это стихотворение:

Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, а я
Осчастливлен как подарком
Продолженьем бытия.
С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.
И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к нам,
Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.
И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

«Мечта о Крыме, о Черном море, — говорит Адамович, — не тоскливый бред, а видение, которое можно было-бы расширить до бесконечности — границ нет, бытие беспредельно... За этой «занавесочкой» — кстати, как она в этом стихотворении неожиданна и прелестна, — открывается то, что в изнуряющей повседневной суете осталось утаено».

Да, Адамович прав. За этой «занавесочкой» скрывается вдруг видение иного бытия:

Заря последняя, алея,
Встречает парус корабля
И входят Эрос и Психея
Вновь в Елисейские поля.

— Елисейские поля, таинственно перекликающиеся с парижскими Елисейскими, по которым идет Юрий Терапиано.

Ирина Одоевцева

THE POETRY OF YEVGENY YEVTUSHENKO, 1953 to 1965. *Translated by George Reavey*. Bilingual edition. New York: October House, 1965. 215 pp.

Поэт обычно показывает те стороны жизни, те перспективы, ко-

торые мы слабо, смутно осознаем. Поэт ощупывает путь, разведывает район, по которому мы странствуем. Банальность в стихах — хуже греха.

Строки Евтушенко гремят, но он грешит. И хуже всего, что он выдает себя за воплощение Поэта нашего времени:

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно, —
для России я жил.

Конечно, молодому стихотворцу соблазнительно преувеличивать свое общественное значение, особенно когда вокруг него слышатся только или чрезмерные похвалы или несправедливые обвинения. На деле, он человек с талантом, но который, как Чартков, продал свой талант за неумение его оценить. В предисловии к рецензируемой книге профессор Джордж Риви характеризует Евтушенко, как «полукрестьянина, полуинтеллигента». Евтушенко не интеллигент. Он певун, композитор популярных мелодий, он отражает стремления молодежи, он рупор своего поколения в послесталинское десятилетие. Но, увы, уже прошел его век, а он остается всё таким, каким был в начале. Профессор Риви неправ, когда пишет, что Евтушенко «безусловно творит свой поэтический мир, мир нарастающего созвучия, что́ является главным raison d'être и мерилом поэта». Никакого нарастания нет в нараспев поющихся стихах Евтушенко. В том то и беда.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия
значит, буду и я...

Это — из стихотворения появившегося в «Юности» в июне 1965 г. За десять лет до него, Евтушенко писал (и проф. Риви включил это в свою книгу):

Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:
«Судьба у каждого своя...»,
мне не забыть, что есть мальчишка где-то
что он добьется большего, чем я.

Связывает эти два отрывка одна личность поэта, т. е. его утверждение, в рифмованном шаблоне, что все его личные истории совпадают с судьбой народа. Дело не в том, что здесь нет скромности, или что есть некая «лживая» скромность, а в том, что нет истинного чувства, что гладкая поверхность легко достигнутых рифм отнимает у читателя всякое человеческое сочувствие. Такие стихи — программная, грамофонная, громогласная, морализированная сентиментальность.

Мы любим словесное кувыркание, но ведь только опытное, искусное, как например, в нижеследующих строках:

Пусть по ветру фордыбачатся
Все абстрактные чудачества,
Многоцветные, несметные,
Несусветно-беспредметные,
Пусть в его порывах множатся
Сумасшедшие художества,...

Или в таких:

И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым.
Начнется сирень по скверам
уж не тебе — им, и т. д.

По-моему, Иван Елагин и Андрей Вознесенский подлинные лирики своего поколения, по сравнению с которыми Евтушенко — прилежный, но скучный ученик Маяковского. Жаль. Жаль поэта.

Хотя я далеко не разделяю мнения, высказанного профессором Сидни Монасом в недавно напечатанной рецензии на сборники переводов русской литературы, будто нет хороших переводов на английский язык ни русских классиков, ни современной литературы, я должен признаться, что книга профессора Риви скорее помогает аргументации профессора Монаса. Конечно, трудно переводить стихи; и трудно передать певучесть и музыкальность танцующих ритмов Евтушенко. Профессор Риви выбрасывает рифмы, не соблюдает метров, и часто не точно переводит «смиренной прозой». Среди американцев мало кто понимает по-русски; так что средний читатель полностью зависит от переводов. К сожалению, в этой книге переводы часто не на высоте. Евтушенко пишет:

Моя любимая приедет,
меня руками обоймет,
все изменения приметит,
все опасения поймет.

Риви пишет:

My beloved will arrive at last,
and fold me in her arms.
She will notice the least change in me,
and understand all my apprehensions.

Мне думается, можно лучше переводить Евтушенко, именно потому, что его замыслы не сложны, а звуковые узоры по большей части очевидны. Предлагаю, например, перевод того же, взятого наугад, четверостишия, просто чтобы подчеркнуть возможность соблюдения и ритма и рифмы и одновременно сохранения «смысла» оригинала:

The one I love is sure to come here,
is sure to take me in her arms,
will notice all the little changes,
will understand my least alarm.

Вместо перевода книги стихов Евтушенко, было бы гораздо лучше собрать наиболее интересные стихи Мартынова, Вознесенского, Елагина, и других — скажем, десяти современных поэтов — и составить антологию ста хороших, хорошо-переведенных стихотворений. Тогда средний читатель почувствовал бы, что имеет дело с живыми поэтами, с живой литературой. Современная русская поэзия отстает от англо-американской. А как было бы хорошо, если бы русские поэты были с нами?

Ф. Р. Рив

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. *Стихотворения.* Под общей редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступительные статьи Алексиса Раннита, Бориса Филиппова и Эммануила Райса. Interlanguage Literary Associates. Вашингтон. 1965. (стр. 368).

В этот сборник вошли: «Столбцы» (первая книга стихов) и большинство стихотворений, написанных Заболоцким с 1926-го по 1958-й год. Кроме того, в сборнике — поэмы Заболоцкого 1929-58 г.г. («Торжество земледелия», «Лодейников», «Рубрук в Монголии»). Словом, более полного издания произведений Заболоцкого еще не издавалось и потому выход этой книги надо всемерно приветствовать. Ценность этого великолепного издания увеличивается кропотливой текстологической работой, проделанной редактором Б. А. Филипповым. Ему принадлежит подготовка текста, свод вариантов, примечания и подробная библиография. Надо отметить также и прекрасные воспоминания о Заболоцком, опубликованные как приложение к сборнику.

Сборнику предпосланы три вступительные статьи: Алексиса Раннита (по-английски), Филиппова и Райса. Статья Алексиса Раннита кажется отрывком большой работы о модернизме в русском искусстве, — в литературе, живописи, музыке. Статья очень интересна, но портрета *живого* Заболоцкого по-моему она читателю не даст. Что касается вступительных статей Б. Филиппова и Э. Райса, то у обоих авторов не отнять их начитанности. Но статьи их представляются мне скорее подробными путеводителями по истории разных литературных измов, параллелей, сопоставлений. И поэтому в них академический книжный Заболоцкий заслоняет живого поэта, который встает во весь рост, конечно, в своих стихах, а также и в воспоминаниях о нем Николая Степанова и Николая Чуковского, перепечатанных в сборнике. К этому я добавил бы полностью яркую статью А. Котлина, отрывки которой приведены только в примечаниях. Во вступительных статьях подробно говорится о поэтических пред-

шественниках и единомышленниках Заболоцкого. Жаль, что здесь не упоминается о творчестве очень талантливого и несомненно близкого к Заболоцкому поэта Василия Казина. Ведь поэма Казина «Газета» — явление того же плана, что и «Торжество земледелия». — И было естественно, когда именно в этих поэтах — в Заболоцком и в Казине — РАППОвская критика увидела — «юродствующих членов коллегии защиты частников», находя, что тут, под личиной поэта, «скрывается озлобленный, недовольный и обиженный мелкий хозяйчик».

Чем же объясняется та некая общность темы и формы этих двух поэм: Казина — «Газета» и Заболоцкого — «Торжество земледелия»? Я думаю, — общностью источников, вспоивших поэзию и Казина и Заболоцкого в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Этим общим источником были, с одной стороны, стихотворные «Доски судьбы» Велимира Хлебникова, а с другой, куплеты и анекдоты, своего рода стихийный фольклор негодования и протеста, хлынувший из деревень и с городских окраин на эстрадные подмостки и цирковые арены. Казин и Заболоцкий, каждый по-своему, скрестили позднего Хлебникова с этим фольклором. Эта интересная литературная параллель заслуживала бы упоминания.

В целом, надо сказать, издание сборника стихотворений Заболоцкого, многие из стихов которого в СССР всё еще под запретом, — своевременное и прекрасное дело. В смысле оформления и текстологически издание выполнено замечательно. И всякий любитель русской поэзии будет благодарен издательству и редакторам, потрудившимся над этой работой.

Вяч. Завалишин

JULES ROY. *Le voyage en Chine*. Ed Julliard. Paris. 1965.

В последние годы во Франции вышло много книг о коммунистическом Китае. Многие видные представители левой французской интеллигенции ездили в коммунистический Китай и, вернувшись, писали восторженные репортажи о достижениях китайских коммунистов под мудрым руководством Мао Цзэ-дуна. Но вот недавно во Франции вышла книга о коммунистическом Китае, автор которой не захотел присоединиться к этому восторженному хору. Это — известный писатель и известный военный летчик Жюль Руа.

«Путешествие в Китай» — не первая книга Жюля Руа. Близкий друг и ученик знаменитого французского писателя и военного летчика Сент-Экзюпери, Жюль Руа после войны опубликовал романы, пьесы, сборники поэм. Но широкую литературную известность ему принесли, главным образом, его репортажи, особенно две книги: «Война в Алжире» и «Битва под Дьен Бьен Фу». Эти книги проникнуты глубоким сочувствием к борьбе алжирцев и вьетнамцев за свое на-

циональное освобождение; они сделали Жюля Руа героем левой французской интеллигенции. Тем неожиданнее и тем сильнее впечатление, произведенное его книгой о красном Китае.

Подобно другим левым французским писателям, Жюль Руа ехал в коммунистический Китай полный восхищения перед китайской революцией. Но, в отличие от других авторов, он вернулся в крайне подавленном душевном состоянии. На вопрос журналистов, — был ли он удивлен, когда была взорвана первая китайская атомная бомба, — Жюль Руа отвечал: «Нисколько. Я давно этого ждал. Очень скоро был произведен второй взрыв. Других не придется долго ждать. Когда семьсот пятьдесят миллионов человек, — а в восьмидесятом году их будет уже миллиард, — действуют втайне и обманно, можно бояться самого худшего».

По возвращении Жюля Руа во Францию и после опубликования им книги своих впечатлений от Китая, коммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» напечатал очень интересную беседу с Жюлем Руа. На вопрос: — что больше всего поражает современного путешественника в Пекине? — Жюль Руа ответил: — Прежде всего, вы чувствуете себя потерянным. Если вы отобьетесь от вашего переводчика, — вы обречены на самые неприятные недоразумения. Нет страны в мире, где я чувствовал бы себя так одиноко. Непроницаемые лица, непроницаемые взгляды окружающих; в поезде полицейский постоянно заглядывает в купэ. Всё это порождает чувство, что вы попали в мир, похожий на удушливый мир Кафки. Я очень хотел побывать в китайских деревнях, поговорить с простыми людьми, пожить их жизнью; увидеть, как они живут, понять, что они думает. Но это было невозможно. Ни с одним человеком я не мог говорить с глазу на глаз. Я не мог получить ответа ни на один мой вопрос. Тем не менее, маршал Чень Йи имел наглость сказать мне: «Вы можете удостовериться, что вы находитесь в самой свободной стране мира». Если коммунистический Китай — свободная страна, то это значит, что под свободой там понимается что-то другое, чем на Западе, и когда там говорят, что в Пекине борются за свободу, то, наверное, это совсем не та свобода, за которую боремся мы.

Репортер спросил Жюля Руа: — А что вы думаете о национализме в коммунистическом Китае? — Жюль Руа ответил: — Я думаю, что это — главное, что принесла китайская революция. Для того, чтобы революция восторжествовала, нужно было уничтожить ошибки прежнего общества. Но одновременно в человеке было раздавлено всё, кроме великой гордыни и желания отомстить за унижения, которые Китай, особенно в восемнадцатом и девятнадцатом веках, терпел от Запада. Раны, нанесенные тогда национальной гордости китайцев, не зарубцевались и до сих пор. Я ни разу не почув-

ствовал хотя бы намека на прощение Западу. Я думаю, нам долго придется расплачиваться за ошибки отцов. Но вместе с этим продолжает существовать и прежний Китай — я хочу этим сказать, что китайцы по-прежнему способны плакать при виде персикового дерева в цвету или видя, как ветер клонит тростник на берегу озера. Вот почему я думаю, что если теперешний режим изменится, то изменится и китайский народ, как он много раз менялся в течение веков.

Дальше репортер спросил Жюля Руа о его интервью с военным министром, знаменитым маршалом Чень Йи. — Никаких интервью в Китае не бывает, — ответил Жюль Руа. — Вы составляете список лиц, с которыми вы хотели бы встретиться. Вам не отвечают. Вы составляете список вопросов, которые вы хотели бы задать. Вам отвечают, что эти вопросы не подходят и что лучше было бы задать другие. Когда же вы имеете дело с таким человеком, как маршал Чень Йи, вам вообще не удается задать ни одного вопроса. Он говорит безостановочно. Он — замечательный актер, один из самых замечательных актеров в коммунистическом Китае. — Что же больше всего вас поразило в словах Чень Йи? — Его безмерная гордость и его вера в пресловутую «справедливую войну», — ответил Жюль Руа. — Его ничто не пугает, даже смерть сотен миллионов китайцев! Я должен сказать, что я был восхищен большим умом маршала Чень Йи, его необыкновенной изворотливостью и силой.

Критикует ли китайский народ свое коммунистическое правительство? — спросил репортер. — Нет. В коммунистическом Китае никто не осуждает своих правителей. Благодарность китайцев Мао очень велика. Мао вывел Китай из анархии. Мао и коммунистическая партия вернули Китаю его национальное достоинство. Даже те, кто настроен опозиционно (я встречал таких в Шанхае и за пределами коммунистического Китая), даже эти опозиционно настроенные китайцы чувствуют благодарность к Мао.

Как относится к режиму студенческая и рабочая молодежь? Нет ли среди молодежи пацифистов, противников атомной войны? — спросил репортер. — Нет, таких я не видел. Начиная с пятилетнего возраста, дети воспитываются партией. Они присутствуют по вечерам на собраниях. С восемнадцати лет молодежь получает военную подготовку в милиции, которая насчитывает от двадцати до тридцати миллионов человек. В милицию не принимают только тех молодых людей, которые считаются морально опустившимися.

Боятся ли китайцы войны? — спросил репортер. — В коммунистическом Китае никто не боится войны. Это именно то, что меня ужаснуло. Там во всех кругах уверены, что скоро коммунистический Китай будет в состоянии сбрасывать атомные бомбы на США и поэтому США никогда не осмелятся напасть на коммунистический Ки-

тай. По-моему, во всем этом — много блефа, но есть и доля правды. Ядерное вооружение коммунистического Китая ушло гораздо дальше, чем это обычно предполагается. Этого вооружения мне, конечно, не показывали, но потихоньку я кое-что видел.

В чем, по-вашему, главная сила сегодняшнего коммунистического Китая? — спросил репортер. — В китайской коммунистической молодежи, в ее вере, в ее идеализме. Старые китайцы подчас поглядывают на молодежь скептически. Но они молчат — они слишком хорошо помнят свою собственную нищенскую молодость, чтобы противопоставлять ее тому, что происходит теперь.

А в чем, по-вашему, главная слабость коммунистического Китая? — В цели превращения коммунистического Китая в сверхмогущественное государство, — ответил Жюль Руа. — Я повсюду видел усталых, дошедших до полного изнеможения людей. Из чувства гордости они продолжают работать сверх сил, но система не может бесконечно требовать от людей таких чрезмерных усилий. Вот почему не исключена возможность, что в один прекрасный день — если произойдет, например, какое-нибудь непредвиденное событие — всё затрещит.

Мы привели из еженедельника «Леттр Франсэз» интервью с известным писателем Жюлем Руа, автором книги «Путешествие в Китай». Дадим еще некоторые выдержки из заключительной главы этой книги. Жюль Руа пишет:

«Старый Китай — страна любезного скептицизма и терпимости — стала страной новой, марксистско-ленинской веры. Во имя этой веры никто в новом, коммунистическом Китае не поколеблется пойти на так называемую справедливую войну, о которой Мао Цзэдун мечтает со времени своего прихода к власти. Никто не боится такой войны. Детей готовят к ней, как только они начинают учить азбуку. Десятки миллионов молодых людей и девушек проходят военную подготовку в милиции. Когда-то сделать из китайца солдата было очень трудно. Теперь все они — солдаты, готовые умереть за свое отечество, готовые на любые жертвы и испытания. Они больше не боятся умереть за тысячи километров от своих деревень. Марксизм-ленинизм без остатка разрушил культ предков и традиции, требовавшие, чтобы сыновья не умирали раньше своих отцов. ...В восьмидесятом году китайцев будет миллиард; в двухтысячном году — два миллиарда. Будет ли население на двести или триста миллионов больше или меньше, — в коммунистическом Китае этому никто не придает значения. Час пришел: эта человеческая лавина угрожает затопить Сибирь и никакие препятствия ее не остановят.

Я приехал в коммунистический Китай, — пишет Жюль Руа, — с душой, полной любви и восхищения. Я уехал из коммунистического Китая с душой, полной горечи и страха. Не моя вина, что мне пока-

зывали только музеи, парки, деревни и улицы, которые для моего приезда были подметены как двор казармы. У меня до сих пор перед глазами картина — как в Чункинге председатель коммуны, ехавший впереди нашего каравана автомашин, грубо столкнул с дороги старого оборванного крестьянина... Китайские правители наивно ждали от меня, что я увижу в коммунистическом Китае страну героев, горнило, в котором всё — легенды, эпопея и кровь — превращаются в чистое золото. Они не понимали, почему я своими глазами хочу видеть, как это золото добывается. Они ждали, что я буду повторять за другими французскими писателями, побывавшими в коммунистическом Китае, что ветер, поднявшийся в коммунистическом Китае, преобразит весь мир и мы должны принять китайский народный империализм и подготовить наши маленькие европейские провинции к покорной встрече китайских бронированных дивизий.

Нет, я с этим не согласен. Мое сердце полно любви к семистам миллионам китайцев, но я отказываюсь верить лжи их правителей. Я отказываюсь участвовать в культе нового императора Мао Цзэдуна. Это — не моя религия».

Книга Жюля Руа «Путешествие в Китай», представляет собой документ исключительной ценности.

В. В-й

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

АЛЕКСАНДР ЛЯСКОВСКИЙ. Мартиролог русских писателей. Том II (1901-1962). Изд-во «Библиофил», Мюнхен. 1963 (284 стр.).

ГАЛИНА СОБОЛЕВА. Невидимка. Стихи. Сидней. 1965.

БОРИС НАРЦИССОВ. Память. Третья книга стихов. Изд-во «Русская книга». Вашингтон. 1965.

ZINAIDA SCHAKOVSKOY. Une manière de vivre. Presses de la Cité. Paris. 1965.

ANTON HONIG. Andrej Belyis Romane. Stil und Gestalt. Wilhelm Fink Verlag. München. 1965. Forum Slavicum. Herausgegeben von D. Tschizewskij.

ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Православие. Очерки учения православной церкви. ИМКА-Пресс. Париж. 1965.

ГИЗЕЛЛА ЛАХМАН. Зеркала. 2-я книга стихов. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1965.

П. БОРАНЕЦКИЙ. Социальный идеал. Основы социальной философии. Париж. 1965.

ОЛЕКСА ГРИЩЕНКО. Моі зустрічі і розмови з французькими мистцями. Изд. Фундації Олекси Грищенка. Нью Йорк. 1966.

ГЛЕБ СТРУВЕ. Утлое жилье. Избранные стихи. 1915-49. Изд. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

F. D. REEVE. The Russian Novel. McGrow Hill Book Co. New York. 1966.

Н. П. ВАКАР. Частотный словарь русской разговорной речи. Изд-во Университета Штата Охайо. 1966.

НИКОЛАЙ АРЖАК. Руки. Человек из Минапа. Рассказы. Вашингтон. 1963.

НИКОЛАЙ АРЖАК. Искупление. Рассказ. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1964.

НИКОЛАЙ АРЖАК. Говорит Москва. Повесть. 1962.

АБРАМ ТЕРЦ. Любимов. Повесть. 1964.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ЕЛЕНА ИШУТИНА

НАРЫМ

ДНЕВНИК ССЫЛЬНОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ РОМАНА ГУЛЯ

«Надо, чтобы мир узнал об этом ценном документе».
М. Вейнбаум («Нов. Рус. Слово»).

«Потрясающая картина быта несчастных людей в ссылке».
С. Водов («Русская Мысль»).

«От этого дневника трудно оторваться».
И. Одоевцева («Русская Мысль»).

«Человеческий документ чрезвычайной ценности».
Р. Гуль (из предисловия).

ИЗДАНИЕ «НОВОГО ЖУРНАЛА» Нью Йорк 1965
ЦЕНА 2 ДОЛ. 25 Ц. ЗАКАЗЫ — В «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1966 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.
Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.